И. И.
КОЗЛОВ

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

И. И. КОЗЛОВ

Советский писатель


Иванъ Козловъ.



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

ЛЕНИНГРАД • 1960

И. И. КОЗЛОВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
И. Д. Гликмана

И. И. КОЗЛОВ

1

В 1821 году в журнале «Сын отечества» появилось стихотворение «К Светлане», принадлежавшее перу дотоле неизвестного поэта И. И. Козлова. Страшный недуг (слепота и паралич ног) приковал его к постели, и горестными жалобами на судьбу было пронизано все стихотворение, очень интимное по тону, напоминающее крик изболевшейся души.

Дебютанту было 42 года — возраст весьма почтенный для новичка, вступающего на литературное поприще в эпоху, которая ознаменовалась чрезвычайно ранним и бурным расцветом поэтических талантов. Вряд ли кто-либо мог рассчитывать на то, что Козлов станет профессиональным поэтом. Но прошло всего лишь несколько лет, и имя Козлова облетело всю читающую Россию. После опубликования «Чернеца» (1825) Козлов был многими признан первоклассным талантом, который может быть поставлен в одном ряду с Пушкиным и Байроном. Подобные оценки исходили не от восторженных дилетантов, а от таких людей, как Е. А. Баратынский и П. А. Вяземский, знавших толк в поэзии.

Сам Козлов хорошо сознавал преувеличенность такого рода суждений. Он с гордостью считал себя лишь учеником Байрона, Жуковского и Пушкина, под могущественным влиянием которых сформировался его поэтический дар. В 1825 году, будучи в зените своей славы, Козлов писал Пушкину: «Когда я собираюсь писать стихи, то читаю моего Байрона, Жуковского и Вас, и с грехом пополам воображение начинает работать, и я принимаюсь петь».[1]

[1] См.: А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13. М.—Л., Изд. Акад. наук СССР, 1937, стр. 536—537. В дальнейшем ссылки даются по этому изданию.

Было бы неверно истолковать эти строки, исполненные чувства преклонения перед любимыми учителями, как авторское признание эпигонского характера своего творчества. В самом деле, наряду с мотивами, заимствованными из Байрона, Пушкина и Жуковского, поэзия Козлова питалась жизненными впечатлениями современности, нашедшими собственную художественную форму. Именно это придает индивидуальное своеобразие и оригинальность творческому облику Козлова.

Нельзя согласиться с теми критиками и исследователями, которые объясняют огромную популярность Козлова в двадцатых и тридцатых годах только драматизмом его личной судьбы, биографическими мотивами его поэзии. По этой концепции интерес к Козлову был вызван главным образом сочувствием и жалостью к поэту-инвалиду. Таким образом, творчество Козлова, волновавшее умы и сердца его современников, низводится до частного «биографического казуса», а широкие круги читателей наделяются чрезмерной чувствительностью, повелевавшей им любить поэта не за его стихотворения, а за его страдания.

Характерно, что такого рода филантропически-снисходительное истолкование поэзии Козлова вызвало резкое возражение со стороны издателя «Московского телеграфа» Н. А. Полевого, который видел в этом невольное оскорбление и унижение автора «Чернеца». Полевой высмеял тенденцию современных ему журналов «вымаливать» у читателей сочувствие к «поэту-страдальцу»: «Почти каждое известие о новом сочинении или переводе г-на Козлова начиналось обыкновенно словами: «Судьба его должна возбудить участие в нежных сердцах; несчастие было для него гением животворным; мы уверены, что муза поэта-страдальца пробудит в сердцах» то и то, и так далее. Не знаю, что чувствовал поэт, слыша о себе такие отзывы, но, скажу чистосердечно, я не мог без досады читать подобных суждений о поэте, который в самых произведениях своих являет истинное дарование, и не горестным состоянием тела, но поэтическим умом и чувством привлекает к себе внимание всех любителей изящного. Что вам за дело до Козлова-страдальца, когда вы говорите о Козлове-поэте?» [1]

Многие произведения Козлова, действительно, биографичны, они обладают достоверностью человеческого документа, эмоциональной искренностью исповеди, но ими зачитывались потому, что глубоко личное, сугубо интимное, индивидуально-неповторимое подвергалось в них художественному обобщению и известной типизации.

---

[1] «Московский телеграф», 1833, № 10, стр. 317—318.

В лирике Козлова, при всей ее субъективности, несомненно отразились некоторые стороны общественного самосознания его эпохи. Только в этом следует искать ключ к пониманию популярности и славы поэта.

2

В немногочисленных работах, посвященных Козлову, легко обнаружить настойчивую тенденцию отожествления реальной биографии поэта с биографией его лирического героя. Это неизбежно приводит к некоторой стилизации человеческого облика Козлова. Несмотря на всю искренность его лирических излияний, они ни в коей мере не исчерпывают жизнь Козлова во всей ее полноте, с ее идейными исканиями, сомнениями, психологическими конфликтами.

В. А. Жуковский в статье-некрологе 1840 года нарисовал несколько сусальный портрет Козлова-мученика, безропотно несущего свой тяжкий крест, находящего утешение в религии, семье и скорбных песнях. В этом, по-своему цельном, иконописном портрете, который неоднократно воспроизводился в литературе, отсутствуют внутренние контрасты и противоречия. А о них нетрудно догадаться, если внимательно проанализировать даже те очень скудные биографические материалы, которыми мы располагаем.

Нельзя признать сколько-нибудь убедительной крайне упрощенную биографическую схему, получившую распространение в литературе о Козлове. Согласно этой схеме, Козлов в молодости был всего лишь бездумным светским денди и лихим танцором, затем он стал преуспевающим чиновником, а неожиданно ослепнув в 1821 году, он так же неожиданно для себя и для окружающих стал поэтом. Не имея возможности танцевать или служить в департаменте, он с горя начал писать стихи. Само собой разумеется, что такое волшебное превращение маловероятно. Хотя мы о жизни Козлова знаем, к сожалению, чрезвычайно мало, однако можно с уверенностью сказать, что она была значительно сложнее и богаче этой примитивной схемы, которую, кстати, решительно отвергает Н. А. Полевой в цитированной выше статье. Он убежден в том, что «вдохновение таилось в душе Козлова еще в то время, когда он был молодым, блестящим светским человеком, украшением обществ Петербурга и Москвы».[1] Именно эта светская жизнь, по мнению Полевого,

---

[1] «Московский телеграф», 1833, № 10, стр. 322.

сковывала поэтическое дарование Козлова: «Силы души явились у него только тогда, когда он сбросил с себя тяготевшее их бремя <света>».[1]

Иван Иванович Козлов, происходивший из знатного и старинного дворянского рода, родился в Москве 11 апреля 1789 года. Его отец был статс-секретарем при Екатерине II. Из краткой биографической заметки, составленной дочерью поэта Александрой Ивановной, мы узнаем, что Козлов «воспитывался с братьями у богатых родителей с иностранными гувернерами, как это было тогда обычно в великосветских семьях, но с детства любил все русское, родное... Серьезное образование он сам почерпнул в изучении разных литератур и чтении книг, предаваясь этому с увлечением его страстной натуры».[2]

Пятилетним мальчиком Козлов был зачислен сержантом в лейб-гвардии Измайловский полк и по тогдашним дворянским обычаям, не проходя службы, к 16 годам был произведен в прапорщики, а через два года получил чин подпоручика. Но, по всей видимости, военная карьера не привлекала начитанного и образованного молодого человека, тем более что как раз в это время, после вступления на престол Павла I, в армии воцарился культ бессмысленной муштры и шагистики. Козлов предпочел выйти в отставку и в 1798 году поступил в канцелярию московского генерал-прокурора.

Об этом периоде своей жизни Козлов неоднократно вспоминал в стихах двадцатых и тридцатых годов. Перед нами возникает образ романтически настроенного юноши, пылкого и влюбчивого, предающегося мечтам на лоне сельской природы, — совсем в духе Карамзина! Особенной любовью Козлова пользовались поэтические уголки Подмосковья и сама Москва, которым он посвятил много прочувствованных строк:

Москва, Москва, где радости и горе
Мой юный дух, пылая, обнимал...
...Ты — колыбель моих воспоминаний,
Сердечных дум и дерзких упований!

(Вступление к «Безумной»)

---

[1] «Московский телеграф», 1833, № 10, стр. 323.

[2] К. Я. Грот. К биографии, творениям и переписке И. И. Козлова. — Известия отделения русского языка и словесности Академии наук, 1904, кн. 2, стр. 77—78.

Однако молодой мечтатель, которого волновал «мятеж страстей», не чуждался и светской жизни. Блестящий собеседник, любитель музыки и поэзии, он в начале 1800-х годов становится известным человеком в московских салонах. Когда В. А. Жуковский в 1808 году переехал в Москву для редактирования «Вестника Европы», он сразу заметил Козлова и оценил в нем, по-видимому, литературные интересы и образованность, а не искусство бального танцора, о котором так охотно говорят многие исследователи. Вскоре Жуковский стал не только близким другом, но и литературным наставником Козлова.

Во время Отечественной войны Козлов принимал участие в организации обороны Москвы. Летом 1812 года он состоял в Комитете для образования московской военной силы и покинул город за три дня до вступления в него Наполеона.

В 1813 году Козлов переехал в Петербург и поступил на службу в департамент государственных имуществ. В 1818 году у него появляются признаки паралича ног, а через три года он ослеп. Легко себе представить отчаяние Козлова, который, в довершение ко всему, должен был содержать жену и двух малолетних детей. Под влиянием болезни в нем усилилось влечение к религии, от которой он, в часы душевной депрессии, ждал чудесного исцеления.

С 1821 года до самой смерти Козлова (1840) петербургские журналы и альманахи систематически печатали его произведения, стяжавшие ему громкую славу и любовь современных читателей. Этим, собственно, исчерпывается внешняя биография Козлова.

3

Невозможно себе представить, что Козлов до опубликования своего первого стихотворения (1821) был заурядным чиновником, успешно делающим карьеру, а затем по мановению волшебного жезла превратился в поэта. Приходится предположить, что уже с десятых годов Козлов стал проявлять интерес и сочувствие к передовым кругам русской литературы, начал готовиться к поэтической деятельности, а также углубленно изучать творчество Байрона, восторженным приверженцем и пропагандистом которого он вскоре станет. Иначе представляется абсолютной загадкой сближение Козлова с А. С. Пушкиным, П. А. Вяземским, Александром, Николаем и Сергеем Тургеневыми, которое произошло в 1818—1819 годах. Что могли эти люди иметь общего с немолодым и далеко не высокопоставленным чиновником департамента государственных имуществ?

Конечно, их могла сблизить только известная общность литературных и идейных взглядов.

Из дневника Козлова за 1818 год мы узнаем, что к этому времени его отношения с будущим видным декабристом Николаем Тургеневым были весьма дружескими и исполнены взаимопонимания. Николай Тургенев обладал острым, саркастическим умом, смелой независимостью суждений, громадным образованием. В своем дневнике этих лет он с гневным презрением пишет о властях предержащих, о высших сановниках и министрах, которых он наблюдал на заседаниях Государственного совета. Ему претили сервилизм, холопство и дряблая чувствительность. Тургенев много и часто говорит о своем одиночестве, о ненависти к пустым, пошлым и плоским людям великосветского Петербурга. Следовательно, Козлов был человеком, резко выделяющимся из общего круга, с ним можно было говорить на одном языке. Козлов, в свою очередь, очень высоко ценил образ мышления Н. И. Тургенева. Вот какую характеристику он дает ему в днѐвниковой записи от 26 декабря 1818 года: «Прекрасный человек, просвещенный, такой интересный — своим светлым и широким умом, своим смелым великодушным порывом к прекрасному, к великому, к идеалу. Он только что написал замечательный труд „Теорию налогов"».[1] Эти строки свидетельствуют о том, что Козлов с большим сочувствием относился к декабристским идеалам Тургенева. Весьма знаменательно, что «Опыт теории налогов», явившийся теоретическим обвинением крепостничества, здесь охарактеризован как «замечательный труд».

28 ноября 1819 года Николай Тургенев читал знаменитое письмо М. Ф. Орлова к Д. П. Бутурлину, которое пользовалось большой популярностью в декабристских кругах и широко распространялось в списках. Наиболее обличительные строки этого письма, по признанию самого Тургенева, его «почти до слез тронули». Через несколько дней Тургенев счел нужным познакомить Козлова с этим письмом. В дневниковой записи Козлова от 9 декабря 1819 года мы читаем: «Николай Тургенев приехал ко мне после обеда в Английском клубе. Он мне дал прочесть интересное письмо Мих. Орлова к Бутурлину».[2] Тургенев, как очень умный человек, конечно, не дал бы этого письма Козлову, если бы он не был уверен в том, что оно будет встречено сочувственно и с пониманием.

Тематика дружеских собеседований была широкой и политически злободневной. 8 января 1822 года Николай Тургенев записывает

[1] Старина и новизна, кн. 11 СПб., 1906, стр. 39. В дальнейшем ссылки даются на эту книгу.

[2] Там же, стр. 42.

в своем дневнике содержание беседы, которую он вел с Козловым. Речь шла о разных формах революций — «счастливых и несчастливых»: английской, американской, нидерландской и французской. Запись завершается словами: «Все это слышал я от Козлова».[1]

Темой дружеской беседы явилось также вспыхнувшее в начале 1821 года национально-освободительное восстание в Греции, встреченное с горячим сочувствием прогрессивными кругами русского общества. Летом этого года (точная дата неизвестна) Тургенев обращается к Козлову с просьбой познакомить его с «Песней греческих повстанцев» Байрона. Приведем это единственное сохранившееся письмо Н. И. Тургенева к Козлову: «Я знаю всю цену Вашей ко мне привязанности, и моя к Вам поистине столь же искренняя... Я навещу Вас завтра или послезавтра, и Вы мне прочтете оду Байрона к Греции, которую Вы, конечно, знаете».[2]

При характеристике мировоззрения Козлова в конце десятых годов нельзя недооценивать его интереса к Байрону, чье творчество через несколько лет станет для передовых русских писателей символом свободолюбия и революционного романтизма. Если учесть, что имя Байрона впервые появилось в русской журналистике в 1815 году, то следует признать, что Козлов был одним из самых ранних истолкователей и переводчиков великого английского поэта. В 1818 году он начинает усиленно заниматься английским языком и через несколько месяцев уже читает в подлиннике «Чайльд-Гарольда» и «Гяура». Впечатление от байроновской поэзии было совершенно ошеломляющим. А. С. Пушкин в одной из полемических статей 1830 года рассказывает, что он в юности «с ума сходил» от Байрона. Эта формула как нельзя более применима к Козлову. Свое восторженное отношение к Байрону он очень ярко выразил в дневниковой записи от 31 января 1819 года: «Много читал Байрона. Ничто не может сравниться с ним. Шедевр поэзии, мрачное величие, трагизм, энергия, сила бесподобная, энтузиазм, доходящий до бреда; грация, пылкость, чувствительность, увлекательная поэзия, — я в восхищении от него... Но он уж чересчур мизантроп, я ему пожелал бы только более религиозных идей, как они необходимы для счастья. Но что за душа, какой поэт, какой восхитительный гений! Это — просто волшебство!»[3]

---

[1] Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева, т. 3. Пг., 1921, стр. 312.

[2] К. Я. Грот. К биографии, творениям и переписке И. И. Козлова. — Известия отделения русского языка и словесности Академии наук, т. 9, кн. 2. СПб., 1904, стр. 88.

[3] Старина и новизна, стр. 40.

Этот пламенный дифирамб является одним из первых русских откликов на поэзию Байрона. Надо было самому быть поэтом, чтобы так остро почувствовать эмоциональную стихию байроновского творчества, чтобы тонко ощутить то сочетание величия, трагизма и силы с грацией и пылкостью, которое составляет одну из обаятельнейших особенностей Байрона. Религиозного Козлова не отпугивает атеизм Байрона, но он ему простодушно советует проникнуться религиозными идеями, наивно веря, что они облегчат его трагическую жизнь. Тем не менее Байрон представляется Козлову глашатаем гуманности, добра и справедливости. Эта мысль выражена в лаконичном восторженном восклицании: «Но что за душа!» В общей оценке Байрона Козлов во многом сходится с поэтами пушкинского круга, но он не смог подняться до декабристского истолкования социально-обличительных мотивов в творчестве великого революционного романтика.

В 1819 году Козлов перевел «Абидосскую невесту» на французский язык — это была его первая литературная работа, которую он рассматривал как дань любви к Байрону. Козлов не предназначал свой перевод для публикации, вероятно поэтому он выбрал французский язык, опасаясь того, что ему не удастся передать все богатство оригинала на высоком уровне современной ему русской поэзии (только через шесть лет он осуществит полный перевод этой поэмы на русский язык). Французский перевод «Абидосской невесты» не сохранился, но о нем были хорошо осведомлены Жуковский, братья Тургеневы и Вяземский. Это подтверждается их перепиской, а также дневником Козлова: «20 июля 1819. Столь любимый мною Жуковский прибыл из Павловска. Я ему читал мой перевод „Bride of Abydos"».[1] «12 августа 1819. Александр Тургенев, которого я люблю всем сердцем, читал мой перевод и долго беседовал со мной»;[2] «31 августа 1819. Лекок мне принес мою «Абидосскую невесту», великолепно переписанную и переплетенную».[3]

Надо думать, что о переводе знал также и Пушкин, который «в период 1819—1820 гг. непрерывно общался и с Жуковским, и с А. И. Тургеневым».[4] Перевод «Абидосской невесты», вероятно, был одним из первых источников ознакомления Пушкина с дотоле ему неизвестным Байроном. Через посредство Жуковского и А. И. Тургенева Пушкин, в период недолгого пребывания в Петербурге (до Южной ссылки 1820 года), успел не только познакомиться, но, в из-

---

[1] Старина и новизна, стр. 41.
[2] Там же.
[3] Там же.
[4] Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина. М. — Л., 1950, стр. 251.

вестной мере, подружиться с Козловым. Об этом свидетельствует весь тон письма Козлова к Пушкину от 31 мая 1825 года, написанного после пятилетней разлуки, и в частности такая фраза: «Простите, если я позволил себе беседовать с вами как со старым приятелем».

Будучи на юге и затем в селе Михайловском, Пушкин внимательно следит за творчеством Козлова. Его радует успех нового и несомненно симпатичного ему поэта. В письме к П. А. Плетневу (около 19 июля 1825 года) Пушкин пишет о недавно опубликованной «Венецианской ночи»: «Скажи от меня Козлову, что недавно посетила наш край одна прелесть <А. П. Керн>, которая небесно поет его Венецианскую ночь на голос гондольерского речитатива — я обещал известить о том милого, вдохновенного слепца».[1]

Пушкин считал Козлова человеком своего круга, способным верно оценить его новые произведения. В письме к брату Льву Сергеевичу от 4 декабря 1824 года Пушкин спрашивает: «Что Козлов слепой? Ты читал ему Он<егина>?»[2]

Попутно следует заметить, что Лев Сергеевич, несмотря на разницу лет, был очень дружен с Козловым и постоянно бывал в его доме. С согласия брата он читал слепому поэту еще не опубликованные произведения Пушкина: первые главы «Евгения Онегина», «Цыган» и целый ряд стихотворений. В мае 1825 года Пушкин, живя в Михайловском, с волнением читал козловское послание к В. А. Жуковскому и поэму «Чернец». Ему захотелось «отвечать стихами». И из-под его пера вылилось известное стихотворение «Козлову. По получении от него „Чернеца“»:

Певец, когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений,
На всё минувшее воззрел
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.

и т. д.

Для характеристики взаимоотношений Пушкина и Козлова в первой половине двадцатых годов имеют большое значение письма пушкинских друзей. А. А. Дельвиг пишет 10 сентября 1824 года: «Матюшкин тебе кланяется и слепец Козлов, который только что

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 189.
[2] Там же, стр. 128.

и твердит о тебе да о Байроне»;[1] П. А. Плетнев (22 января 1825 года): «Козлова завтра увижу и прочитаю твое письмо. Он твоим словом больше дорожит, нежели всеми громкими похвалами».[2] Тот же Плетнев сообщает о предстоящем выходе «Чернеца» и «Абидосской невесты». Дельвиг в письме от 15 сентября 1826 года рассказывает о том радостном впечатлении, которое произвела весть об освобождении Пушкина из ссылки. Козлов упомянут среди близких друзей, которые «прыгают и поздравляют тебя».

В середине двадцатых годов, когда имя Козлова становится известным не только в литературных, но и в широких читательских кругах, у него завязываются новые дружеские связи. Обаятельная личность Козлова, широта его культурных интересов, горячее сочувствие к молодым, передовым силам русской литературы и, наконец, героизм его собственного поэтического труда привлекли к нему симпатии наиболее замечательных людей его эпохи. В доме Козлова бывали Пушкин, Жуковский, братья Тургеневы, Вяземский, Крылов, Грибоедов, Рылеев, Кюхельбекер, Гнедич, М. И. Глинка, Адам Мицкевич, Дельвиг, Баратынский, А. С. Даргомыжский, Тютчев, Зинаида Волконская, И. М. Муравьев-Апостол и многие другие. В середине тридцатых годов его посещал Лермонтов. Причем было бы неверно предполагать, что это были некие полуофициальные визиты, которые наносились из вежливости или из чувства сострадания к Козлову. По словам Н. А. Полевого, к поэту-слепцу ходили, главным образом, «не разделять бремя скорби и болезни, но слушать поэта, говорить с ним, дивиться этому непонятному психологическому явлению. Говоря с Козловым, я забыл, что он слепой, что бремя болезни приковало его к одру страдания. Мы говорили о многом, и необыкновенная память и обширные сведения Козлова изумили меня».[3]

Козлов обладал проницательным умом, способным быстро и верно распознавать людей. Так, например, побеседовав с А. С. Грибоедовым, он записывает 3 мая 1825 года: «Грибоедов, человек умнейший, каких мало».[4] Любопытна характеристика молодого Тютчева, данная в дневниковой записи от 12 августа 1830 года: «Пришел интересный и любезнейший Тютчев».[5] Козлов безошибочно ощутил подлую сущность Фаддея Булгарина.

Поэт поражал своих современников огромным мужеством, с которым он боролся против своего тяжелого недуга. Его писатель-

[1] См.: А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 108.
[2] Там же, стр. 134.
[3] «Московский телеграф», 1828, № 4, стр. 550.
[4] Старина и новизна, стр. 47.
[5] Там же, стр. 49.

ский труд был настоящим подвигом. Неуемная жажда творчества побеждала мучительные физические страдания. Он диктовал стихи своей дочери Александре Ивановне и с ее голоса переводил сложнейшие иноязычные тексты английских, французских, итальянских и немецких поэтов. Близкий к декабристскому движению А. Д. Улыбышев в рецензии на «Чернеца», напечатанной в «Санктпетербургской газете», издававшейся на французском языке, с восхищением писал о нравственной силе и мужестве Козлова. Статья заканчивается такими многозначительными словами: «Сколько зрячих и отменно здоровых людей достойно бо́льшего сожаления, нежели наш слепой и парализованный поэт!»[1] Адам Мицкевич, проживавший в 1827—1828 годах в Петербурге, часто навещал Козлова и посвятил ему свою поэму «Фарис». Это посвящение исполнено глубокого внутреннего смысла, ибо в «Фарисе» великий польский поэт воспевает мужество и волю человека, вступившего в борьбу с природой.

На протяжении своей двадцатилетней болезни Козлов сохранил восторженно-страстную любовь к литературе и искусству. Он жадно следил за новинками русской и мировой поэзии, музыки и театра. Он с детства знал наизусть всего Ломоносова, а из современных ему русских поэтов больше всего любил Пушкина, Жуковского, Лермонтова; отлично знал творчество Батюшкова, Рылеева, Гнедича, Баратынского, Вяземского, Дельвига, Языкова.

Круг его любимцев в западноевропейской литературе был широк и разнообразен. Тут мы встречаем дорогие ему имена Петрарки, Камоэнса, Шиллера, Андре Шенье, Адама Мицкевича, Т. Мура, Вордсворта и многих других, но с исключительным энтузиазмом он относился к Данте, Шекспиру, Ариосто, Тассо, Байрону, Вальтеру Скотту, Роберту Бернсу. Одного этого перечня достаточно, чтобы убедиться в том, что «скорбно-унылый» Козлов, каким его обычно изображают, по своим вкусам больше всего тяготел к большому искусству оптимистического и героико-трагического плана.

За два года до смерти 59-летний Козлов с каким-то юношеским пылом зачитывается знаменитой эпической поэмой португальца Луиса де Камоэнса (1524—1580) «Лузиады». Приведем несколько строк из письма его к Жуковскому от 19 ноября 1838 года, которые дают яркое представление о душевном строе Козлова, о неувядаемой свежести его чувств: «Прочел я с величайшим наслаждением бессмертную поэму Камуэнца, французский перевод слово в слово; если «Люзиада» так меня восхищает в прозе, то что же бы было со мной, если б я ее прочел в чудесных, гармонических португальских

[1] «Journal de St.-Petersbourg», 1825, № 61, 21 мая.

октавах! *Эпизоды Инесы де Кастро* и Адамастора, можно сказать, божественны и идут наравне с дивнейшими эпизодами всех поэм на всех языках — древних и новых. Ах, какое для меня счастье жить с Данте, Ариостом и Тассом и слушать их песни... восхищаться Шекспиром и любить, как я люблю, буйного лорда Байрона».[1]

Характерно, что и в современной музыке Козлова привлекали не чувствительные романсы, широко бытовавшие в двадцатых и тридцатых годах, а могучие дарования Бетховена и Глинки. В дневнике Козлова неоднократно встречается имя Бетховена, чьи героические симфонии он «слушал с восторгом» в исполнении молодого А. С. Даргомыжского.

Совершенно очевидно, что личность Козлова никак не укладывается в унылую схему «певца своей печали». Но мужественная сила характера, сочувствие благородным идеалам свободолюбия и гуманности и даже смелые душевные порывы парадоксально сочетались в нем с какой-то внутренней робостью и мучительным страхом перед мертвящим николаевским режимом. Это противоречие можно отчасти объяснить положением инвалида, полной физической беспомощностью и беззащитностью Козлова.

Козлов был живым и близким свидетелем декабрьского восстания. Среди повешенных и сосланных были его друзья и знакомые. Он хорошо знал Рылеева и Кюхельбекера, был связан тесной дружбой с отцом прославленных декабристов — И. М. Муравьевым-Апостолом. Расправа над героями 14 декабря потрясла и напугала Козлова. Опасаясь правительственных репрессий, он уничтожил компрометирующие его письма и дневниковые записи (случайно уцелели лишь немногие). На протяжении мрачного последекабрьского пятилетия он вовсе не вел дневника. Осторожность его иногда принимала крайние формы: так, например, он не включал в собрания своих сочинений «Бейрона» — одно из любимейших своих стихотворений, написанное в 1824 году. В атмосфере последекабрьского террора он замкнулся в себе, затаив много невысказанных мыслей и чувств.

Тем не менее Козлов продолжал интенсивно писать. Он внимательно следит за растущими силами русской литературы, радостно приветствуя появление Лермонтова. Потрясенный гибелью Пушкина, он 11 февраля 1837 года с волнением и любовью слушал «чудные стихи Лермонтова на смерть Пушкина».[2]

---

[1] Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Онегинское собр. 28088/СС I б. 125.

[2] Старина и новизна, стр. 56.

Незадолго до смерти Козлов написал стихотворение «Гимн Орфея», в котором воспел могущество поэзии, являющейся вечным и неизменным спутником человечества.

4

Начало поэтической деятельности Козлова совпадает с расцветом романтизма в русской литературе. *«Романтизм* — вот первое слово, огласившее *Пушкинский* период», — писал В. Г. Белинский.[1]

По собственному признанию, Козлов испытал на себе сильнейшее влияние Жуковского, Байрона и Пушкина. Уже одно сочетание этих имен во многом обусловило противоречивость его творчества, в котором причудливо скрещивались противоборствующие тенденции консервативного и прогрессивного романтизма.

Белинский видел новаторство Жуковского в смелой попытке изображения жизни через художественное раскрытие своего лирического «я»: «Жуковский был первым поэтом на Руси, которого поэзия вышла из жизни... До Жуковского на Руси никто и не подозревал, чтоб жизнь человека могла быть в тесной связи с его поэзией и чтоб произведения поэта могли быть вместе и лучшею его биографиею».[2]

Этот по существу важнейший принцип романтической лирики стал доминирующим в поэзии Козлова, который с самого начала своего творческого пути провозгласил право поэта на глубоко личные, лирические излияния, за которыми, однако, стоит объективный мир в его сложном многообразии. Жуковский, как типичный романтик, выказывал в своем творчестве неудовлетворенность реальной действительностью. Он, по словам Белинского, «выговорил элегическим языком жалобы человека на жизнь».[3] Именно «жалобы», а не гневный протест и призыв к борьбе, составляющие центральную тему поэзии прогрессивного романтизма. Элегические жалобы Жуковского, как правило, разрешаются примирительным аккордом, покорностью воле провидения, надеждой на потустороннее, небесное блаженство. Козлов разделял эту концепцию своего учителя, нашедшую художественное выражение в целом ряде его произведений. Белинский сурово осудил его за это. Однако, как мы это увидим

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 1. М., 1953, стр. 91.

[2] Там же, т. 7. М., 1955, стр. 190.

[3] Там же.

ниже, Козлов, в отличие от Жуковского, осложнил тему покорности жизненным обстоятельствам мотивом внутреннего сопротивления и борьбы. Лучшие произведения Козлова были созвучны настроениям передовых читателей его эпохи. Примыкая по своим дружеским и литературным связям к прогрессивным кругам русского общества, Козлов в годы нарастания революционного движения декабристов сочувствовал передовым течениям общественной жизни, и живая современность находила отклик в его поэзии.

В 1822 году Козлов создает одно из характернейших и значительных своих произведений — послание «К другу В. А. Ж<уковскому>». Эта вещь является, в известной мере, программной для лирики Козлова. Ее высоко ценил Пушкин. В центре послания — образ самого поэта, потрясенного обрушившимся на него несчастьем. Послание отличается задушевностью тона, горячностью и искренностью поэтической речи, то есть теми особенностями, которые вообще свойственны лучшим произведениям Козлова и которые были отмечены такими его современниками, как Жуковский, Пушкин, Гоголь, Гнедич, Вяземский, А. И. Тургенев, Н. Н. Раевский.

Н. И. Гнедич в 1828 году писал: «А поэта Козлова я знаю: иногда так царапнет за сердце, что не усидишь на месте».[1]

Н. В. Гоголь говорил, что «Козлов гармонический поэт, от которого раздались какие-то дотоле неслышанные, музыкально-сердечные звуки».[2]

В послании к Жуковскому драматизм повествования подчеркивается воспоминаниями о счастливом прошлом поэта, исполненном жизненной энергии, пылких мечтаний и молодой отваги:

С душой, наполненной огнем,
Я волн и бурь не устрашился, —
И в легком челноке моем
Отважно по морю пустился.

Козлов с захватывающей силой рассказывает о своей слепоте, ввергшей его в отчаяние и «бездну гибели». Высокая патетика скорби выражена целым потоком выстраданных, взволнованных и горячих стихов, о которых Пушкин писал: «Ужасное место, где поэт описывает свое затмение, останется вечным образцом мучительной поэзии».[3]

---

[1] «Русский архив», 1886, № 2, стр. 190.

[2] Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, т. 8. М.—Л., 1952, стр. 385.

[3] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 174.

Но тема скорби об утраченном счастье не является единственной в этой лирической исповеди, она органически скрещивается с темой преодоления душевного кризиса. Как бы «рок» ни «свирепел», как ни тяжело «стерпеть удар сей нестерпимый», как ни мучительны испытания, но в поэте неугасимо горит вера в искусство, гуманность, красоту человеческой дружбы, которые и озарили его новый жизненный и творческий путь.

Козлов с большой выразительностью и душевным подъемом говорит о могуществе поэзии, которая придает силы, обогащает, преображает, наполняет высшим смыслом жизнь:

Каким волшебным я щитом
От черных дум обороняюсь!
Я слышу дивный арфы звон,
Любимцев муз внимаю пенье,
Огнем небесным оживлен;
Мне льется в душу вдохновенье,
И сердце бьется, дух кипит,
И новый мир мне предстоит...

Дальше Козлов, характеризуя роль поэзии в человеческой жизни, не пытается сформулировать ее общественное и гражданское назначение, а ограничивается свободной перифразой известных строк Ломоносова о науках («Науки юношей питают...»).

Гоголь в 1831 году писал, что Козлов в своем творчестве стремится «с порывом, с немолчною жаждою — торжествовать, возвыситься над собственным несчастием...» и вместе с тем «он сильно дает чувствовать все великие, горькие траты свои...».[1] Эти гоголевские слова полностью применимы к идейному и эмоциональному строю послания к В. А. Жуковскому. Острая душевная боль и горечь сочетаются в нем с мужеством и силой духа, которые и помогают сопротивляться натиску жизненных бед. Вот почему послание завершается оптимистически звучащими строками, выражающими идею торжества человека над ниспосланными ему испытаниями:

Изведал я, что убивать
Не могут грозные страданья,

---

[1] Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, т. 8. М.—Л., 1952, стр. 153—154.

Пока мы будем сохранять
Любви чистейшей упованья.

Лирический герой послания и других лучших произведений Козлова — не только страдающая, но и стойкая, борющаяся личность, утверждающая себя в любви к жизни, в преодолении жизненных невзгод и бедствий. Если к этому прибавить художественную достоверность и подлинность переживаний героя, то станет понятным тот интерес, который возбуждала поэзия Козлова среди читателей двадцатых и тридцатых годов.

Послание к В. А. Жуковскому изобилует лексическими и поэтическими формулами, образами и метафорами, которые будут неоднократно использованы Козловым. К таковым следует отнести романтический образ челнока, на котором спасается потерпевший крушение герой, или образ разбитого жизненной бурей челнока. Эта выразительная метафора, помимо Козлова, была использована многими поэтами двадцатых и тридцатых годов: Денисом Давыдовым, Языковым, Веневитиновым, Кюхельбекером, Полежаевым и, наконец, Пушкиным в его гениальном «Арионе».

Впервые образ челнока появляется в стихотворении Жуковского «Путешественник» (1809). Челнок здесь имеет абстрактно-мистическое значение, он уносит странника в «небесную нетленность». В мастерски написанном стихотворении Жуковского «Пловец» (1812) дан развернутый образ бури и челнока. Герой, «вихрем бедствий гонимый», опять-таки спасается при помощи божественного провидения, которое было его «тайным кормщиком». Такое стихотворение Козлова, как «Два челнока», написано под прямым влиянием Жуковского, но в послании и в целом ряде других вещей Козлов переосмысляет «Пловца». Мистический пафос, религиозная символика уступают место конкретно-поэтической образности. Аллегория становится прозрачной и светлой, небесные ангелы заменяются верой в успех и удачу, которая воплощается в поэтическом образе сияющей, приветной звезды. Буря приобретает реальные приметы жизненных невзгод, а челнок становится емкой метафорой движения. В этом смысле очень показательно стихотворение «Графу М. Виельгорскому», пронизанное пушкинскими интонациями:

И мрак пловца не погубил;
Луною море озарилось, —
И сердце радостью забилось,
И я любовь благословил.

5

В годы нарастания декабристского движения Козлов стремится выйти из круга субъективных переживаний на широкий простор общественной жизни, откликнуться поэтическим словом на события, волновавшие передовые круги России. Одним из таких событий была национально-освободительная война в Греции, воспетая Пушкиным, Гнедичем, Рылеевым, Кюхельбекером, В. Туманским, Федором Глинкой, Владимиром Раевским.

Вяземский, сочувственно следивший за восстаниями в Греции, Неаполе и Пьемонте, революцией в Испании, упрекал Жуковского в равнодушии к бурной политической жизни современности. В письме к А. И. Тургеневу от 25 февраля 1821 года он писал: «И, конечно, у Жуковского все душа и все для души. Но душа... видя эшафоты, которые громоздят для убиения народов, для зарезания свободы, не должна и не может теряться в идеальности Аркадии... Поэту должно искать иногда вдохновения в газетах». [1]

Козлов во многом разделял мнение своего друга, он нашел «вдохновение в газетах». В начале 1822 года было опубликовано его стихотворение «Пленный грек в темнице», посвященное одному из руководителей греческого национально-освободительного движения Александру Ипсиланти. Такие формулы, как «Ах, иль быть свободным, Иль совсем не быть!» или «Средь бури зреет плод, свобода, твой!» — приобретали в годы подготовки декабрьского восстания весьма актуальное политическое звучание. В этом смысле показателен отзыв Вяземского — автора вольнолюбивой политической оды «Негодование» (1820) — на стихотворение Козлова «Пленный грек в темнице». Вот что он писал А. И. Тургеневу 27 апреля 1822 года: «У нас и зрячие не разглядели этого предмета, истинно поэтического:

Ах, иль быть свободным,
Иль совсем не быть!

Будь я в поре стихов, с досады умер бы я, видя, что у меня украли Ипсиланти». [2]

В декабристских кругах выражалось глубокое негодование по поводу политики Александра I, отказавшегося помочь «единоверным» грекам. Характерно, что эти настроения нашли отображение в козловском «Бейроне». В одном из вариантов стихотворения,

---

[1] Остафьевский архив, т. 2. СПб., 1899, стр. 170—171.
[2] Там же, стр. 252.

хранившемся у Александра Тургенева, пятая и шестая строки второй строфы читаются так:

Цари равнодушны, — он прежде царей
С мечами, с казною и арфой своей...[1]

В 1823 году Козлов опубликовал стихотворение «Молодой певец», перекликающееся по своему идейному звучанию с «Пленным греком в темнице». Тема «Молодого певца», заимствованная из «Ирландских мелодий» выдающегося английского поэта Томаса Мура (1779—1852), посвящена национально-освободительной борьбе ирландского народа против своих поработителей. Следует заметить, что Козлов был одним из первых русских поэтов, обратившихся к «Ирландским мелодиям», проникнутым пафосом народного героизма и свободолюбия. «Ирландские мелодии» Мура произвели огромное впечатление на Байрона, они по справедливости были высоко оценены поэтами декабризма и позже поэтами революционной демократии (переводы А. И. Одоевского, М. Л. Михайлова, А. Н. Плещеева).

В «Молодом певце» прославляется поэт-воин, павший «жертвой грозных сеч» во имя свободы родного края. Герой умирает с твердым убеждением в том, что он все равно не смог бы жить и творить в стране,

Где раб звучит цепями.

Излюбленная декабристскими литераторами тема гражданского долга нашла своеобразное преломление в отрывке «Фея Моргана к Оливьеру» (1822). И хотя отрывок заимствован из поэмы Мильвуа, посвященной военным походам Карла Великого, тем не менее в нем сквозь условную декорацию эпической поэмы отчетливо прозвучала тема долга, доминирующего над всеми другими помыслами и чувствами. Стремление к героическому подвигу пересиливает колдовские любовные чары. Оливьер покидает «терем» Морганы, которая сама готова сопутствовать ему в сражениях:

Помчусь и я подругою твоей.
Я брошуся на стрелы роковые —
И притуплю их грудию моей!

Козлова привлекали сильные, недюжинные характеры. В прекрасной балладе «Разбойник» (1825), заимствованной из поэмы Вальтера Скотта «Рокби», посвященной эпохе Английской революции XVII века, изображается «друг неверной тмы», вступивший

---

[1] Остафьевский архив, т. 2. СПб., 1899, стр. 69.

в конфликт с обществом, порвавший с его законами, обычаями и условностями, исполненный стихийного бунтарства, разбойничьей удали и отваги.

Смерть Байрона в апреле 1824 года была с чувством глубокой скорби воспринята писателями-декабристами, видевшими в нем своего идейного соратника. Известие о гибели Байрона потрясло Козлова «как смерть дорогого сына». Он сразу же начал работать над большим стихотворением «Бейрон», которое было закончено летом 1824 года. Овеянное духом свободолюбия, это стихотворение принадлежит к немногочисленным образцам гражданской лирики Козлова.

В своей оценке Байрона — поэта и человека — Козлов близок к Пушкину, Рылееву, Кюхельбекеру, Веневитинову, Вяземскому, откликнувшимся на смерть великого английского поэта, и внутренне полемизирует с Жуковским. Козлов на протяжении всей своей творческой жизни пытался осмыслить судьбу «буйного лорда Байрона», вступившего в непримиримый конфликт с обществом. Козлов не смог оценить во всей полноте сущность и природу этого конфликта, но он отчетливо понимал, что и семейная драма Байрона, и его бегство из Англии есть следствие травли со стороны господствующих классов. И в этом он, конечно, был прав.

Свою горячую симпатию к Байрону Козлов выразил не только в самостоятельных произведениях, но и в специфическом выборе байроновских стихов для перевода. Козлова-романтика пленяло в Байроне горделивое одиночество изгнанника. Уже в 1822 году в одном из вариантов послания к В. А. Жуковскому (см. примеч., стр. 445) возникает тема «рьяного стенанья», «таинственной тоски», снедавшей Байрона, который, однако, наделен магической силой гения, воспламеняющего, подобно молнии, человеческие сердца. В 1824 году Козлов переводит «Прощальную песнь» Чайльд-Гарольда под названием «Добрая ночь». Герой с затаенной болью расстается с Англией, с которой его уже ничто не связывает, кроме горестных воспоминаний. Вместе с тем он нежно любит родину, и эта любовь выражена в очень теплом, задушевном рефрене: «Ночь добрая тебе!» Отголоски семейной драмы слышатся в переводе байроновского «Прости». В «Отрывке из 4-й песни „Чайльд-Гарольда“» («Байрон в Колизее») возникает образ Байрона, затравленного светской чернью, ханжами и клеветниками, палачами гения. Весь отрывок дышит гневом и страстной жаждой мести:

О Немезида! . .
. . .Восстань опять из бездны вечной!
Явись, правдива и грозна!

В стихотворении «Бейрон» Козлов создает романтический портрет великого поэта, бесприютного скитальца вселенной, отвергнувшего ненавистное ему враждебное общество. Мятежная, вольнолюбивая душа Байрона охвачена тревогой за страждущее, угнетенное человечество:

И в бурных порывах всех чувств молодых
Всегда вольнолюбье дышало ...
...Он пел угнетенным свободу.

«Кипучая бездна огня и мечты» — в этой лапидарной поэтической формуле метко схвачен характер Байрона — глубокий, пламенный и неукротимый. Козлов называет музу Байрона «пророчицей дивной свободы», перекликаясь, таким образом, с Веневитиновым, также назвавшим Байрона «пророком свободы», и с декабристскими представлениями о поэтах как о трибунах и пророках свободы. Козлов говорит о Байроне не только как о великом мечтателе и вольнолюбце, но и как об отважном борце за свободу. Апофеозом жизни Байрона, по мнению Козлова, является его участие в греческом восстании. В финальных строфах стихотворения, насыщенных торжественным пафосом, возникает героический образ Байрона-борца:

Он первый на звуки свободных мечей...
...Летит довершать избавленье;
Он там, он поддержит в борьбе роковой
Великое дело великой душой —
Святое Эллады спасенье.

Козлов посвящает борющейся Греции вдохновенные и восторженные строки, звучащие как гимн:

О край песнопенья и доблестных дел,
Мужей несравненных заветный предел —
Эллада! Он в час твой кровавый
Сливает свой жребий с твоею судьбой!
Сияющий гений горит над тобой
Звездой возрожденья и славы.

«Сливание жребия» великого поэта с судьбой сражающейся за свою свободу Греции является также лейтмотивом стихотворений Рылеева и Кюхельбекера, посвященных смерти Байрона. В траурной рылеевской оде горестно и вместе с тем горделиво звучат слова:

Увянул Бейрон в цвете лет
В святой борьбе за вольность грека.

(«На смерть Бейрона»)

Кюхельбекер называет Байрона песнопевцем «свободой дышащих полков», имя которого навеки соединено с образом свободолюбивой Эллады:

Бард, живописец смелых душ,
Гремящий, радостный, нетленный,
Вовек пари, великий муж,
Там, над Элладой обновленной!

(«Смерть Байрона»)

Стихотворение Козлова, прославляющее Байрона, боровшегося и героически погибшего за передовые идеалы своего времени, нашло живой отклик среди прогрессивно настроенных читателей в канун декабрьского восстания. Оно пользовалось большой популярностью и расходилось в списках. Стихотворение посвящено Пушкину, и весьма характерно, что образ Байрона, созданный Козловым, некоторыми своими чертами и свойствами ассоциировался в сознании современников с молодым Пушкиным — преследуемым изгнанником. Об этом свидетельствует письмо Вяземского к А. И. Тургеневу от 13 августа 1824 года. Говоря с возмущением и горечью о ссылке Пушкина, Вяземский восклицает: «В его лета, с его душою, которая также кипучая бездна огня (прекрасное выражение Козлова о Байроне)».[1]

Первая половина двадцатых годов ознаменовалась большой творческой активностью Козлова. Помимо цикла лирических стихотворений, в этот период создается поэма «Чернец», завершается перевод «Абидосской невесты», начинается работа над поэмой «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая».

Гражданские мотивы козловской лирики сочетаются с темой грусти о мимолетности и непрочности человеческого счастья и радости, которые уподобляются недосягаемой, далекой звезде, горящей в «мраке бедствия» («К радости»). Одна из главных тем поэзии Жуковского, тема упования на потустороннее возвращение утраченного на земле счастья, воплощенная в таких произведениях, как «Теон и Эсхин», «Голос с того света», «На кончину королевы Виртембергской», «Цвет завета», была сродни Козлову, искренне верившему в загробный мир. Эта излюбленная тема Жуковского была подхвачена и усвоена Козловым. Она неумолчно звучит в оригинальных и переводных стихотворениях двадцатых и тридцатых годов. Она варьируется на многие лады, сохраняя в неприкосновенности идею потустороннего блаженства, уготованного верующим. Так, например,

[1] Остафьевский архив, т. 3. СПб., 1899, стр. 74.

в балладе «Сон невесты», выдержанной в мрачных тонах того романтизма, который Белинский назвал «средневековым», девушке, охваченной страхом и тоской, является во сне призрак жениха-утопленника, призывающего не лить слезы, а надеяться на то, что они, разлученные на земле, соединятся «в небесах». В стихотворении «Жалоба» поэт оплакивает счастливых и цветущих молодых людей, над которыми внезапно зажегся «факел погребальный». Поэт испытывает чувство бессилия и отчаяния перед лицом торжествующей смерти, он осознает обманчивость, эфемерность жизни с ее призрачными радостями:

Обман пленительной мечте,
Обман святому вдохновенью,
Обман любви и красоте,
Обман земному наслажденью!

Но если на земле все так непрочно, скоротечно и обманчиво, то почему человек не впадает в состояние безнадежности, почему он упорно продолжает «желать» и «любить»? На этот вопрос Козлов отвечает совершенно в духе Жуковского: «сокрушенному тоскою» помогает вера в бессмертие, вера в грядущую встречу с безвременно ушедшими:

Но сердце с сердцем будет жить,
Сольется вновь душа с душою!

Герой стихотворения «Выбор», обезумевший от горя после смерти своей возлюбленной, просит в молитвенном экстазе ниспослать ему скорую смерть, чтобы соединиться в надзвездном мире со своей избранницей.

Среди стихотворений Козлова, окрашенных в религиозные тона, особое место занимает «Элегия» («Вчера в лесу я, грустью увлечен...»), заимствованная у Григория Назианзина, средневекового богослова и поэта. Для этой элегии, исполненной художественной выразительности и силы, характерно стремление Козлова к углубленному самоанализу, к познанию самого себя. Причем процесс познания оказывается мучительно трудным, приводящим в смятение героя элегии, томимого внутренним беспокойством и сомнениями («И разум мой сомненье облегло»), хотя церковные догматы несовместимы с противоречиями и сомнениями в душе верующего. Аксиомы христианского вероучения не избавляют героя от разлада в сознании. Цельность его религиозного мироощущения, в котором царят извечные непререкаемые догматы, в ходе самоанализа оказывается мнимой:

Мой дух кипел, я спрашивал себя:
Что я теперь? что был? чем буду я? —
Не знаю сам, и знать надежды нет.
И где мудрец, кто б мог мне дать ответ?

Герой не находит такого «мудреца», ибо истины так же непостоянны, невечны, изменчивы и текучи, как и все другие явления природы, не знающей состояния неподвижности и покоя:

Уже тех волн мы в море не найдем,
Которые в нем раз переплывем...
И человек, лишь мы расстались с ним,
Не тем, чем был, но встретит нас иным...

Мрачная мысль о неотвратимой смерти в известной мере просветляется надеждой на потустороннее блаженство, но, в противоположность другим религиозным стихотворениям Козлова, в этой элегии мотив бессмертия звучит неуверенно, робко, приглушенно, с вопросительными интонациями. Значительно ярче и сильней излагается пессимистическая тема о бесцельности жизни, которая завершается уничтожением и прахом:

Как бурный ток, пролетная вода,
Теку — стремлюсь — исчезну навсегда.
Удел мой — гроб; сегодня — человек,
А завтра — прах...

Это четверостишие вызывает в памяти известные строки из стихотворения Державина «На смерть князя Мещерского»; они перекликаются по своей мысли, образному строю и лексике:

Как в море льются быстры воды,
Так в вечность льются дни и годы
. . . .
Сегодня бог, а завтра прах.

Этим произведениям Козлова контрастно противопоставлены такие стихотворения, как «Венецианская ночь», послание к Н. И. Гнедичу, «К Италии». Радостное мироощущение, полнота душевной жизни раскрываются в поэтических пейзажах, полных весенней свежести, праздничных, нарядных, сверкающих красок. Первые шесть строф «Венецианской ночи» напоены молодыми надеждами, радостью бытия, безотчетными стремлениями к счастью:

Всё вливает тайно радость,
Чувствам снится дивный мир,
Сердце бьется, мчится младость
На любви весенний пир. . .

«Венецианская ночь» очень музыкальна, она выдержана в певучих и нежных ритмах баркаролы, не случайно М. И. Глинка создал на этот текст один из вдохновеннейших своих романсов. Вторая часть стихотворения подернута дымкой меланхолии и светлой грусти, вызванной воспоминаниями о Байроне — певце «свободы и любви». Белинский писал по поводу «Венецианской ночи», что Козлову «не чужды и звуки радости, и роскошные картины жизни, наслаждающейся самой собою»; затем, приведя 32 строки из «Венецианской ночи», Белинский продолжает: «Какая роскошная фантазия! Какие гармонические стихи! Что за чудный колорит — полупрозрачный, фантастический! И как прекрасно сливается эта выписанная нами часть стихотворения с другою — унылою и грустною, и какое поэтическое целое составляют они обе!» [1]

Послание «К Н. И. Гнедичу» также пронизано жизнелюбием, порывом к свету и воздуху. Это ощущается и в общей приподнятости тона, и в радостной цветовой гамме кавказского и крымского пейзажей, и в упругой ритмике стиха, в характере его звуковой инструментовки. На фоне величавой южной природы возникает целая сюита образов и эпизодов. Поэт с горделивым чувством вспоминает о непокорном бунтаре Прометее, прикованном к дикой кавказской скале, о вдохновенном Пушкине, который «в садах Бахчисарая» встречает героиню своей будущей поэмы. В стихотворении слышатся отзвуки греческого восстания, а в романтическом финале появляется торжественно освещенная багровым заревом урна «вещего певца» — Байрона.

Для творчества Козлова двадцатых годов также весьма характерна такая вещь, как «На погребение английского генерала сира Джона Мура» («Не бил барабан перед смутным полком. . .»). Она является вольным переводом одноименных стансов ирландского поэта Чарльза Вольфа. Это стихотворение приобрело широчайшую популярность и затем вошло в хрестоматийный и песенный обиход. Козлов воспевает в нем непреклонное мужество верных своему долгу борцов, над могилой которых сияет «бессмертная слава». Причем реальная биография генерала Джона Мура уступает здесь

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 5. М., 1954, стр. 73—74.

место поэтически обобщенному образу героя, с честью павшего на поле брани. Стихотворение пронизано суровой нежностью и силой, ритмом траурно-триумфального марша. Небезынтересно отметить, что на текст этого стихотворения в середине XIX века была сочинена неизвестным автором музыка, которая впоследствии легла в основу революционной песни «Вы жертвою пали...»

В лирике Козлова первой половины двадцатых годов свежо прозвучали такие произведения, как «Киев» и перевод «Плача Ярославны» из «Слова о полку Игореве». Обращение к великому памятнику древнерусского эпоса говорит об обострившемся интересе Козлова к историческому прошлому России, к проблеме национальной самобытности литературы. Эта проблема, как известно, занимала одно из центральных мест в литературной программе декабристов, и нет ничего удивительного в том, что Козлов, по характеру своих дружеских связей, был о ней хорошо осведомлен, тем более что декабристы стремились включить в орбиту своего идейного влияния как можно больше активно действующих писателей и поэтов. Не случайно Рылеев и А. Бестужев привлекают Козлова к участию в альманахе «Полярная звезда».

Стихотворение «Киев» согрето патриотическим воодушевлением поэта. Древний «град» предстает перед ним в романтическом ореоле величия и красоты. Козлов любуется «милою стариною», предстающей в двух аспектах: религиозном и героическом. Поэт с умилением говорит о «светлом кресте» Печерской лавры, горящем «звездой на небе голубом», затем он переносится к славному историческому прошлому Киевской Руси, к ее богатырям, сражавшимся за отчизну, Баяну, воспевавшему «битвы роковые». Поэт, как бы обращаясь к своим современникам, восклицает:

Где ж смелые, которые сражались,
Чей острый меч как молния сверкал?

Козлова интересовала проблема народности, которую он, однако, воспринимал с ее внешней, романтически окрашенной стороны. В письме к Жуковскому от 16 октября 1823 года он с наивным простодушием признается, что такие слова, как «девичья красота, дымчатая фата, радужный жемчуг, Киев-град и Днепр-река, услаждают мой слух и обольщают мое сердце».[1] Тем не менее и «Чернеца», и «Княгиню Наталью Борисовну Долгорукую» следует рассматривать как осознанное стремление Козлова создать

---

[1] Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Онегинское собрание, 28088/СС I. 6. 125.

национально-самобытную романтическую поэму на русском материале — современном и историческом.

Поэма «Чернец», вышедшая отдельным изданием в начале 1825 года, была задумана в 1822 году, вскоре после опубликования пушкинского «Кавказского пленника», который произвел огромное впечатление на Козлова. В шестой книжке журнала «Новости литературы» за 1823 год была напечатана десятая глава из «Чернеца» под названием «Возвращение на родину» с авторской пометкой: «Отрывок из поэмы еще не напечатанной». Следовательно, к этому времени работа над поэмой шла полным ходом, но она, по-видимому, представляла большие трудности для автора, стремившегося сохранить творческое своеобразие в том новом жанре, который был освящен именами Байрона и Пушкина. Влияние этих великих поэтов явственно ощущается и в композиции «Чернеца», и в характеристике героя, и в экспрессивной, лирической манере повествования. Это уже бросалось в глаза самым восторженным поклонникам поэмы. Однако ее громадный успех свидетельствует о том, что Козлов все же сказал и новое, свежо прозвучавшее слово, что он первый после Пушкина дал собственный вариант русской романтической поэмы, которую ни в коем случае нельзя включать в поток эпигонских «байронических» произведений, разлившийся по журналам второй половины двадцатых и начала тридцатых годов. Этому противоречат простые хронологические факты.

Композиционная схема «Чернеца» некоторыми своими существенными элементами восходит к байроновскому «Гяуру» и «Кавказскому пленнику». Вокруг героя, окутанного атмосферой таинственности, сосредоточены все события поэмы, в изложении которых господствуют напряженная динамика, романтический «беспорядок», подчеркнутая фрагментарность. Острая эмоциональная заинтересованность поэта в судьбе героя проявляется в самом строе поэтической речи — взволнованной и страстной. Характер чернеца раскрывается в действии, в борьбе с жизненными препятствиями, — именно эту, принципиально важную особенность Козлов также воспринял в романтических поэмах Байрона и Пушкина.

Вместе с тем Козлов в построении сюжета «Чернеца» сознательно стремится к его «опрощению», к снижению героико-романтической тональности, свойственной «Гяуру», «Кавказскому пленнику» или «Бахчисарайскому фонтану» (поэма «Цыганы» в период создания «Чернеца» еще не была опубликована). Кроме того, Козлов пытался придать своей поэме отчетливый национально-русский колорит — не «восточный» и не «южный», а именно русский. Эти тенденции обнаруживаются хотя бы в том, что действие «Чер-

неца» развертывается на фоне «обыденного», мирного сельского пейзажа, написанного с проникновенной поэтичностью:

Вечерний мрак в туманном поле;
Заря уж гаснет в небесах;
Не слышно песен на лугах;
В долинах стад не видно боле;
Ни рог в лесу не затрубит,
Никто не про́йдет, — лишь порою
Чуть колокольчик прозвенит
Вдали дорогой столбовою...

и т. д.

И в соответствии с романтической поэтикой безмятежная природа резко контрастирует с роковыми страстями, которые обуревают героя. Но гораздо существенней другое: в центре поэмы — не исключительная личность, наделенная чертами титанизма или демонизма, а бедный, гонимый юноша, выросший «бездомным сиротою», жадно стремящийся к обыкновенному человеческому счастью, к семейным радостям, но терпящий катастрофу в столкновении со злыми силами окружающей действительности. Пусть эти противоборствующие силы очерчены бледно и невыразительно, но самая тенденция обнаруживает известную художественную смелость автора.

Одна из актуальных проблем эпохи, проблема взаимоотношений личности и общества, лежащая в основе романтических поэм Пушкина, нашла и в «Чернеце» своеобразный ракурс, причем герой обрел не только психологическую, но, в известной мере, социально-бытовую конкретность. Козлов сталкивает чернеца с косной и враждебной средой, нанесшей ему еще в детстве душевную рану:

Огонь и чистый и прекрасный
В груди младой пылал напрасно:
Мне было некого любить!
Увы! я должен был таить,
Страшась холодного презренья,
От неприветливых людей
И сердца пылкого волненья,
И первый жар души моей.

Жизненные обстоятельства («дней моих весною уж я всё горе жизни знал») обусловили мрачную замкнутость, внутреннюю одержимость героя, стремящегося всеми силами утвердить свое право на личную свободу и счастье. Эту особенность «Чернеца» отметил Вяземский в 1825 году. В статье, напечатанной в «Московском те-

леграфе», он писал: «При самом рождении чернец уже познакомился с несчастием сиротства и под гнетом строгой судьбы образовался к сильным и мрачным страстям».[1]

Любовь — главный и ведущий сюжетный мотив поэмы. Козлов изображает ее как всепоглощающую страсть. Романтический герой находит в ней осуществление своей мечты о счастье, которое он не в силах обрести в неустроенном и жестоком мире. Поэтому гибель любимой женщины становится для чернеца сокрушительной катастрофой, апогеем душевной драмы. В отличие от романтических героев Байрона и Пушкина, не знающих чувства покорности и компромисса, чернец сочетает в себе активность, порывистую решимость мстителя с христианским смирением, «бешенство страстей» с религиозной экзальтацией. Мотивы упования на загробную встречу с любимой, проходящие через поэму, нарушают ее цельность, ослабляют ее идейное звучание. Тем не менее современники Козлова видели в чернеце образ мятущейся личности, погибшей в столкновении с жестокой действительностью. Эта большая тема, поднятая прогрессивной романтической поэзией, нашла свое отображение и в «Чернеце».

Читателей пленили в поэме Козлова новизна материала, почерпнутого из обыденной русской жизни, искренность и лирическая взволнованность повествования. В этом смысле характерен отзыв М. Н. Загоскина. В письме Козлову от 29 апреля 1825 года он пишет: «Вы сделали чудо: заставили плакать комического писателя».[2] Н. Н. Раевский, резко критиковавший «Кавказского пленника», писал Пушкину 10 мая 1825 года, что он находит в «Чернеце» «настоящее чувство, наблюдательность (чуть было не сказал знание человеческого сердца...)».[3] Вяземский, «с ума сходивший» от стихов Пушкина, тем не менее в порыве энтузиазма, вызванного чтением поэмы Козлова, писал 22 апреля 1825 года А. И. Тургеневу: «Я восхищаюсь «Чернецом»: в нем красоты глубокие, и скажу тебе на ухо — более чувства, более размышления, чем в поэмах Пушкина».[4] Это столь парадоксально звучащее признание Вяземского ценно лишь одним — оно проливает свет на причину того необычайного успеха, которым пользовался «Чернец»: читатели воспринимали его как актуальное произведение, в котором

---

[1] Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского, т. 1. СПб., 1878, стр. 187.

[2] «Русский архив», 1886, № 2, стр. 190.

[3] См.: А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 536.

[4] Остафьевский архив, т. 3. СПб., 1899, стр. 114.

затронута гуманистическая тема современности — о правах и судьбе человеческой личности.

Что касается Пушкина, то он так отзывался о «Чернеце»: «Повесть его <Козлова> прелесть... Видение, конец прекрасны».[1] А в письме к Вяземскому от 25 мая 1825 года он писал: «Эта поэма, конечно, полна чувства и *умнее* Войнаровского, но в Рылееве есть более замашки и размашки в слоге».[2]

Е. А. Баратынский, стремившийся создать оригинальную романтическую поэму, непохожую на поэмы Байрона и Пушкина, пытавшийся идти своим путем в области нового жанра, восторженно встретил «Чернеца». Он читал его в конце 1824 года в рукописи и откликнулся на него большим письмом к Козлову. Баратынский сравнивает автора «Чернеца» с Байроном, но знаменательно другое: он утверждает, что Козлову, первому в русской поэзии, удалось воплотить в своей поэме элементы самобытного национального романтизма: «Это превосходное произведение, на мой взгляд. Все положения исполнены силы, стиль живой, блещущий красками... Места, где вы подражаете Байрону, ... великолепно звучат по-русски. Но в чем бы сам Байрон захотел вам подражать — так это конец вашей поэмы. Он особенно поражает воображение. Он пронизан каким-то особенным национальным романтизмом, и я думаю, что вы первый, кто так хорошо это схватил. Идите этой дорогой, мой милый поэт, и вы сделаете чудеса. Я возвращу вашу тетрадь на будущей неделе; я велел ее переписать, ибо для меня недостаточно читать ваши произведения, я хочу их изучать».[3] Нельзя не ощутить в этом письме, написанном зрелым и широко известным поэтом, скрытой полемики с Пушкиным. Подобно Н. М. Языкову, Баратынский великолепно осознавал притягательную, неотразимую силу пушкинского гения и «бунтовал» против него, стремясь тем самым сохранить свою художественную индивидуальность, избежать печальной участи эпигона. Вот почему Баратынский намеренно оставляет в тени поэмы Пушкина, не вспоминает о них ни единым словом, выдвигая на первый план «Чернеца», в котором он видит блестящий образец русской романтической поэмы, достойной специального изучения. Характерно, что Баратынский, только что закончивший поэму «Эда», на которую он возлагал много надежд, замечает: «Совестно говорить об «Эде» после „Чернеца“».[4] Нет

---

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 174.
[2] Там же, стр. 184.
[3] «Русский архив», 1886, № 2, стр. 186—187.
[4] Там же, стр. 187.

оснований сомневаться в искренности Баратынского, но его оценка «Чернеца» страдает явными преувеличениями, которые, однако, несомненно свидетельствуют о том, что Козлову удалось сказать новое слово в жанре романтической поэмы, что его «Чернец» занял свое, особое место в литературной жизни двадцатых годов.

Письмо Баратынского, написанное 7 января 1825 года из Финляндии, интересно также и тем, что его автор видит в Козлове своего идейного соратника. Он просит его «поддержать „Мнемозину"» (альманах, издававшийся Кюхельбекером и В. Ф. Одоевским), «дать ход журналу Полевого» («Московский телеграф»), для того чтобы в этих литературных органах противопоставить себя реакционным журналистам: Гречу, Булгарину и Каченовскому. «Поговорите об этом с нашими», — пищет Баратынский.[1]

М. Ю. Лермонтов хорошо знал творчество Козлова, влияние которого отразилось в его ранних поэмах. В «Кавказском пленнике», «Черкесах» и «Корсаре» легко обнаружить заимствования из «Чернеца», «Княгини Натальи Борисовны Долгорукой», «Абидосской невесты» (в переводе Козлова).[2] Но это были годы ученичества. Важно отметить, что «Чернец» гораздо позже привлек внимание Лермонтова, который в поэме «Мцыри» творчески использовал некоторые фабульные и психологические мотивы «Чернеца». Черты сходства дают себя знать и в заглавиях обеих поэм, и в начале вступления. Лермонтов подхватил тему безрадостного детства, одиночества, вынужденной отчужденности чернеца от людей. Смысловая и текстуальная перекличка отчетливо звучит и в зачине исповеди, и в четвертых строфах обеих поэм. Перекликаются между собой по настроению и отдельным деталям десятая строфа «Чернеца» (возвращение на родину) с седьмой строфой «Мцыри», в которой герой вспоминает «отцовский дом». Само собой разумеется, что по своей идейной глубине и художественному совершенству лермонтовская поэма несопоставима с «Чернецом», но тот неопровержимый факт, что в «Мцыри» звучат отдельные реминисценции из «Чернеца», свидетельствует о том, что нашумевшая в двадцатых годах поэма Козлова сохранила свою впечатляющую поэтическую силу и в конце тридцатых годов.

В 1824 году, еще до окончательного завершения «Чернеца», Козлов начал работать над поэмой «Княгиня Наталья Борисовна

---

[1] «Русский архив», 1886, № 2, стр. 187.

[2] Об этом см. подробнее в статье Б. В. Неймана «Отражение поэзии Козлова в творчестве Лермонтова» (Известия отделения русского языка и литературы Академии наук, т. 19, кн. 1. СПб., 1914) и в книге Б. Эйхенбаума «Лермонтов», Л., 1924.

Долгорукая». Самая тема поэмы отвечала интересам передовой русской литературы, призывавшей писателей к художественному воплощению положительных образов русской истории.

В альманахе «Северные цветы» на 1827 год был напечатан отрывок из «Натальи Долгорукой» («Лунная ночь в Кремле»), с авторской пометкой: «Эта маленькая поэма, начатая в 1824 году, через несколько месяцев будет закончена и напечатана». Козлов, конечно, хорошо знал рылеевскую думу «Наталья Долгорукая», опубликованную в «Новостях литературы» за 1823 год, но он счел себя вправе вступить в соревнование со своим предшественником. Об этом он деликатно пишет Пушкину 31 мая 1825 года: «Не решусь сказать, что «Дума» Рылеева, под тем же заглавием, лишена достоинства, однако мне кажется, что она не может служить препятствием к тому, чтобы попробовать написать маленькую поэму в 700—800 строк. У меня уже готов план, а также несколько отрывков...»[1] Дело в том, что Рылеев изобразил в своей думе только один развернутый эпизод — прощание с кольцом перед уходом в монастырь, а Козлов стремился шире воспроизвести жизнь Долгорукой. Его взволновал этот «необыкновенно трогательный сюжет», дававший возможность поэту воспеть красоту нравственного подвига русской женщины во имя верности и гуманности. Фабульной основой козловской поэмы являются «Памятные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой», опубликованные в «Друге юношества» (1810) и «Плутархе прекрасного пола» (1819). Некоторые автохарактеристики из этих превосходно написанных мемуаров прямо вошли в поэму, а в одиннадцатой строфе ее второй части явно ощутимо влияние рылеевской думы.

Подлинные исторические факты, связанные с арестом, ссылкой и казнью князя Ивана Долгорукого (1708—1739), нашли в поэме только лишь косвенное освещение. Козлова не привлекала злосчастная участь фаворита Петра II, павшего жертвой дворцовых интриг. Поэта взволновала трагическая судьба юной Натальи Долгорукой, перенесшей вместе с мужем все страдания и тяготы жестокой опалы, когда, по ее собственным словам, «буря грозная восстала, со всего свету беды совокупились».[2] «Я не имела такой привычки, чтобы сегодня любить одного, а завтра другого... я доказала свету, что я в любви верна».[3] В этих строках «Записок» Долгорукой,

---

[1] См.: А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 536—537.

[2] «Русский архив», 1867, вып. 1, стр. 13—14.

[3] Там же, стр. 16.

дышащих безыскусственной простотой и силой, Козлов почерпнул морально-этический пафос поэмы:

Тогда давали ей совет
Расторгнуть узы роковые,
Покинуть друга своего.
И при дворе нетрудно б снова
Найти ей жениха другого.
«Нет, не покину я его, —
Она в слезах им говорила, —
Я счастливым его любила,
Он и в несчастьи всё мне мил...»
...Ни вечных слез,
Ни гордой мести, ни угроз
Ее любовь не ужаснулась.
На всё с ним вместе решена,
И в даль, и в хлад...

С этими стихами живо перекликаются слова княгини Трубецкой из «Русских женщин» Некрасова: «Нет! я не жалкая раба, Я женщина, жена! Пускай горька моя судьба — Я буду ей верна!»

В самой фабуле «Натальи Долгорукой» была объективно заложена тема общественного зла и произвола, из которой вырастает другая, противоборствующая, позитивная тема верности и героизма. Шестнадцатилетняя Наталья Долгорукая, отправившаяся без всяких колебаний в сибирскую ссылку, выказала не только благородное мужество души, но и внутренний протест против зла и несправедливости. Оставаясь верной своему мужу, добровольно разделяя его участь, она тем самым восстала против тех беспощадных и бесчеловечных сил, которые обрушились на любимого и, с ее точки зрения, морально незапятнанного человека. Таков объективный смысл поступков Долгорукой. Она противопоставляет свою правду о муже торжествующей лжи насильников. Ее самопожертвование обусловлено высоким сознанием нравственного долга и гуманности:

Чем жертва боле,
Тем пламенной душе милей
Сердечный спутник грустных дней:
И меж снегов, и в низкой доле...

Здесь снова напрашивается параллель со словами некрасовской княгини Волконской: *«Люблю тебя больше, чем прежде...*

Что делать? И в каторге буду я жить... (Ведь каторга нас не разлучит?)» [1]

Принципы романтической поэтики, положенные в основу «Натальи Долгорукой», проявились в ее композиции, во многом напоминающей «Чернеца». Козлов отказывается от последовательного изложения событий; действие, после краткого лирического вступления, начинается внезапно с его вершинной точки; в рассказ вторгается эмоционально насыщенный авторский комментарий; переживания героини развертываются на фоне пейзажа, то тревожно-мрачного, то светлого и радостного. Но Козлов — мастер лирической миниатюры, и ему с большим трудом дается большая форма эпического и драматического повествования. Для раскрытия фабулы поэмы Козлов вводит диалог между священником и Долгорукой, выступающей в облике таинственной путницы, пробирающейся с младенцем на руках из Сибири в Москву. Однако фигура священника оказалась чисто условной; это, собственно говоря, персонаж от автора, ведущий рассказ о злоключениях Долгорукой, и то обстоятельство, что его собеседницей является сама Долгорукая, должно было, по замыслу автора, придать всей сцене колорит романтической интриги. Но этот прием оказался художественно неубедительным, нанесшим ущерб активному, действенному началу характера героини. Козлов, изображая Долгорукую, всячески подчеркивает ее трагическую обреченность, что приводит к эмоциональной однотонности повествования.

Вяземский в рецензии на «Чернеца» упрекал Козлова в том, что он в сцене смерти героя «не воспользовался всеми обрядами, совершаемыми у нас при погребении иноков». Как бы желая восполнить этот пробел, поэт подробно описал в четырнадцатой строфе второй части поэмы обряд пострижения Долгорукой, внеся в эту картину религиозный пафос христианского смирения и аскетизма.

При всем том автор выразительно передал смятение чувств, тревогу и отчаяние Долгорукой. Во многих местах поэма насыщается стремительным движением, энергией, броскими романтическими метафорами и антитезами: «Увы! душа ее мрачней Осенних бурь и мглы ночей!», «Лишь раны сердца всё хранят Свой тайный, свой холодный яд». См. также следующие строки:

Младенец тихий и прекрасный...
..На грудь родимую припал

---

[1] Сам Некрасов, как известно, сближал образ княгини Волконской с исторической Натальей Долгорукой: «Но свет Долгорукой еще не забыл..»

И влажными от слез кудрями,
Беспечный, весело играл.

Таких примеров можно привести много. В зловещем романтическом колорите выдержана сильная сцена «встречи» Долгорукой с окровавленным призраком казненного мужа. Пушкинскими интонациями и ритмом, эмоциональной окраской пушкинского стиха проникнут эпизод прощания героини с отцовской усадьбой. В описании дома священника совершенно неожиданно вспыхивают искорки пушкинского юмора: «У зеркала часы стенные, Портрет, задернутый тафтой, Две канарейки выписные, И полотенце с бахромой Висит на вербе восковой».

Возросшее богатство языковых средств Козлова ярко проявилось в пейзажах поэмы, в которых весьма ощутительны реалистические тенденции, опять-таки возникшие под влиянием Пушкина. Таковы, например, утренний пейзаж, которым открывается вторая часть поэмы, и картина грозы, принадлежащие к лучшим образцам пейзажной лирики в поэзии двадцатых годов. Ходовые аксессуары романтического ландшафта уступают место живо подмеченной конкретной детали; природа озвучивается шагами дровосека, шелестом колосьев, которые под серпом «ложатся желтыми рядами», скрипом тяжелого воза, пением пастушьего рожка. Во второй строфе второй части поэмы Козлов нарисовал пейзаж, в котором с острым чувством динамики, цвета и звука передано предгрозовое состояние природы. Мастерски написанная картина завершается такими выразительными строками:

Бор темный шепчет и дрожит;
Сожженный лист о стебель бьется;
Всё притаилось, всё молчит...
И вдруг огонь по тучам вьется,
Грохочет гром, с ним дождь и град
В полях встревоженных шумят.

Высоким, торжественным строем поэтической речи, в которую искусно вкраплены архаизмы, отличаются описания Москвы («В Кремле святая тишина; В Москве на стогнах сон глубокий»). Важно, что козловские пейзажи не являются орнаментальными заставками, они соединяются по принципу эмоционального контраста или эмоционального созвучия с душевным состоянием героев.

Пока Козлов писал свою поэму, произошли события, придавшие ей исключительную злободневность и остроту. История Натальи Долгорукой повторилась при других, неизмеримо более важ-

ных исторических обстоятельствах. М. Н. Волконская, Е. И. Трубецкая и другие русские женщины добровольно отправились в Сибирь вслед за своими мужьями — героями 14 декабря. В памяти современников ожил образ Долгорукой. Козлов был хорошо осведомлен через своего близкого друга Зинаиду Волконскую о всех драматических перипетиях, связанных с поездкой в Сибирь княгини М. Н. Волконской, и он ясно осознавал политическую актуальность самой темы «Долгорукой».

Параллели напрашивались сами собой, аллегория получилась слишком прозрачной. Не случайно в литературных кругах с горячим нетерпением ожидали выхода в свет «Княгини Натальи Борисовны Долгорукой». Об этом свидетельствует хотя бы письмо Н. И. Гнедича из Одессы от 17 января 1828 года, адресованное «милому человеку, доброму другу» — Козлову. Гнедич пишет: «Жду не дождусь твоей «Долгорукой». М. А. Лобанов, слышав ее окончание и писав мне о нем, умножил мое нетерпение». А в постскриптуме Гнедич, сообщая о получении по почте поэмы, добавляет при этом: «Сейчас посылаю просить поэта Туманского обедать у меня с «Княгинею Долгорукою». По старой привычке ничего прекрасного не могу читать один, тяжело».[1] П. А. Вяземский писал Козлову 2 января 1828 года: «Но кого я жду с особым нетерпением, так это вашу «Княгиню». Все, что я об ней слышал, располагает меня к ней крайне сочувственно».[2]

При объективной оценке «Долгорукой» следует учитывать, что она завершалась в атмосфере последекабрьского террора и цензурного гнета. Это не могло не отразиться на ее содержании. Есть основания предполагать, что автор намеренно затушевал вольнолюбивые мотивы поэмы. Думается также, что громкий колокольный звон, раздающийся в сцене пострижения, должен был, по мнению автора, несколько приглушить актуальное звучание «Долгорукой». Тем не менее поэма «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая» привлекла к себе внимание широких читательских кругов. Воплощенная в ней гуманистическая тема перекликалась с волнующими событиями современности. В своей рецензии на «Долгорукую» Н. А. Полевой, которого трудно заподозрить в излишней чувствительности, писал: «Мы видели людей с сильным чувством, с умом и просвещением, которые плакали, читая поэму Козлова».[3] Благородный облик героини вызывал в сознании читателей воспоминания

---

[1] «Русский архив», 1886, № 2, стр. 189—190.
[2] Там же, стр. 186.
[3] «Московский телеграф», 1828, № 4, стр. 549.

о декабристках, чей подвиг был художественно запечатлен только через сорок пять лет в знаменитых поэмах Некрасова.

Если «Чернец» и «Долгорукая» вызвали большой общественный интерес, то этого нельзя сказать о «Венгерском лесе» (1826—1827) и «Безумной» (1830). На этих произведениях лежит печать романтической абстрактности и искусственности, они лишены прочной национальной основы, что и было в свое время резко подчеркнуто Белинским. Для баллады «Венгерский лес», задуманной в 1823 году, Козлов воспользовался отдельными фабульными мотивами, заимствованными из ранней стихотворной повести Байрона «Оскар из Альвы», основанной на старинной шотландской легенде. Широко пользуясь приемами недоговоренности, умолчаний и тайны, Козлов построил традиционный романтический сюжет, инкрустированный декоративными деталями русского романсного стиля: «узорчатая парча», «дымчатая фата», «шелк и бархат нежный», которые представлялись поэту образцами народного языка, «услаждавшими слух», как он об этом писал Жуковскому 16 октября 1823 года.

Тема обманутой и покинутой девушки из народа, лежащая в основе поэмы «Безумная», также не нашла полноценного художественного воплощения. Козлову не удалось создать действенный сюжет поэмы, нарисовать самобытный, психологически достоверный образ молодой крестьянки. Глубокий, волнующий драматизм, обусловленный самой темой поэмы, подменен обезличенной красивой риторикой и несколько театральной экспрессией. Кюхельбекер, с большой симпатией относившийся к творчеству Козлова, отметил в дневниковой записи от 3 марта 1841 года следующее: «В «Безумной» много хорошего, только крестьянка сумасшедшая говорит не по-крестьянски, — в этом отношении лучше ее ямщик: его «не пред добром» истинно прекрасно».[1] В поэме, действительно, выделяется живо и выразительно написанная фигура ямщика, что было справедливо отмечено современной критикой. Большое впечатление произвело вступление к «Безумной», выдержанное в лирически-задушевном тоне. Хороши своей безыскусственностью и удивительной простотой финальные строки поэмы:

Мы, дети, все ее любили.
Она кого-то всё ждала,
Не дождалась — и умерла.

---

[1] Дневник В. К. Кюхельбекера. Л., 1929, стр. 274—275.

6

По известным словам А. И. Герцена, «первые годы, следовавшие за 1825-м, были ужасающие. Потребовалось не менее десятка лет, чтобы в этой злосчастной атмосфере порабощения и преследований можно было прийти в себя. Людьми овладела глубокая безнадежность, общий упадок сил. . .»[1]

В атмосфере «порабощения и преследований» Козлов, будучи связанным приятельскими отношениями со многими деятелями декабристского движения, опасался за свою судьбу (известно, что даже близкий ко двору Жуковский не был свободен от страха). Желая реабилитировать себя, Козлов в начале 1826 года, то есть в период суда и следствия над декабристами, пишет в качестве посвящения к «Невесте абидосской» казенную, верноподданническую оду императрице Александре Федоровне, в которой называет 14 декабря «днем бессмертной славы» Николая I. Это признание, продиктованное страхом, Козлов рассматривал как некий оправдательный документ своей политической благонадежности, который станет известен самому царю через посредство Александры Федоровны.

В послании «Высокопреосвященному Филарету» (1830), выдержанном в духе христианского пиетизма, Козлов второй и последний раз вспоминает о подавлении декабрьского восстания Николаем I, но формула 1826 года приобрела новый, двойственный оттенок. «День бессмертной славы» превратился в «долг страшный, долг священный». В заключительной строфе стихотворения поэт выражает надежду на помилование осужденных декабристов; только тогда рассеется мрак тягостных воспоминаний о свершившейся трагедии:

Да вновь дни светлые проглянут,
По вере пламенной даны;
И полумертвые восстанут,
Любовью царской спасены.

В поздравительной, официальной оде наследнику престола «в день его тезоименитства» (1834) Козлов, перечисляя доблести Николая I, достойные подражания, уже ни одним словом не обмолвился о расправе над декабристами.

Козлову была чужда идея революционного восстания на Сенатской площади, но он относился с симпатией к участникам декабристского движения. Пытаясь осмыслить события, связанные с этим

---

[1] А. И. Герцен. Избранные сочинения. М., 1937, стр. 399.

движением, к которому в той или иной форме примыкали лучшие люди России, Козлов пишет аллегорическое стихотворение «Обетованная земля».[1] Оно проникнуто пессимизмом, неверием в возможность общественных перемен. И вместе с тем знаменательно само обращение к библейской тематике, из которой черпали идеи и образы поэты-декабристы. За библейскими символами сквозит сочувствие к деятелям декабризма, воодушевленным идеями добра, просвещения, беззаветной и самоотверженной любовью к народу:

Кто, правдой мрак ночной ревнуя озарить,
Ярмо невежества умели сокрушить
И, жертвуя собой, людей вести хотели
И к миру лучшему, и к благородной цели.

Эти строки звучали как отклик на судьбу декабристов, предстающих в стихотворении в образе смелых мудрецов-провидцев, которые, подобно величавому ветхозаветному пророку Моисею, ищут обетованную землю — воплощение народной свободы и счастья:

Ту землю угадал их гений.
Они в ней видели, в пылу их вдохновений,
Порядок, истину, согласье, тишину.

Поэт, восхищаясь героическим подвигом пророков, считает, однако, их борьбу бесцельной, ибо они одиноки в своих возвышенных порывах: «...внизу, как мутный ток, Толпы народные беспечно протекали». Поэт обращается со словами утешения и надежды к пророкам-борцам, потерпевшим крушение благородных идеалов:

Предтечи мудрые! откиньте мрак печали:
У века каждого своя
Обетованная земля,
И он тревожно к ней несется...

В финале стихотворения Козлов призывает преисполниться веры в то, что страждущие люди обретут обетованную землю в «небесной родине».

В 1827 году Козлов создает несколько стихотворений, объединенных общим для них горестным размышлением о трагизме жизни. В послании «П. Ф. Балк-Полеву» Козлов говорит о том, что ра-

---

[1] Не случайно стихотворение посвящено А. Г. Лаваль — теще декабриста С. П. Трубецкого.

дость и воспоминания о радости призрачны, неуловимы, эфемерны, реальны лишь «мрак и ужасы» и отравленная тоска, «молнийной струею» прожигающая сердце. В знаменитом «Вечернем звоне» Козлов усилил (по сравнению с оригиналом Томаса Мура) лирико-драматические акценты третьей строфы. Колокол скорбно звонит по безвременно погибшим друзьям: «И сколько нет теперь в живых, Тогда веселых, молодых! И крепок их могильный сон, — Не слышен им вечерний звон». Н. И. Гнедич, прочтя «Вечерний звон», писал Козлову: «Он мне по сердцу». В стихотворении «Молодая узница» (1826) мастерски нарисован образ замурованного в тюрьме юного существа, жаждущего воли, свободы, жизни. В прекрасном стихотворении «Бессонница» (из Т. Мура) с большой силой звучит тема трагического одиночества поэта. В мучительные бессонные ночи перед ним встают образы исчезнувших друзей:

Смотрю ли в даль — одни печали;
Смотрю ль кругом — моих друзей,
Как желтый лист осенних дней,
Метели бурные умчали.

Эти произведения Козлова приобрели волнующий подтекст в годы, ознаменованные массовыми репрессиями, ссылками, изгнаниями. В них ощущается та «злосчастная атмосфера» последекабрьских лет, о которой писал Герцен; они по своему объективному звучанию перекликались с настроениями и переживаниями достаточно широких кругов русского общества. Вот что, например, сообщает Жуковский 24 февраля 1826 года из Петербурга в Дрезден о положении Е. Ф. Муравьевой, сыновья которой (Никита и Александр) томились в Петропавловской крепости: «Состояние бедной Екатерины Федоровны Муравьевой неописанно. Все, что могло привязывать ее к жизни, разом рухнуло. Она ходит как тень. Что ее ожидает, не знаю; но нельзя и надеяться никакого облегчения судьбы ее».[1] Говоря о родственнике и друге братьев Муравьевых — поэте К. Н. Батюшкове, находившемся в психиатрической больнице, Жуковский восклицает: «Но к каким развалинам он возвратится, если бог возвратит ему его рассудок!»[2]

Темой жизненных катастроф и гибели надежд проникнуто стихотворение тридцатых годов «Пловец». Козлов в нем оплакивает

---

[1] В. А. Жуковский. Собрание сочинений в четырех томах, т. 4. М.—Л., 1960, стр. 586.

[2] Там же.

молодых мечтателей, исполненных «высоких дум и... светлых упований», но ставших «жертвой неизбежных бед». О мучительных раздумьях поэта, о его затаенной боли знает лишь «изголовье и мрак томительных ночей».

В эти же годы Козлов создает цикл баллад и стихотворений, выдержанных в духе кладбищенской поэзии, проникнутых религиозной экзальтацией или культом «романтических ужасов» («Бренда», «Ночь родительской субботы», «Отплытие витязя», «Тайна», «Легенда»). В них тщательно воспроизведен традиционный реквизит, таинственно-интригующий, мрачный колорит «средневековой романтики», но их художественный уровень, за исключением отдельных, мастерски написанных строф, в целом невелик.

Для этого цикла весьма характерно стихотворение «Тайна». Постепенным накоплением нарочито разрозненных, броских, остро живописных деталей поэт создает атмосферу зловещей осенней ночи. Под ее покровом разыгралась никому не ведомая роковая драма. Об этом свидетельствуют и окровавленный меч, и свежая могила под тенистым дубом. В лесном сумраке, прорезанном мерцающим светом факела, слышатся колокольный звон и панихидная песнь престарелого отшельника. На багрово-черном фоне таинственного пейзажа мелькает женская фигура в белом. Она оплакивает покойного:

И, вне себя, вдруг очи голубые
На щит она внезапно подняла
И, локоны отрезав золотые,
Кровавый меч их шелком обвила.

Безумья яд зажегся в мутном взоре,
Сердечный вопль немеет на устах.
Она ушла, и лишь в дремучем боре
Таинственный один остался страх...

«Безумья яд» отравляет сознание героев всего цикла, в основе которого лежит тема утраченного счастья, тема катастрофической гибели любимой или любимого. Героя баллады «Озеро мертвой невесты» одолевают галлюцинации. Ему мерещится призрак невесты-утопленницы, плывущей в своем челноке «на тайный брак» с любимым. «Безумец сокрушенный» из баллады «Ночь родительской субботы» встречает на погосте призрак невесты «под белой пеленою». Козлов стремился придать этой «кладбищенской» балладе черты того народного украинского предания, которым, вероятно, пользовался и Гоголь в финальных сценах «Вия», но кар-

тина, нарисованная поэтом, оказалась лишенной каких бы то ни было признаков национального колорита, народной фантастики. Баллада написана в изысканном сентиментально-элегическом стиле:

И тень ее, эфирная, младая,
Еще красой и в саване цвела,
И, к жениху печальный взор склоняя,
Вздохнула и прошла.

В такого рода произведениях Козлова отсутствуют психологическая достоверность, искренность и задушевность, составляющие драгоценное свойство его лирики; они подменены искусственностью вымысла, готовыми условно-романтическими клише.

В ряде стихотворений Козлова воплощена мысль о двойственной природе несчастья, обладающей не только сокрушительной, но и очистительной, светозарной силой. В душе страдальца «звук совести яснее, луч правды чист и бледен страх людской». Белинский, анализируя творчество Жуковского, говорил о том, что «его поэзия любит и голубит свое страдание. . .».[1] Козлов тоже как бы «голубит свое страдание» (оно было не только поэтической фикцией, но и горестной реальностью — плодом смертельного недуга), он пытается «приспособиться» к нему, найти в нем трагически-высокий смысл, облагораживающий и возвышающий. Но, будучи человеком поразительного жизнелюбия, он стремится преодолеть и победить страдание несломленной силой духа; он призывает к стойкости, к внутреннему сопротивлению несчастью, воплощенному в образе гиганта со свинцовыми ногами. Случалось и так, что Козлов как бы подтрунивал над своим собственным несчастьем, говорил о нем с печально-насмешливой улыбкой. В стихотворении «К И. П. Мятлеву» можно прочесть такие строки:

Влекомый легкостью природной,
Знакомкой резвой юных дней,
Почти забыл я, сумасбродный,
Что я без ног и без очей.

Козлову была свойственна неискоренимая романтическая восторженность, которая была несомненным проявлением его жизнелюбия. Именно любовь к жизни породила тему мужества и несгибаемости человеческой воли, ярко выраженную в символи-

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 7. М., 1955, стр. 185.

ческом образе могучего дуба, опаленного молнией, обезображенного ураганом, но продолжающего несокрушимо стоять на горной вершине («Дуб»).

Поэт стремится жить полной жизнью, в нем «еще горит... пожар бунтующих страстей», причем это не романтический штамп, а искреннее признание, ибо оно фигурирует в глубоко религиозном стихотворении-исповеди «Моя молитва». Размышляя о назначении поэта в общественной жизни, Козлов обращается к творчеству Роберта Бернса, открыв его для русского читателя, став первым переводчиком народного шотландского поэта.

Козлов выказывал горячую симпатию к Бернсу — «сельскому барду», воспевавшему простых людей труда, наделенных высокой нравственностью, незапятнанной душевной чистотой. Козлову импонировал патриотизм шотландского певца, его страстная любовь к родине, которой он беззаветно служил, но ему остались чуждыми бунтарские и сатирические мотивы поэзии Бернса. Нет ничего случайного в том, что Козлов выбрал для перевода из Бернса произведения, близкие ему по духу: «Горной маргаритке, которую я примял своим плугом» (у Козлова: «К полевой маргаритке...») — замечательное стихотворение, пронизанное сдержанной, суровой печалью, предчувствием бед, ожидающих поэта в жестоком, неустроеном мире, — и «Субботний вечер поселянина» (у Козлова: «Сельский субботний вечер в Шотландии») — маленькую поэму, выдержанную в безоблачно-светлых, идиллических тонах. В этом раннем произведении Бернса Козлова привлекали поэзия крестьянских трудовых будней, атмосфера умиротворенности, чувство любви, дружбы и религиозности, царящее в семье шотландского фермера. Характерно, что «Московский телеграф» упрекал Козлова за то, что он «почел Бернса простым крестьянином, который между прочим напевает на поэтической свирелке». Тематическая новизна «Сельского субботнего вечера в Шотландии» обусловила изменения интонационно-словесного строя козловского текста. В нем засверкали свежие языковые краски. Традиционная условно-романтическая фразеология в некоторых строфах уступила место простым, конкретным словам разговорной речи, тесно связанным с народным бытом.

В заключительной строфе поэмы Козлов, сравнивая себя с Бернсом, обращается к родине:

А я к тебе, к тебе взываю я,
Святая Русь, о наша мать-земля!
Цвети, цвети, страна моя родная!
и. т. д.

Белинский находил это обращение неуместным, однако самое стремление сопоставить себя с Бернсом весьма характерно для мироощущения Козлова.

В послании «К Валтеру Скотту» Козлов любовно рисует патриархально-идиллический образ шотландского «волшебника». Он в восторженных словах говорит о его поэтическом таланте, гуманности и душевной чистоте, благодаря которым этот «великий... добрый человек» снискал себе народную признательность:

Ты в родине твоей свободной
Стал драгоценностью народной.

Родина вознаградила писателя довольством и покоем. «В красе серебряных кудрей. почтенный старец», Вальтер Скотт представляется Козлову воплощением ничем не омраченного счастья, мудрой уравновешенности и гармонии. Таким же, по его мнению, был Н. М. Карамзин — «мудрец с младенческой душою». Но рядом с Вальтером Скоттом, творчество которого уподобляется мягкому свету вечерней зари, в стихотворении возникает грозовой образ другого любимца Козлова — Байрона, чья жизнь и поэзия являются воплощением «буйных страстей», «мятежной тоски» и дисгармонии мира.

Свою симпатию к политическому изгнаннику, народному поэту Польши Адаму Мицкевичу Козлов выразил переводом его цикла «Крымских сонетов».

В Козлове не угасает интерес к политической жизни современной ему Европы. Знаменательно, что разгоревшаяся в начале тридцатых годов национально-освободительная борьба в Италии вызвала у Козлова глубокое сочувствие. Он откликнулся на нее переводом отрывка из трагедии Никколини «Джованни да Прочида», в котором звучит призыв к свержению чужеземного ига, призыв к народной мести, уподобляемой огнедышащей лаве Этны.

В тридцатых годах лирика Козлова обогащается стихотворениями, внешне выдержанными в духе народной поэзии («Умирающий гейдук», «Обманутое сердце», «Тревожное раздумье», «Песня»). Познакомившись с «Песнями западных славян», Козлов, по примеру Пушкина, заимствовал из сборника «Гусли» Проспера Мериме тему «умирающего гайдука» и написал поэтическую иллирийскую балладу, в которой умело воссоздал «местный колорит» и своеобразный драматизм сюжета. Значительными художественными достоинствами отличается козловская «Песня». Ее заунывный, щемящий душу тон напоминает жалобы народной песни. По своему ритму, певучести и даже словарю она близка некоторым стихотворениям Кольцова.

В творчестве Козлова важное место занимает романсная лирика, в которую он внес поэзию эмоциональной светотени, воодушевленность чувства, искренность и теплоту интонаций. Таким лирическим миниатюрам, как «Романс», «К княгине М. А. Голицыной», «Княгине З. А. Волконской» («Мне говорят: „Она поет...“»), «К М. Шимановской» и некоторым другим, присущи изящество формы, музыкальность и прозрачность фактуры стиха. Они в известной мере предвосхищают романсы Фета и Полонского. Вот, например, исполненный воздушной легкости и грации, романтизированный образ поющей З. А. Волконской:

Звезда любви над ней горит,
И — стан обхвачен пеленою —
Она, эфирная, летит,
Чуть озаренная луною...

Несомненный художественный интерес представляют стихотворения Козлова, посвященные музыке («К Зонтаг», «Русская певица», «М. Виельгорскому», «К Леопольду Мейеру»). Они согреты живым чувством человека, влюбленного в музыку; в них порой слышится мелодия — текучая и гибкая в ее высоком парении, в нарастании и спадах, неожиданных и тонких нюансах.

Отдельные стихотворения Козлова по своему настроению и колориту родственны некоторым стихам Тютчева. Такова, например, фантазия «Не наяву и не во сне», в которой тонко переданы изощренная впечатлительность лирического героя, причудливость его ассоциативного восприятия внешнего мира. Плеск волны, лунный свет, далекая песня — все внезапно смущает чувства, вызывает душевную тревогу, не выразимую словами.

Козлов остро ощущал впечатляющую силу поэтической интонации. Ему иногда удавалось одним четверостишием или даже одной строкой-рефреном создать настроение, глубоко проникающее в душу читателя. На эту особенность козловской лирики обратил внимание еще Белинский.

Стихотворения «К неверной», «Новые стансы» («Прости! Уж полночь; над луною...»), «Другу весны моей после долгой, долгой разлуки» являются яркими образцами любовной лирики Козлова. Белинский назвал стихотворение «К неверной» «особенно замечательной пиэской», причислив ее к тем произведениям Козлова, от которых «веет прежним благоуханием его поэзии».[1] Это стихо-

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 2. М., 1953, стр. 22.

творение отмечено неподдельной искренностью и горячностью эмоций, в нем выразительно переданы душевный разлад и мучительные противоречия, обуревающие влюбленного. Порывистость и страстность влюбленного лирического героя живо ощущается в «Новых стансах». В этом стихотворении вскипает острое чувство горечи по поводу безответной любви. Образы «веющего паруса» и шумящей «разлучницы волны» сообщают всей вещи тревожно-нервный, быстрый ритм, окрыленность стиха.

«Другу весны моей» посвящено двоюродной сестре поэта — А. Г. Хомутовой, которую он в молодости страстно любил и встреча с которой «после долгой, долгой разлуки» воскресила прошлое, вызвала стремительный рой воспоминаний. Стихотворение это, написанное почти шестидесятилетним стариком, отличается свежестью чувства, скорбной нежностью, удивительной остротой эмоциональной памяти, придающей всей вещи взволнованно-тревожный и вместе с тем теплый, задушевный тон.

Лермонтова глубоко взволновало это стихотворение, с которым его познакомила в рукописи А. Г. Хомутова, и он откликнулся на него замечательными стихами, выдержанными в той тональности, которую задал Козлов:

Слепец, страданьем вдохновенный,
Вам строки чудные писал...

Большинство лирических стихотворений Козлова являются переводами или подражаниями. Он вслед за Жуковским ввел в широкий читательский обиход целый ряд классических произведений английской, французской, итальянской, польской литератур. Дело, конечно, не ограничивается культурно-просветительской миссией Козлова. Важно, что такие стихотворения, как «Вечерний звон», «На погребение английского генерала сира Джона Мура», «Романс» («Есть тихая роща у быстрых ключей...»), «Добрая ночь», «Нас семеро» и некоторые другие, прочно вошли в основной фонд русской поэзии XIX века.

Академик Ф. И. Буслаев рассказывает в своих воспоминаниях, как он в юности зачитывался Козловым, а в «Вечернем звоне» «видел отличный образец звукоподражательной поэзии... Читая его наизусть, я не просто выговаривал слова, а как бы звонил ими, воображая себя сидящим на колокольне...»[1] Это признание

[1] Ф. И. Буслаев. Мои воспоминания. М., 1897, стр. 77.

Ф. И. Буслаева очень характерно: оно свидетельствует о том, что целые поколения русских читателей сроднились с лучшими переводами Козлова; на них воспитывался эстетический вкус, в них нашли выражение изобразительная сила и богатство русского литературного языка. Вспомним, что юный Лермонтов и его сверстники по Московскому университету приобщались к поэзии Байрона через переводы Козлова («Невеста абидосская» и др.). Конечно, далеко не все равноценно в козловских переводах. Наряду с большими удачами у него было немало посредственных вещей.

Козлов разделял мнение Жуковского, что «переводчик *в стихах* — соперник» поэта, вследствие чего он часто привносил в переводимые им произведения оттенки собственных эмоций и мыслей, изменял их интонационно-ритмический строй и стихотворную форму. Так, например, в переводе «Крымских сонетов» Мицкевича Козлов нарушил строгую и отточенную форму сонета и тем не менее верно передал содержание и образную систему замечательных стихов Мицкевича. Аполлон Григорьев, с горячей похвалой отзывавшийся о переводческой деятельности Козлова, считал перевод «Крымских сонетов» чуть ли не образцовым. Сам Мицкевич в 1828 году писал своему другу — поэту Одынцу: «Почти во всех альманахах... фигурируют мои сонеты; они имеются уже в нескольких переводах. Один, как будто лучший, это Козлова (того, кто написал «Венецианскую ночь»)».[1]

Еще в 1825 году Пушкин с удивительной меткостью сказал, что Козлову не хватает «замашки и размашки в слоге». Это справедливо не только по отношению к его оригинальным, но и переводным произведениям. Козлову не удалось, например, передать в поэме «Невеста абидосская» и байроновском «Прости» огненную энергию английского подлинника, но, скажем, в «Обворожении» (из «Манфреда») или в «Отрывке из 4-й песни „Чайльд-Гарольда"» («Байрон в Колизее») русский стих отличается мужественностью интонаций, упругостью и напряженностью ритма, ораторским пафосом, напоминающим некоторые стилевые особенности лермонтовской поэтической речи.

Белинский ценил отдельные козловские переводы из Байрона, Мура, А. Шенье, Шекспира, Мицкевича, Бернса, Вордсворта. Он писал, что «„Добрая ночь", „Обворожение" и некоторые другие напоминают своим достоинством образцовые переводы Жуков-

---

[1] М. Живов. Адам Мицкевич. Вехи жизни и творчества. — Собр. соч. Адама Мицкевича, т. 1. М., 1948, стр. 39.

ского»[1], а мы хорошо знаем, как Белинский высоко ставил Жуковского-переводчика.

В историческом процессе развития русской поэзии XIX века творчество Ивана Козлова, взятое в целом, сыграло заметную роль. Многое в нем не выдержало испытания временем, но лучшие произведения сохранили и поныне свою впечатляющую художественную силу. Такие стихотворения Козлова, как «Вечерний звон» и «Не бил барабан перед смутным полком...», прочно вошли в песенный репертуар целого ряда поколений.

И. Гликман

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 5. М., 1954, стр. 75.

СТИХОТВОРЕНИЯ

К СВЕТЛАНЕ

Как вводишь радость ты с собой,
То сердце будто рассмеется;
В нем на приветный голос твой
Родное что-то отзовется;
Подвластна грусть моя тебе,
Ее ты услаждать умеешь;
Но ты, Светлана, обо мне
Ты слишком много сожалеешь.
То правда, жизнь отравлена́,
Мое напрасно сердце билось,
Мне рано отцвела весна,
И солнце в полдень закатилось;
Хотя неумолимый рок
Обременил меня тоскою
И мой беспарусный челнок
Разбит свирепою волною;
Хотя мне мрачность суждена
И мне поля не зеленеют,
Не серебрит поток луна
И розы боле не алеют, —
Но что же делать? В жизни сей
Я не совсем всего лишился,
И в пламенной груди моей
Еще жар чувства сохранился.
Пускай печаль крушит меня
И слезы часто проливаю —
Но, ах! не вовсе отжил я,
Еще люблю, еще мечтаю.

Моей жены, моих детей
Душа умеет дознаваться,
И мне не надобно очей,
Чтоб ими сердцем любоваться.
Когда ж мысль черная найдет
И в будущем меня стращает, —
Увы! что сердцу милых ждет?
И что им рок приготовляет?
Как вспомню, что моих детей
Судьба жестокая пустила
По грозной прихоти морей
Без кормчего и без ветрила, —
Как за корабль бесценный мой
Невольно чувства замирают!
Туда я возношусь душой,
Откуда звезды нам сияют:
Да милосердый наш отец
Вонмет несчастного моленье
И за терновый мой венец
Невинным даст благословенье! —
И скоро исчезает страх,
Молитва сердце согревает,
И вдруг на радужных лучах
Надежда с верою слетает.
И ты, и ты, ночная тень,
Рассеешься, пройдут туманы, —
И расцветет мой ясный день,
День светлый, как душа Светланы.
И в оный час, как у него
Прощенья книга разогнется, —
Быть может, благостью его,
В ней имя и мое найдется, —
И я соединю в одно
Всё то, что столько сердцу мило,
Все чувства вместе, чем оно
Страдало, радовалось, жило.
С какою сладостью тогда
Мы насладимся счастьем вечным!
И ты, Светлана, навсегда
Там будешь другом мне сердечным!

<1821>

К А. И. ТУРГЕНЕВУ

Моим стихам смеешься ты,
Тебя я забавляю
И вздорные мои мечты
От сердца посвящаю.
Вот стансы, в коих толку нет:
Вводи ты правду в белый свет,
Гони порок в изгнанье,
Быть добрым, милым продолжай,
Надеждой будь Совета;
Стихи мои хоть в печь бросай,
Но другом будь поэта.

<1821>

НОЧЬ НА РЕКЕ

(Из Ламартина)

Посвящается А. И. Тургеневу

And other day came back to me
With recollected music...

Lord Byron[1]

Носимы бурею — в тумане край прибрежный —
Мы в мрачность вечную стремимся навсегда
И в океан веков наш якорь ненадежный
Не бросим никогда!
Река! и год один успел лишь миноваться,
А та, с которой я здесь сиживал вдвоем,
Уж боле не придет тобою любоваться
На берегу крутом.
Ты так же и тогда шумела под скалами,

[1] И знакомый мотив напомнил мне былое... *Лорд Байрон* (англ.). — *Ред.*

Волнами грозными плескала в берег сей,
И ветер бушевал, и брызги жемчугами
Летели прямо к ней.
Припомни: раз мы с ней вечернею порою
Здесь плыли; смолкло всё, и ветерок не дул,
От весел лишь гребцов над звучною волною
Носился ровный гул.
Вдруг голос ангельский и берег, изумляя,
И волны сонные заставил слух иметь,
И милая моя, мне руку пожимая,
В раздумье стала петь:
«О время, не спеши! летишь ты, и с собою
Мчишь радость жизни сей;
Дай насладиться нам минутной красотою
Любви прелестных дней.
Несчастных много здесь, склонись на их моленья —
Для них и пролетай,
С их днями уноси сердец их огорченья;
Счастливцев — забывай!
Но жалобам моим ты мчишься, не внимая:
Летит стрелою день;
Помедлить ночь прошу, — денница ж золотая
Ночную гонит тень.
Ах! будем же любить: дни счастья скоротечны,
Как дым их легкий след!
Без пристани мы здесь, а время бесконечно
Течет — и нас уж нет. . .»
Минуты радости, где с милою мечтою,
Как полная струя, нам счастие лилось,
Что мчитесь вы от нас с такой же быстротою,
Как дни тоски и слез?
И вот уже для нас и след их исчезает,
И нет уж их совсем, и нет их навсегда!
Их время даст, возьмет, но ах! — не возвращает
Нам больше никогда.
О, вечность страшная, о, таинства творенья!
Куда ж деваются минувши наши дни,
И душ святой восторг, и сердца упоенья? —
Воротятся ль они? . .
Река, пещера, холм, и мрак в тени древесной,
Которых рок щадит иль может оживлять! —

Старайтесь ночь сию, старайся, мир прелестный,
Во всем напоминать!
Ревешь ли бурею или течешь лениво, —
Пусть память всё об ней, река, в тебе живет,
И в камнях, и в дубах, смотрящихся спесиво
В лазури светлых вод!
Вей ею, ветерок, украдкой пролетая;
Волна, шуми о ней, плескаяся в брегах;
О ней грусти, луна, свой лик изображая
В серебряных струях!
Тростник ли стал роптать, иль вихорь
завывает,
Иль лег душистый пар над влажностью твоей, —
Пусть сердцу всё, во всем, везде напоминает
Любовь минувших дней!

<1821>

К ДРУГУ В<АСИЛИЮ> А<НДРЕЕВИЧУ> Ж<УКОВСКОМУ>

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ЕГО ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ

Опять ты здесь! опять судьбою
Дано мне вместе быть с тобою!
И взор хотя потухший мой
Уж взоров друга не встречает,
Но сердцу внятный голос твой
Глубоко в душу проникает.
О, долго в дальней стороне
Ты зажился, наш путник милый!
И сей разлуки год унылый,
Мой друг, был черным годом мне!
Но я любить не разучился,
Друзей моих не забывал,
От них нигде не отставал
И часто мысленно носился
С тобою выше облаков,
В стране, где посреди снегов
Весна роскошно зеленеет,
Где виноград душистый рдеет,

Дубровы мирные шумят,
Луга красуются цветами
И вековые льды горят
Небесной радуги огнями.
И часто, часто я с тобой
Альпийских ветров слушал вой,
И мрачных сосн суровый ропот,
И тайный их полночный шепот;
Смотрел, как с гор поток там бьет
И грохот в рощах раздается;
Здесь, рухнув, ла́вина падет,
Чрез села страшный путь берет
И лавой снежною несется.
Но вид угрюмой красоты
От сердца гонит прочь мечты —
И нас в священный трепет вводит.
Бывало, чаще в мысль приходит,
Когда уж месяц над рекой,
Что друг вечернею порой
В раздумье по долинам бродит,
Плывет по тихим озерам
И, к синим их склонен струям,
В часы сердечного мечтанья,
Чужим передает волнам
Родимых волн воспоминанья
И дальних милых тех полей,
Где он в беспечности своей
Жизнь встретил, счастью доверяясь,
Когда надежда, улыбаясь,
Тропинкой призраков вела:
Там он лелеял грусть и радость,
И в вдохновеньях там цвела
Его задумчивая младость.
И кто ж весну свою забыл?
Кто не живет воспоминаньем?
И я его очарованьем
Бываю менее уныл,
Улыбку иногда встречаю
И, весь в минувшем, забываю,
Как в непреклонности своей
Судьба карать меня умеет, —
И память прежних светлых дней

Тоской отрадною мне веет:
И я, мой друг, и я мечтал!
Я видел сон любви и счастья,
Я свято сердцем уповал,
Что нет под небом им ненастья;
С зарей, ты знаешь, юных дней,
Пленен любимою мечтою,
Стремился я за ней одною,
И без нее мне белый свет
Казался степью лишь пустою;
С душой, наполненной огнем,
Я волн и бурь не устрашился, —
И в легком челноке моем
Отважно по морю пустился.
Меня манил надежды луч,
И, как гроза ни бунтовала,
Мне из-за гневных, черных туч
Звезда приветная сияла, —
Что сердцу снилось, всё сбылось!
Ах, для чего же, молодое,
Мое ты счастье золотое,
Так быстро, быстро пронеслось!
Иль, видно, друг, сказать с тобою:
Не у меня ему гостить!
Так мы слыхали, что порою
Случайно птичка залетит
От южных островов прекрасных
В страну дней мрачных и ненастных,
Где дикий дол и темный лес
Не зрели голубых небес,
И там эфирною красою
И пенья нежностью простою
Угрюмый бор развеселит,
Минутной негой подарит!..
Но край, где буря обитает,
Ей не родная сторона,
И, лишь залетная, она
Мелькнет, прельстит и улетает.

Пять раз зеленые поля
Весна цветами обновляла,
С тех пор как, друг, она меня

В тенистых рощах не видала.
Пять целых лет, в борьбе страстей,
В страданьях, горем я томился,
Окован злой судьбой моей,
Во цвете лет уж я лишился
Всего, что в мире нас манит,
Всего, что радость нам сулит.
Могу ли усыпать цветами
Жизнь той, кем жизнь моя цвела,
Которая в груди зажгла
Пыл страстный райскими мечтами
И в даль туманную со мной
Шла радостно рука с рукой!..
Мой друг, простясь с очарованьем
Душою быть семьи своей,
Щитом, отрадой, упованьем
Подруги милой и детей,
Уже дружился я с тоскою,
Забыл себя, стал ими жить,
Умел их окружить собою,
В одно мои все чувства слить,
Любовью счастье заменить...
Но что ж!.. и божий свет скрываться
Вдруг начал от моих очей!
И я... я должен был расстаться
С последней радостью моей.
Напрасно для меня, напрасно
И солнце мир животворит,
И негой дышит месяц ясный
И зыбь потоков серебрит!
Не буду зреть полей зеленых,
Лазури светлой чистых вод,
Ни дня торжественных красот,
Ни звезд, во тме ночной зажженных.
Но, друг, тогда, как надо мной
Рок свирепел и вечной мглой
И безотрадными годами
Мою он душу ужаснул,
Я, день и ночь встречав слезами,
На поле, рощи не взглянул,
Забыл проститься с небесами:
Ах, на жену и на детей

Хотело сердце насмотреться!..
Хотел я, чтоб в душе моей
Уже вовек не мог стереться
Очам незримый образ их!..
«О! — думал я, — в бедах твоих
Одно лишь счастье оставалось,
Чтоб тех, кто сердцу милы, зреть,
И сердце ими любовалось,
И мог ты радости иметь.
Смотри на них! уж наступает
Тот грозный мрак, в котором ты
Не узришь их!.. Детей черты,
Ты знаешь, время изменяет,
С годами новый вид дает;
Страшись же: вид сей изменится,
И будет образ их не тот,
Который в сердце сохранится!»
И я с отчаянной тоской
На них стремил взор тусклый мой,
На миг покинуть их боялся,
К моей груди их прижимал,
От горя думать забывал,
Смотрел на них... но уж скрывался
Мне милый вид в какой-то тме:
Он исчезал, сливался с мглою,
И то, что есть, казалось мне
Давно минувшею мечтою.
Угас, угас луч светлый дня,
И сердце кровью обливалось,
И всё в грядущем для меня
Как бездна гибели являлось.
Навеки окружен я тмой!
Любовь, жизнь, счастье, всё — за мной!
К чему же мне души волненье?
К чему мне чувства жар святой?
О радость! ты не жребий мой!
Мне нет сердечных упоений;
Я буду тлеть без услаждений!..
Так догорает, одинок,
Забытый в поле огонек;
Он никого не согревает,
Ничьих не радует он глаз;

Его в полночный путник час
С каким-то страхом убегает.
О друг! поверь, единый бог,
В судьбах своих непостижимый,
Лишь он, всесильный, мне помог
Стерпеть удар сей нестерпимый!
Уже я духом упадал,
Уже в отчаяньи томился;
Хотя роптать и не дерзал,
Но, ах, и уповать страшился!
Уже в печали дикой сей
Мои все мысли затмевались:
И жизнь и смерть в судьбе моей
Равно ужасными казались.
Но вдруг. . . хвала тебе, творец!
Ты не забыл свое творенье!
Ты видишь глубину сердец,
Ты слышишь тайное моленье.
Хвала тебе, мой страх исчез!
Как ангел мирный, благодатный,
Как вестник милости небес,
Незримый, тайный, но понятный,
Носилось что-то надо мной,
Душа отрадный глас ловила —
И вера огненной струей
Страдальцу сердце оживила.
Мне мниться стало, что и я
Еще дышать любовью смею,
Что тяжкой участью моею
Он — мой отец, не судия —
Дает мне способ с умиленьем
Его о детях умолять
И им купить моим терпеньем
Его святую благодать!
И с сей надеждою бесценной
Мне сила крест нести дана;
И с ней в душе моей смятенной
Опять родилась тишина.

Но как навек всего лишиться?
Как мир прелестный позабыть?
Как не желать, как не тужить?

Живому с жизнью как проститься?..
Тогда в священной красоте
Внезапно дружба мне предстала:
Она так радостно сияла!
В ее нашел я чистоте
Утеху, нежность, сожаленье,
И ею жизнь озарена.
Ты правду нам сказал: она
Второе наше провиденье!
Светлана добрая твоя
Мою судьбу переменила,
Как ангел божий низлетя,
Обитель горя посетила —
И безутешного меня
Отрадой первой подарила.
Случалось ли когда, что вдруг,
Невольной угнетен тоскою,
Я слезы лил, — тогда, мой друг,
Светлана плакала со мною;
В надеждах веры устремлять
Все чувства на детей искала,
И чем мне сердце услаждать,
Своим то сердцем отгадала;
И вслед за ней явились мне
Те добродетели святые,
Всегда, везде ко всем благие,
И лишь могущие одне
Печаль и горести земные
В блаженный превращать
удел.
А там с улыбкой прилетел
И новый ангел-утешитель,
И сердца милый ободритель,
Прекрасный друг тоски моей:
Небесной кротостью своей
И силой нежных увещаний
Она мне сладость в душу льет,
Ласкает, радует, поет, —
И рой моих воспоминаний,
С цветами жизни молодой,
Как в блеске радужных сияний,
Летает снова надо мной.

Еще, мой друг, два утешенья
Остались мне: то легких снов
И призраков ночных явленья,
И вас, возвышенных певцов,
Божественные песнопенья.
Так, снов пленительный обман
В замену истины мне дан;
Он жизни памятью остался;
О том, с чем я навек расстался,
Правдивую дает мне весть;
Опять мне кажет мир приветный,
Разнообразный, разноцветный,
Почти таким, каков он есть;
Он мне любимое являет
Мечтой отрадною своей
И зáвесу с моих очей
Волшебной силою снимает.
Ах! удается часто мне
Смотреть на божий свет во сне,
Пленять мой жадный взор лесами,
Рекою, нивами, полями
И всей знакомой красотой
Тех мест, где прежнею порой
Я часто ею любовался!
Как ты, мой друг, я не скитался
В чужих далеких сторонах:
Всё родина в моих мечтах.
Однажды как-то я забылся
Обманчивым, но сладким сном:
И вдруг далеко очутился
Один на берегу крутом,
Там, у родной Москвы. [1] День знойный,
Мне снилось, ярко догорал,
И вечер пламенно спокойный
Во всей красе своей блистал;
Внизу Москва-река сверкала,
Игриво рощу обтекала;
В дали гористой под селом
Был виден лес, желтели нивы,

---

[1] Здесь описывается Васильевское, загородный дом князя Юсупова, близ Воробьевых гор.

А близ Дербента,[1] над прудом
Тенистые дремали ивы,
И зеленело за рекой
Девичье поле пред глазами,
И монастырь белел святой
С горящими, как жар, крестами;
От стен к приманчивым струям
Долинка ясная пестрела;
Тут домик сельский; в липах там
Часовня спрятаться хотела;
На всех соседственных холмах
Сады и дачи красовались
И в ярких вечера огнях
Струей багряной освещались;
И зелень рощей и полян
Сливалась с твердью голубою,
И стлался золотой туман
Над белокаменной Москвою.
Не знаю, друг, но вряд ли где
Подобный вид тебе являлся!
Опять однажды, всё во сне,
Я ночью по Неве катался,
Между роскошных островов
Летел прозрачною рекою;
И вид красивых берегов,
Дач, рощей, про́сек и садов,
Осеребряемых луною,
И озаренный божий храм,
И царский дом, и мост чрез волны,
Легко так брошенный, — всё там
Пленяет взор. Но вздох невольный
От сердца тяжко вылетал.
Ты часто, милый край, видал
Меня близ вод твоих струистых
На изумрудных берегах,
И в цветниках твоих душистых,
И в темных рощах, и в садах:
До поздней ночи там с тоскою
Сижу, бывало, над Невою;
И часто ранняя заря

[1] Сад графини Пушкиной.

Меня в раздумье заставала.
Но, ах, уж радость для меня
Давно с зарей не расцветала!
Еще ж случается, что я
Сны боле по сердцу видаю:
Я вижу вас, мои друзья,
Мою жену, детей ласкаю.
О, для чего ж в столь сладком сне
Нельзя мне вечно позабыться!
И для чего же должно мне
Опять на горе пробудиться!

Когда же я в себе самом,
Как в бездне мрачной, погружаюсь, —
Каким волшебным я щитом
От черных дум обороняюсь!
Я слышу дивный арфы звон,
Любимцев муз внимаю пенье,
Огнем небесным оживлен;
Мне льется в душу вдохновенье,
И сердце бьется, дух кипит,
И новый мир мне предстоит;
Я в нем живу, я в нем мечтаю,
Почти блаженство в нем встречаю;
Уж без страданья роковой
Досуг в занятьях протекает;
Беседа мудрых укрепляет
Колеблемый рассудок мой;
Дивит в писателях великих
Рассказ деяний знаменитых;
Иль нежной звучностью своей
Лелеют арфы золотые
Мятежный жар души моей
И сердца тайны дорогие.
О, счастлив тот, кто обнимать
Душ возвыше́нных чувства, мненья
Стремится с тем, чтоб поверять
Свои сердечные движенья!
Мы с ними чувствуем живей,
Добрее, пламенней бываем, —
Так Русь святая нам святей,
Когда Карамзина читаем;

Так пыл встревоженных страстей
Твой гений услаждать умеет,
И нам любовь небесным веет,
Когда над Ниною твоей
Невольно слезы наши льются, —
И весело часы несутся!
О друг, поэзия для всех
Источник силы, ободренья,
Животворительных утех
И сладкого самозабвенья!
Но для меня лишь в ней одной
Цветет прекрасная природа!
В ней мир разнообразный мой!
В ней и веселье и свобода!
Она лишь может разгонять
Души угрюмое ненастье
И сердцу сладко напевать
Его утраченное счастье.

Теперь ты зришь судьбу мою,
Ты знаешь, что со мной сбылося;
О, верь, отрадно в грудь твою
Мое всё сердце излилося!
Несносный страх душой остыть
Всего ужасней мне казался, —
И я стал пламенней любить,
Чем боле чувствами стеснялся.
Изведал я, что убивать
Не могут грозные страданья,
Пока мы будем сохранять
Любви чистейшей упованья.
И здесь ли, друг, всему конец?
Взгляни... над нашими главами
Есть небо с вечными звездами,
А над звездами их творец!

Февраль 1822(?)

В АЛЬБОМ ***

Когда над сонною рекой
В тумане месяц красный всходит
И путник робкою стопой
По сельскому кладбищу бродит,
И если там случайно он
Знакомца камень повстречает, —
То, в думу тихо погружен,
Бывалое воспоминает.

Ах! так и ты, друг милый мой,
В тот час, как грусть тебя коснется
И взору, полному тоской,
Мое здесь имя попадется,
Ты мертвым уж считай меня.
Чем жизнь цветет, мне миновалось;
Лишь верь тому, что у тебя
Мое здесь сердце *всё* осталось.

Начало 1822

К ЭММЕ

(Из Шиллера)

Туман далекий затмевает
Былую радость навсегда,
И только взор еще пленяет
Одна прекрасная звезда;
  Но звезды прелестью своей —
  Лишь блеск один во тме ночей.

Когда б ты в гробе охладела,
Уснула непробудным сном, —
Тобой тоска б моя владела,
Жила бы в сердце ты моем;
  Но, ах! собою свет пленя,
  Ты в нем живешь не для меня!

Иль сладость нежности сердечной,
О Эмма! можно позабыть?

Тому, что гибнет, что не вечно,
О Эмма! как любовью быть?
Ужель огонь ее святой
Исчезнет, будто жар земной!

Май 1822(?)

ПЛЕННЫЙ ГРЕК В ТЕМНИЦЕ

Родина святая,
Край прелестный мой!
Всё тобой мечтая,
Рвусь к тебе душой.
Но, увы, в неволе
Держат здесь меня,
И на ратном поле
Не сражаюсь я!

День и ночь терзался
Я судьбой твоей,
В сердце отдавался
Звук твоих цепей.
Можно ль однородным
Братьев позабыть?
Ах, иль быть свободным,
Иль совсем не быть!

И с друзьями смело
Гибельной грозой
За святое дело
Мы помчались в бой.
Но, увы, в неволе
Держат здесь меня,
И на ратном поле
Не сражаюсь я!

И в плену не знаю,
Как война горит;
Вести ожидаю —
Мимо весть летит.

Слух убийств несется,
Страшной мести след;
Кровь родная льется,
А меня там нет!

Ах, средь бури зреет
Плод, свобода, твой!
День твой ясный рдеет
Пламенной зарей!
Узник неизвестный,
Пусть страдаю я, —
Лишь бы, край прелестный,
Вольным знать тебя!

Первая половина 1822

НА РОЖДЕНИЕ АНДРЮШИ ВОЕЙКОВА
(16 июля 1822)

Господь тебя благослови,
Младенец наш новорожденный!
Цвети в его святой любви,
Семье в отраду обреченный.
Спи, спи, малютка наш родной,
Спи, ангел божий над тобой!

Да колыбель твою всегда
Хранит он благостью своею,
Надежды яркая звезда,
Зажгися радостно над нею.
Спи, спи, малютка наш родной,
Спи, ангел божий над тобой!

Своим на счастье расцветай,
Невинный, милый и прелестный!
Нас всех родными ты считай,
Нам всем подарок ты небесный.
Баю, малютка наш родной,
Спи, ангел божий над тобой!

И как цветок, краса полей,
Родимый край собой пленяет,
Так сердце матери твоей
С тобою вместе расцветает.
Баю, малютка наш родной,
Спи, ангел божий над тобой!

И светлые веселья дни,
Младенец, к нам с тобой слетели,
Толпой приветною они
К твоей теснятся колыбели.
Баю, малютка наш родной,
Спи, ангел божий над тобой!

И нежно в очередь тебя
И дружба, и любовь качают,
Тебе сон сладостный, дитя,
Они с улыбкой напевают.
Баю, младенец наш родной,
Спи, ангел божий над тобой!

Цвети, младенец наш, цвети!
Расти играть и веселиться,
И в жизнь прекрасную лети,
Как к солнцу мотылек стремится.
Баю, младенец наш родной,
Спи, ангел божий над тобой!

Июль 1822

ФЕЯ МОРГАНА К ОЛИВЬЕРУ

Уж вечер был; я, в терем поспешая,
Неслась одна эфирною страной;
Там пленница грустила молодая,
А друг ее страдал в земле чужой.
Тебя тогда близ рощи я узрела,
И на лице румянец запылал,
Забыла я, куда, зачем летела,
И ты один сердечной думой стал.

Весны и роз царевною воздушной
Предстала вдруг пред взором я твоим;
В волненьи чувств, с надеждой простодушной
Сказала я: «О витязь, будь моим!»
Дала кольцо из радуги огнистой;
Спустилась ночь; таинственной луной
Осеребрен кругом был лес тенистый,
И целый мир исчез для нас с тобой.

Ах, в радостной обители Морганы
В каких бы ты восторгах утопал!
О, сколько б раз мой дом прозрачно-рдяный
Эфирных игр веселостью блистал!
Волшебных арф при звоне сладкострунном,
В златых лучах румяныя зари,
Являлись бы в пространстве мы подлунном
И таяли б и в неге, и в любви.

И в час, когда в полуночном молчаньи
Свой нежный свет льет месяц молодой,
Слетали б мы, о друг, в его сияньи
К томящимся любовною тоской.
Иль в темну ночь над бурными волнами
Мелькали б мы в блуждающих огнях,
Горели бы приветными звездами,
Рождая жизнь в встревоженных пловцах.

Но праздностью твой пылкий дух скучает.
Прелестный друг! скучаешь ты при мне.
Вот шлем и меч: со вздохом уступает
Тебя любовь и славе, и войне!
Твоя везде! В тревоги боевые
Помчусь и я подругою твоей.
Я брошуся на стрелы роковые —
И притуплю их грудию моей!

Конец 1822

РОМАНС

Есть тихая роща у быстрых ключей;
И днем там и ночью поет соловей;
Там светлые воды приветно текут,
Там алые розы, красуясь, цветут.
В ту пору, как младость манила мечтать,
В той роще любила я часто гулять;
Любуясь цветами под тенью густой,
Я слышала песни — и млела душой.

Той рощи зеленой мне век не забыть!
Места наслажденья, как вас не любить!
Но с летом уж скоро и радость пройдет,
И душу невольно раздумье берет:
«Ах! в роще зеленой, у быстрых ключей,
Всё так ли, как прежде, поет соловей?
И алые розы осенней порой
Цветут ли всё так же над светлой струей?»

Нет, розы увяли, мутнее струя,
И в роще не слышно теперь соловья!
Когда же, красуясь, там розы цвели,
Их часто срывали, венками плели;
Блеск нежных листочков хотя помрачен,
В росе ароматной их дух сохранен.
И воздух свежится душистой росой;
Весна миновала — а веет весной.

Так памятью можно в минувшем нам жить
И чувств упоенья в душе сохранить;
Так веет отрадно и поздней порой
Бывалая прелесть любви молодой!
Не вовсе же радости время возьмет:
Пусть младость увянет, но сердце цветет.
И сладко мне помнить, как пел соловей,
И розы, и рощу у быстрых ключей!

<1823>

СЕЛЬСКАЯ СИРОТКА

Элегия

Рассталась я с тяжелым сном,
Не встретясь с радостной мечтою;
Я вместе с утренней зарею
Была на холме луговом.
Запела птичка там над свежими кустами;
В душистой рощице привольно ей летать;
Вдруг с кормом нежно к ней стремится... верно, мать —
И залилася я слезами.

Ах! мне не суждено, как птичке молодой,
В тиши безвестной жить у матери родной.
Дуб мирное гнездо от бури укрывает;
Приветный ветерок его там колыхает;
А я, бедняжка, что имею на земли?
И колыбели я не знала;
У храма сельского когда меня нашли,
На камне голом я лежала.
Покинутая здесь, далеко от своих,
Не улыбалась я родимой ласке их.
Скитаюся одна; везде чужие лицы;
Слыву в деревне сиротой.
Подружки лет моих, окружных сел девицы,
Стыдятся звать меня сестрой.
И люди добрые сиротку не пускают;
На вечеринках их нет места мне одной;
Со мною, бедной, не играют
Вкруг яркого огня семейною игрой.
Украдкой песням я приманчивым внимаю;
И перед сладким сном, в ту пору, как детей
Отец, благословя, прижмет к груди своей,
Вечерний поцелуй я издали видаю.

И тихо, тихо в храм святой
Иду я с горькими слезами;
Лишь он сиротке не чужой,
Лишь он один передо мной
Всегда с отверстыми дверями.
И часто я ищу на камне роковом

Следа сердечных слез, которые на нем,
Быть может, мать моя роняла,
Когда она меня в чужбине оставляла.
Одна между кустов, в тени берез густых,
Где спят покойники под свежею травою,
Брожу я с тягостной тоскою;
Мне плакать не о ком из них —
И между мертвых и живых
Везде, везде я сиротою.
Уже пятнадцать раз весна
В слезах сиротку здесь встречает;
Цветок безрадостный, она
От непогоды увядает.
Родная, где же ты? Увидимся ль с тобой?
Приди; я жду тебя всё так же сиротою —
И всё на камне том, и всё у церкви той,
Где я покинута тобою!

<1823>

МОЛОДОЙ ПЕВЕЦ

Ирландская мелодия

На брань летит младой певец,
Дней мирных бросил сладость;
С ним меч отцовский — кладенец,
С ним арфа — жизни радость.
«О, песней звонких край родной,
Отцов земля святая,
Вот в дань тебе меч острый мой,
Вот арфа золотая!»

Певец пал жертвой грозных сеч;
Но, век кончая юный,
Бросает в волны острый меч
И звонкие рвет струны.
«Любовь, свободу, край родной,
О струны, пел я с вами!
Теперь как петь в стране вам той,
Где раб звучит цепями?»

<1823>

ПРОСТИ

Элегия лорда Байрона

(Перевод с английского)

Была пора — они любили,
Но их злодеи разлучили;
А верность с правдой не в сердцах
Живут теперь, но в небесах.
Навек для них погибла радость:
Терниста жизнь, без цвета младость,
И мысль, что розно жизнь пройдет,
Безумства яд им в душу льет.

Но в жизни, им осиротелой,
Уже обоим не сыскать,
Чем можно б было опустелой
Души страданья услаждать;
Друг с другом розно, а тоскою
Сердечны язвы всё хранят, —
Так два расторгнутых грозою
Утеса мрачные стоят;
Их бездна с ревом разлучает,
И гром разит и потрясает, —
Но в них ни гром, ни вихрь, ни град,
Ни летний зной, ни зимний хлад
Следов того не истребили,
Чем некогда друг другу были.

Коллеридж. (Из поэмы «Кристабель».)

Прости! и если так судьбою
Нам суждено, — навек прости!
Пусть ты безжалостна — с тобою
Вражды мне сердца не снести.

Не может быть, чтоб повстречала
Ты непреклонность чувства в том,
На чьей груди ты засыпала
Невозвратимо сладким сном!

Когда б ты в ней насквозь узрела
Все чувства сердца моего,
Тогда бы, верно, пожалела,
Что столько презрела его.

Пусть свет улыбкой одобряет
Теперь удар жестокий твой:

Тебя хвалой он обижает,
Чужою купленной бедой.

Пускай я, очернен виною,
Себя дал право обвинять;
Но для чего ж убит рукою,
Меня привыкшей обнимать?

И верь, о, верь! пыл страсти нежной
Лишь годы могут охлаждать;
Но вдруг не в силах гнев мятежный
От сердца сердце оторвать.

Твое — то ж чувство сохраняет;
Удел же мой — страдать, любить!
И мысль бессмертная терзает,
Что мы не будем вместе жить.

Печальный вопль над мертвецами
С той думой страшной как сравнять?
Мы оба живы, но вдовцами
Уже нам день с тобой встречать.

И в час, как нашу дочь ласкаешь,
Любуясь лепетом речей, —
Как об отце ей намекаешь?
Ее отец в разлуке с ней.

Когда ж твой взор малютка ловит, —
Ее целуя, вспомяни
О том, тебе кто счастья молит,
Кто рай нашел в твоей любви.

И если сходство в ней найдется
С отцом, покинутым тобой,
Твое вдруг сердце встрепенется,
И трепет сердца — будет мой.

Мои вины, быть может, знаешь, —
Мое безумство можно ль знать?
Надежды — ты же увлекаешь,
С тобой увядшие летят.

Ты потрясла моей душою;
Презревший свет, дух гордый мой
Тебе покорным был; с тобою
Расставшись, расстаюсь с душой!

Свершилось всё! слова напрасны,
И нет напрасней слов моих, —
Но в чувствах сердца мы не властны,
И нет преград стремленью их.

Прости ж, прости! Тебя лишенный,
Всего, в чем думал счастье зреть,
Истлевший сердцем, сокрушенный,
Могу ль я больше умереть?

<1823>

К РАДОСТИ

О радость, радость, что же ты
Нам скоро изменяешь
И сердца милые мечты
Так рано отнимаешь!

Зачем, небесная, летишь
Пернатою стрелою
И в мраке бедствия горишь
Далекою звездою!

Зачем же прелестью своей
Ты льешь очарованье
И оставляешь... светлых дней
Одно воспоминанье!

Минувшее с твоей мечтой
Как в душу ни теснится,
Его бывалой красотой
Душа не оживится.

Дух пылкий ею увлечен,
Дни счастья вспоминая;

Тревожит сердца тяжкий сон,
Тоски не услаждая.

Так месяц светит над рекой,
В струях ее играет
И блеск сребристо-золотой
Над ними рассыпает;

Река в сияньи пламя льет,
Горит его лучами —
И в море темное течет
Холодными волнами.

<1823>

ДОБРАЯ НОЧЬ

«Прости, прости, мой край родной!
Уж скрылся ты в волнах;
Касатка вьется, ветр ночной
Играет в парусах.
Уж тонут огненны лучи
В бездонной синеве...
Мой край родной, прости, прости!
Ночь добрая тебе!

Проснется день; его краса
Утешит божий свет;
Увижу море, небеса, —
А родины уж нет!
Отцовский дом покинул я;
Травой он зарастет;
Собака верная моя
Выть станет у ворот.

Ко мне, ко мне, мой паж младой!
Но ты дрожишь как лист?
Иль страшен рев волны морской?
Иль ветра буйный свист?

Не плачь: корабль мой нов; плыву
Уж я не в первый раз;

И быстрый сокол на лету
Не перегонит нас».

— «Не буйный ветр страшит меня,
Не шум угрюмых волн;
Но не дивись, сир Чальд, что я
Тоски сердечной полн:
Прощаться грустно было мне
С родимою, с отцом;
Теперь надежда вся в тебе
И в друге... неземном.

Не скрыл отец тоски своей,
Как стал благословлять;
Но доля матери моей —
День плакать, ночь не спать».
— «Ты прав, ты прав, мой паж младой!
Как сметь винить тебя?
С твоей невинной простотой,
Ах, плакал бы и я!

Но вот и кормщик мой сидит,
Весь полон черных дум.
Иль буйный ветр тебя страшит?
Иль моря грозный шум?»
— «Сир Чальд, не робок я душой,
Не умереть боюсь;
Но я с детьми, но я с женой
Впервые расстаюсь!

Проснутся завтра на заре
И дети и жена;
Малютки спросят обо мне,
И всплачется она!»
— «Ты прав, ты прав! И как пенять,
Мой добрый удалец!
Тебе нельзя не горевать:
И муж ты и отец!

Но я... Ах, трудно верить мне
Слезам прелестных глаз!
Любовью новою оне
Осушатся без нас.

Лишь тем одним терзаюсь я,
Не в силах то забыть,
Что нет на свете у меня,
О ком бы потужить!

И вот на темных я волнах
Один, один с тоской!..
И кто же, кто по мне в слезах
Теперь в стране родной?
Что ж рваться мне, жалеть кого?
Я сердцем опустел,
И без надежд, и без всего,
Что помнить я хотел.

О мой корабль! с тобой я рад
Носиться по волнам;
Лишь не плыви со мной назад
К родимым берегам!
Далеко на скалах, в степи
Приют сыщу себе;
А ты, о родина, прости!
Ночь добрая тебе!»

<1824>

СОН НЕВЕСТЫ

Баллада

Ветер выл, гроза ревела,
Месяц крылся в облаках,
И река, клубясь, шумела
В омраченных берегах.
И, встревожена тоскою,
Эвелина слезы льет:
«Ах, теперь грозой ночною
Милый по морю плывет!»

Долго бедная молилась
Пред иконою святой;
Робкой думою носилась
Над пучиною морской.

Бьет на башне час полночи,
И внезапно тайный сон
Ей смежил печальны очи,
И замолк тяжелый стон.

Спит она — но дух унылый
И во сне тревожит страх:
Всё корабль ей снится милый
На бунтующих волнах;
И казалось, что летает
Тень знакомая над ней
И как будто бы вещает:
«О невеста, слез не лей!»

Голос друга незабвенный...
Сердце верное дрожит;
Смотрит тихо: обрученный
Перед ней жених стоит;
В лике бледность гробовая,
Мутен блеск его очей,
И бежит струя морская
Из развившихся кудрей.

«О невеста, в край родимый
Я летел к тебе с мечтой
И бесценной, и любимой,
И с пылающей душой;
Но взревела надо мною
Смертоносная волна:
С нашей радостью земною
Ты навек разлучена!

Друг, страданье пронесется,
Грозный мрак не навсегда,
И над бездною зажжется
Лучезарная звезда!
О, не сетуй, что прекрасный
Жизни цвет увял в слезах!
Мы любили не напрасно:
Будем вместе в небесах!

Но — прости... уже алеет
Вам румяная заря,

Ветерок уж ранний веет,
Веет он не для меня!»
И со вздохом улетает
Тень младая от очей,
И с высот ей повторяет:
«О невеста, слез не лей!»

<1824>

КИЕВ

О Киев-град, где с верою святою
Зажглася жизнь в краю у нас родном,
Где светлый крест с Печерскою главою
Горит звездой на небе голубом,
Где стелются зеленой пеленою
Поля твои в раздолье золотом
И Днепр-река, под древними стенами,
Кипит, шумит пенистыми волнами!

Как часто я душой к тебе летаю,
О светлый град, по сердцу мне родной!
Как часто я в мечтах мой взор пленяю
Священною твоею красотой!
У Лаврских стен земное забываю
И над Днепром брожу во тме ночной:
В очах моих всё русское прямое —
Прекрасное, великое, святое.

Уж месяц встал; Печерская сияет;
Главы ее в волнах реки горят;
Она душе века напоминает;
Небесные там в подземелье спят;
Над нею тень Владимира летает;
Зубцы ее о славе говорят.
Смотрю ли вдаль — везде мечта со мною,
И милою всё дышит стариною.

Там витязи сражались удалые,
Могучие, за родину в полях;
Красою здесь цвели княжны младые,
Стыдливые, в высоких теремах,

И пел Баян им битвы роковые,
И тайный жар таился в их сердцах.
Но полночь бьет, звук меди умирает;
К минувшим дням еще день улетает.

Где ж смелые, которые сражались,
Чей острый меч как молния сверкал?
Где та краса, которой все пленялись,
Чей милый взгляд свободу отнимал?
Где тот певец, чьим пеньем восхищались?
Ах, вещий бог на всё мне отвечал!
И ты один под башнями святыми
Шумишь, о Днепр, волнами вековыми!

<1824>

ИРЛАНДСКАЯ МЕЛОДИЯ

Луч ясный играет на светлых водах,
Но тма под сияньем и холод в волнах;
Младые ланиты румянцем горят,
Но черные думы дух юный мрачат.

Есть думы о прежнем; их яд роковой
Всю жизнь отравляет мертвящей тоской;
Ничто не утешит, ничто не страшит,
Не радует радость, печаль не крушит.

На срубленной ветке так вянет листок;
Напрасно в дубраве шумит ветерок
И красное солнце льет радостный свет, —
Листок зеленеет, а жизни в нем нет!

<1824>

К КНЯГИНЕ М. А. ГОЛИЦЫНОЙ

Ты видала, как играет
Солнце раннею порой
И лилея расцветает,
Окропленная росой.

Ты слыхала, как весною
Соловей в ночи поет,
Как с бесценною тоскою
Он раздумье в душу льет.

Под черемухой душистой
Часто взор пленялся твой
Блеском радуги огнистой
Над прозрачною рекой.

Так твое воспоминанье,
Твой пленительный привет
Для сердец очарованье
И прекрасного завет.

Но, с увядшею душою,
Между радостных друзей
Как предстану пред тобою
С лирой томною моей?

Хоть порой с мечтами младость
И блестит в моих очах
И поется мною радость
На задумчивых струнах, —

В поле так цветок мелькает
Вместе с скошенной травой;
Так свет лунный озаряет
Хладный камень гробовой.

Лишь желать, молить я смею:
Да надежд прелестных рой
Вьется вечно над твоею
Светло-русой головой.

В свете гостья молодая,
Жизнью весело играй;
Бурям издали внимая,
Обо мне воспоминай!

<1824>

БЕЙРОН

А. С. Пушкину

But I have lived and have not lived in vain.[1]

Среди Альбиона туманных холмов,
В долине, тиши обреченной,
В наследственном замке, под тенью дубов,
Певец возрастал вдохновенный.
И царская кровь в вдохновенном текла,[2]
И золота много судьбина дала;
Но юноша, гордый, прелестный,
Высокого сана светлее душой,
Казну его знают вдова с сиротой,
И звон его арфы чудесный.

И в бурных порывах всех чувств молодых
Всегда вольнолюбье дышало,
И острое пламя страстей роковых
В душе горделивой пылало.
Встревожен дух юный; без горя печаль
За призраком тайным влечет его вдаль —
И волны под ним зашумели!
Он арфу хватает дрожащей рукой,
Он жмет ее к сердцу с угрюмой тоской, —
Таинственно струны звенели.

Скитался он долго в восточных краях
И чудную славил природу;
Под радостным небом в душистых лесах
Он пел угнетенным свободу;
Страданий любви исступленной певец,
Он высказал сердцу все тайны сердец,
Все буйных страстей упоенья;
То радугой блещет, то в мраке ночном
Сзывает он тени волшебным жезлом —
И грозно-прелестны виденья.

---

[1] Но что ж? я жил, и жил недаром (англ.). — *Ред.*

[2] Лорд Бейрон происходит от царей: шотландский король Иаков II был предок его по матери.

И время задумчиво в песнях текло;
И дивные песни венчали
Лучами бессмертья младое чело, —
Но мрака с лица не согнали.
Уныло он смотрит на свет и людей;
Он бурно жизнь отжил весною своей,
Надеждам он верить страшится;
Дум тяжких, глубоких в нем видны черты;
Кипучая бездна огня и мечты,
Душа его с горем дружится.

Но розы нежнее, свежее лилей
Мальвины красы молодые,
Пленительны взоры сапфирных очей
И кудри ее золотые;
Певец, изумленный, к ней сердцем летит,
Любви непорочной звезда им горит, —
Увядшей расцвел он душою;
Но злоба шипела, дышала бедой, —
И мгла, как ужасный покров гробовой,
Простерлась над юной четою.

Так светлые воды, красуясь, текут
И ясность небес отражают;
Но, встретя каменья, мутятся, ревут
И шумно свой ток разделяют.
Певец раздражился, но мстить не хотел,
На рок непреклонный с презреньем смотрел;
Но в горести дикой, надменной
И в бешенстве страсти, в безумьи любви
Мученьем, отрадой ему на земли —
Лишь образ ее незабвенный!

И снова он мчится по грозным волнам;
Он бросил магнит путеводный,
С убитой душой по лесам, по горам
Скитаясь, как странник безродный.
Он смотрит, он внемлет, как вихри свистят,
Как молнии вьются, как громы гремят
И с гулом в горах умирают.
О вихри! о громы! скажите вы мне:

В какой же высокой, безвестной стране
Душевные бури стихают?

С полночной луною беседует он,
Минувшее горестно будит;
Желаньем взволнован, тоской угнетен,
Клянет, и прощает, и любит.
«Безумцы искали меня погубить,
Все мысли, все чувства мои очернить;
Надежду, любовь отравили,
И ту, кто была мне небесной мечтой,
И радостью сердца, и жизни душой, —
Неправдой со мной разлучили.

И дочь не играла на сердце родном!
И очи ее лишь узрели...
О, спи за морями, спи ангельским сном
В далекой твоей колыбели!
Сердитые волны меж нами ревут, —
Но стон и молитвы отца донесут...
Свершится! .. Из ранней могилы
Мой пепел поднимет свой глас неземной,
И с вечной любовью над ней, над тобой
Промчится мой призрак унылый!»

Страдалец, утешься! — быть может, в ту ночь,
Как грозная буря шумела,
Над той колыбелью, где спит твоя дочь,
Мальвина в раздумье сидела;
Быть может, лампады при бледных лучах,
Знакомого образа в милых чертах
Искала с тоскою мятежной, —
И, сходство заметя любимое в ней,
Мальвина, вздыхая, младенца нежней
Прижала к груди белоснежной!

Но брань за свободу, за веру, за честь
В Элладе его пламенеет,
И слава воскресла, и вспыхнула месть, —
Кровавое зарево рдеет.
Он первый на звуки свободных мечей
С казною, и ратью, и арфой своей

Летит довершать избавленье;
Он там, он поддержит в борьбе роковой
Великое дело великой душой —
Святое Эллады спасенье.

И меч обнажился, и арфа звучит,
Пророчица дивной свободы;
И пламень священный ярчее горит,
Дружнее разят воеводы.
О край песнопенья и доблестных дел,
Мужей несравненных заветный предел —
Эллада! Он в час твой кровавый
Сливает свой жребий с твоею судьбой!
Сияющий гений горит над тобой
Звездой возрожденья и славы.

Он там!.. он спасает!.. и смерть над певцом!
И в блеске увянет цвет юный!
И дел он прекрасных не будет творцом,
И смолкли чудесные струны!
И плач на Востоке... и весть пронеслась,
Что даже в последний таинственный час
Страдальцу былое мечталось:
Что будто он видит родную страну,
И сердце искало и дочь и жену, —
И в небе с земным не расталось!

Между маем и июлем 1824

ВЕНЕЦИАНСКАЯ НОЧЬ

Фантазия

П. А. Плетневу

Ночь весенняя дышала
Светло-южною красой;
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной;
Отражен волной огнистой
Блеск прозрачных облаков,

И восходит пар душистый
От зеленых берегов.

Свод лазурный, томный ропот
Чуть дробимыя волны,
Померанцев, миртов шепот
И любовный свет луны,
Упоенья аромата
И цветов и свежих трав,
И вдали напев Торквата
Гармонических октав —

Всё вливает тайно радость,
Чувствам снится дивный мир,
Сердце бьется, мчится младость
На любви весенний пир;
По водам скользят гондолы,
Искры брызжут под веслом,
Звуки нежной баркаролы
Веют легким ветерком.

Что же, что не видно боле
Над игривою рекой
В светло-убранной гондоле
Той красавицы младой,
Чья улыбка, образ милый
Волновали все сердца
И пленяли дух унылый
Исступленного певца?

Нет ее: она тоскою
В замок свой удалена;
Там живет одна с мечтою,
Тороплива и мрачна.
Не мила ей прелесть ночи,
Не манит сребристый ток,
И задумчивые очи
Смотрят томно на восток.

Но густее тень ночная;
И красот цветущий рой,

В неге страстной утопая,
Покидает пир ночной.
Стихли пышные забавы,
Всё спокойно на реке,
Лишь Торкватовы октавы
Раздаются вдалеке.

Вот прекрасная выходит
На чугунное крыльцо;
Месяц бледно луч наводит
На печальное лицо;
В русых локонах небрежных
Рисовался легкий стан,
И на персях белоснежных
Изумрудный талисман!

Уж в гондоле одинокой
К той скале она плывет,
Где под башнею высокой
Море бурное ревет.
Там певца воспоминанье
В сердце пламенном живей,
Там любви очарованье
С отголоском прежних дней.

И в мечтах она внимала,
Как полночный вещий бой
Медь гудящая сливала
С вечно-шумною волной.
Не мила ей прелесть ночи,
Душен свежий ветерок,
И задумчивые очи
Смотрят томно на восток.

Тучи тянутся грядою,
Затмевается луна;
Ясный свод оделся мглою;
Тма внезапная страшна.
Вдруг гондола осветилась,
И звезда на высоте
По востоку покатилась
И пропала в темноте.

И во тме с востока веет
Тихогласный ветерок;
Факел дальний пламенеет, —
Мчится по морю челнок.
В нем уныло молодая
Тень знакомая сидит,
Подле арфа золотая,
Меч под факелом блестит.

Не играйте, не звучите,
Струны дерзкие мои:
Славной тени не гневите!..
О! свободы и любви
Где же, где певец чудесный?
Иль его не сыщет взор?
Иль угас огонь небесный,
Как блестящий метеор?

<1825>

ДВА ОТРЫВКА ИЗ «ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА»

И. М. Муравьеву-Апостолу

1

СМЕРТЬ КЛОРИНДЫ

«Ты победил! противник твой прощает;
И ты душе, не телу, друг, прости!
Уж тела здесь ничто не устрашает;
Но ты меня в спасенье окрести, —
И за меня молись!» — И утихает
От нежных слов вражда в его груди;
В их томности пленительный таился
Какой-то звук, — и витязь прослезился.

Там ручеек под ближнею горой
Бежал, журча, в тени уединенной;
Наполня шлем студеною водой,

Уж он готов творить свой долг священный;
Безвестный лик дрожащею рукой
Он открывал, печалью сам стесненный, —
Взглянул... и вдруг без чувств недвижим
стал.

Увы! что зрит? Увы! кого узнал?
И смертью с ней он умер бы одною,
Но сердце, мысль лишь тем пылают в нем,
Чтоб возвратить таинственной водою
Жизнь той, кому он смерть дает мечом.
Меж тем как он с молитвою святою
Свершал обряд в веселии живом, —
Ее лицо надеждой просветилось, —
Казалось ей, что небо растворилось. —
И бледностью фиалок и лилей
Затмилася краса ее младая, —
И к небесам стремится взор очей,
В них благодать по вере обретая,
И к витязю в привет, вместо речей,
Холодную уж руку простирая...
Так, в виде том прелестная лежит —
Уже мертва, а мнится, будто спит.

<1832>

2

ВИДЕНИЕ ТАНКРЕДА

Об ней зарей и вечером об ней
Крушится он, и плачет, и стенает;
Так в темну ночь, тоскуя, соловей,
Когда ловец жестокий похищает
Его еще не вскормленных детей,
Поет и бор уныво оглашает.
Но, утомясь, невольно легким сном
Забылся он перед румяным днем.

И та, о ком душа в тоске мечтала,
Чело в звездах, под светлой пеленой,
В чудесном сне очам его предстала,
Блистательна божественной красой,

Но и в красе небесной сохраняла
Знакомый вид любви его земной.
«О милый друг, взгляни, как я прекрасна,
Как весела: твоя печаль напрасна!

Ты дал мне всё: нетленным ты венцом
Меня венчал, — а меч обманут мглою.
Что бренный мир! Уж я перед творцом;
Я в хоре дев бессмертною, святою
Живу, люблю, молюся об одном
И жду тебя... и вечный пред тобою
Возблещет свет — и взор пленится твой
Красой небес, и в них моей красой.

Стремися к нам душою неизменной;
Волненьям чувств упорствуй и живи;
Люблю тебя, друг сердца незабвенный,
И не таюсь теперь в моей любви!»
Рекла; в очах блеснул огонь священный,
Невиданный у смертных на земли, —
И вдруг, в своем сияньи утопая,
В лазурной тме исчезла дева рая.

<1825>

КНЯЖНЕ С. Д. РАДЗИВИЛ

Твоя безоблачная младость
Цветет пленительной красой;
Ты улыбаешься, как радость,
Ясна и взором и душой.

Рукой ли белой и послушной
По звонким струнам пробежишь
Иль стройно в резвости воздушной
Кружишься, вьешься и летишь, —

Ты радугой горишь пред нами;
Она так блещет летним днем
И разноцветными огнями
Играет в небе голубом.

Но в те часы, как ты снимаешь
Венок из розовых цветов
И с милой томностью внимаешь
Мечтам задумчивых певцов, —

Как ты младенческой душою,
Участница в чужих бедах,
Грустишь невинною тоскою,
И слезы ангела в очах...

О, так в саду росою чистой
Лилея нежная блестит,
Когда луна цветок душистый
Сияньем томным серебрит!

<1825>

К Н. И. ГНЕДИЧУ

СТАНСЫ НА КАВКАЗ И КРЫМ

Мечтатель пламенный, любимец вдохновенья!
Звучит ли на горах волшебный лиры глас?
Хиосского слепца внимал ли песнопенья
Восторженный Кавказ?

Ты зрел, с какой красой власть чудныя природы
Громады диких скал венчает ярким льдом,
Как благодатные в долинах хлещут воды
Кипучим серебром!

Там в синих небесах снега вершин сияют,
Над безднами висит пурпурный виноград,
И тучи под тобой, клубяся, застилают
Ревущий водопад.

Ты видишь, между скал как рыщет горный житель,
Черкес, отважный друг свободы и коня,
Там, где прикован был к утесу похититель
Небесного огня.

Но доле роковой Титан не покорился,
Лишь громовержца он надменно укорял;

Страдальцу гордому разгневанный дивился,
И гром в руке дрожал.

Иль, друг, уже теперь в объятьях тихой лени
Вечернею зарей ты смотришь на Салгир,
На сладострастные Таврические сени,
На радужный эфир?

Там северный певец в садах Бахчисарая
Задумчиво бродил, мечтами окружен;
Там в сумраке пред ним мелькнула тень младая —
И струн раздался звон.

Ты слышал, как фонтан шумит во тме полночной,
Как пламенно поет над розой соловей, —
Но сладостный фонтан и соловей восточный
Не слаще, не звучней!..

Быть может, давних дней воспоминанья полный
И видя, как суда несутся по зыбям,
Ты думой тайною стремишься через волны
К далеким берегам,

Чьи башни гордые с двурогими лунами
К лазурным небесам так дерзко вознеслись,
Где плещет Геллеспонт, где дремлют над струями
И мирт и кипарис?

В их темной зелени на лоне вод белеет
Гарем с решетками и кровлей золотой,
И нежный аромат от роз огнистых веет
С прохладою ночной.

Ах, ясный неба свод, и шум валов сребристых,
И розы пышные, и мирные леса,
И нега томная ночей твоих душистых,
И дев твоих краса —

Ничто, прелестный край, ничто народ суровый
Не в силах укротить! Он с каждым днем грозней,
И мчат твоим сынам и гибель и оковы
Армады кораблей.

Но меч, свободы меч, блеснул ужасным блеском;
С ним бог: уж он разит врагов родной земли,
И, огненным столбом взлетая к небу с треском,
Пылают корабли.

Их пламень осветил пучину роковую,
И рдеет зарево во мраке черных туч,
И вещего певца на урну гробовую
Упал багровый луч...

<1825>

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

Бессонного солнце, в тумане луна!
Горишь ты далеко, грустна и бледна.
При тусклом мерцаньи мрак ночи страшней, —
Так в памяти радость утраченных дней.
Минувшее блещет меж горестных туч;
Но сердца не греет томительный луч;
И радость былая, как ночью луна,
Видна — но далеко, ярка — но хладна.

<1825>

НА ПОГРЕБЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ГЕНЕРАЛА СИРА ДЖОНА МУРА

Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили,
И труп не с ружейным прощальным огнем
Мы в недра земли опустили.

И бедная почесть к ночи́ отдана;
Штыками могилу копали;
Нам тускло светила в тумане луна,
И факелы дымно сверкали.

На нем не усопших покров гробовой,
Лежит не в дощатой неволе —

Обернут в широкий свой плащ боевой,
Уснул он, как ратники в поле.

Недолго, но жарко молилась творцу
Дружина его удалая
И молча смотрела в лицо мертвецу,
О завтрашнем дне помышляя.

Быть может, наутро внезапно явясь,
Враг дерзкий, надменности полный,
Тебя не уважит, товарищ, а нас
Умчат невозвратные волны.

О нет, не коснется в таинственном сне
До храброго дума печали!
Твой одр одинокий в чужой стороне
Родимые руки постлали.

Еще не свершен был обряд роковой,
И час наступил разлученья;
И с валу ударил перун вестовой,
И нам он не вестник сраженья.

Прости же, товарищ! Здесь нет ничего
На память могилы кровавой;
И мы оставляем тебя одного
С твоею бессмертною славой.

<1825>

НА ОТЪЕЗД

Когда и мрак, и сон в полях,
И ночь разлучит нас,
Меня, мой друг, невольный страх
Волнует каждый раз.

Я знаю, ночь пройдет одна,
Наутро мы с тобой;
Но дума втайне смущена
Тревожною тоской.

О, как же сердцу не грустить!
Как высказать печаль, —
Когда от тех, с кем мило жить,
Стремимся в темну даль;

Когда, быть может, увлечет
Неверная судьба
На целый месяц, целый год,
Быть может — навсегда!

<1825>

К ИТАЛИИ

В. А. Жуковскому

Лети со мной к Италии прелестной,
Эфирный друг, фантазия моя!
Земля любви, гармонии чудесной,
Где радостей веселая семья
Взлелеяна улыбкою небесной,
Италия, Торкватова земля,
Ты не была, не будешь мною зрима,
Но как ты мной, прекрасная, любима!

Мне видятся полуденные розы,
Душистые лимонные леса,
Зеленый мирт и виноградны лозы,
И синие, как яхонт, небеса.
Я вижу их — и тихо льются слезы...
Италия, мила твоя краса,
Как первое любви младой мечтанье,
Как чистое младенчества дыханье.

С высот летят сияющие воды,
Жемчужные — над безднами горят;
Таинственных видений хороводы
Прозрачные — вкруг гор твоих кипят;
Твои моря, не зная непогоды,
Зеленые — струятся и шумят;
Воздушный пир — твой вечер благодатный
С прохладою и негой ароматной.

Луна взошла, а небосклон пылает
Последнею багряною зарей;
Высокий свод безоблачно сияет,
Весь радужной подернут пеленой;
И яркий луч, сверкая, рассыпает
Блеск розовый над сонною волной;
Но гаснет он под ризою ночною,
Залив горит, осеребрен луною.

И я несусь волшебными крилами
К развенчанной царице волн морских:
Там звук октав с любовью и мечтами
При сладостном мерцаньи звезд ночных;
Там Байрон пел; там бродит меж гробами
Тень грозная свободы дней былых;
Там в тишине как будто слышны стоны
Пленительной, невинной Десдемоны.

Но вдруг печаль, Италия, стеснила
Души восторг и светлые мечты;
Слезами ты и кровью искупила
Дар пагубный чудесной красоты;
Она к тебе рать буйную манила
Угрюмых гор с туманной высоты;
И враг — твой бич, и гордый избавитель —
Не мирный друг, но хищный притеснитель. [1]

А ты прими от сердца завещанье,
Певец, Орфей полуночной страны!
Ты будешь зреть тех волн очарованье
И нежный блеск над Брентою луны,
И вспомнишь ты дум пламенных мечтанье
И юных лет обманутые сны.
О, в сладкий час, душою посвященный
Друзьям живым и праху незабвенной,

Когда в пылу сердечных упоений
Ты звонких струн таинственной игрой
Сольешь, о друг, ряд северных видений
С небесною Италии красой,

---

[1] Наполеон.

И, может быть, в толпе родных явлений
Промчусь и я, как призрак, над тобой, —
Скажи земле певца Ерусалима,
Как мной была прекрасная любима!

<1825>

КНЯГИНЕ З. А. ВОЛКОНСКОЙ

Мне говорят: «Она поет —
И радость тихо в душу льется,
Раздумье томное найдет,
В мечтаньи сладком сердце бьется;

И то, что мило на земли,
Когда поет она — милее,
И пламенней огонь любви,
И всё прекрасное святее!»

А я, я слез не проливал,
Волшебным голосом плененный;
Я только помню, что видал
Певицы образ несравненный.

О, помню я, каким огнем
Сияли очи голубые,
Как на челе ее младом
Вилися кудри золотые!

И помню звук ее речей,
Как помнят чувство дорогое;
Он слышится в душе моей,
В нем было что-то неземное.

Она, она передо мной,
Когда таинственная лира
Звучит о Пери молодой
Долины светлой Кашемира.

Звезда любви над ней горит,
И — стан обхвачен пеленою —

Она, эфирная, летит,
Чуть озаренная луною;

Из лилий с розами венок
Небрежно волосы венчает,
И локоны ее взвевает
Душистой ночи ветерок.

<1825>

РАЗБОЙНИК

Баллада

А. А. Воейковой

Мила Брайнгельских тень лесов;
Мил светлый ток реки;
И в поле много здесь цветов
Прекрасным на венки.

Туманный дол сребрит луна;
Меня конь борзый мчит:
В Дальтонской башне у окна
Прекрасная сидит.

Она поет: «Брайнгельских вод
Мне мил приветный шум;
Там пышно луг весной цветет,
Там рощи полны дум.

Хочу любить я в тишине,
Не царский сан носить;
Там на реке милее мне
В лесу с Эдвином жить».

— «Когда ты, девица-краса,
Покинув замок свой,
Готова в темные леса
Бежать одна со мной,

Ты прежде, радость, угадай,
Как мы в лесах живем;

Каков, узнай, тот дикий край,
Где мы любовь найдем!»

Она поет: «Брайнгельских вод
Мне мил приветный шум;
Там пышно луг весной цветет,
Там рощи полны дум.

Хочу любить я в тишине,
Не царский сан носить;
Там на реке милее мне
В лесу с Эдвином жить.

Я вижу борзого коня
Под смелым ездоком:
Ты царский ловчий, — у тебя
Рог звонкий за седлом».

— «Нет, прелесть! Ловчий в рог трубит
Румяною зарей,
А мой рожок беду звучит,
И то во тме ночной».

Она поет: «Брайнгельских вод
Мне мил приветный шум;
Там пышно луг весной цветет,
Там рощи полны дум;

Хочу в привольной тишине
Тебя, мой друг, любить;
Там на реке отрадно мне
В лесу с Эдвином жить.

Я вижу, путник молодой,
Ты с саблей и ружьем;
Быть может, ты драгун лихой
И скачешь за полком».

— «Нет, гром литавр и трубный глас
К чему среди степей?
Украдкой мы в полночный час
Садимся на коней.

Приветен шум Брайнгельских вод
  В зеленых берегах,
И мил в них месяца восход,
  Душистый луг в цветах;

Но вряд прекрасной не тужить,
  Когда придется ей
В глуши лесной безвестно жить
  Подругою моей!

Там чудно, чудно я живу, —
  Так, видно, рок велел;
И смертью чудной я умру,
  И мрачен мой удел.

Не страшен так лукавый сам,
  Когда пред черным днем
Он бродит в поле по ночам
  С блестящим фонарем;

И мы в разъездах удалых,
  Друзья неверной тмы,
Уже не помним дней былых
  Невинной тишины».

Мила Брайнгельских тень лесов;
  Мил светлый ток реки;
И много здесь в лугах цветов
  Прекрасным на венки.

6 января 1825

ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ

Княгине З. А. Волконской

То не кукушка в роще темной
Кукует рано на заре —
В Путивле плачет Ярославна,
Одна, на городской стене:

«Я покину бор сосновый,
Вдоль Дуная полечу,
И в Каяль-реке бобровый
Я рукав мой обмочу;
Я домчусь к родному стану,
Где кипел кровавый бой,
Князю я обмою рану
На груди его младой».

В Путивле плачет Ярославна,
Зарей, на городской стене:

«Ветер, ветер, о могучий,
Буйный ветер! что шумишь?
Что ты в небе черны тучи
И вздымаешь и клубишь?
Что ты легкими крылами
Возмутил поток реки,
Вея ханскими стрелами
На родимые полки?»

В Путивле плачет Ярославна,
Зарей, на городской стене:

«В облаках ли тесно веять
С гор крутых чужой земли,
Если хочешь ты лелеять
В синем море корабли?
Что же страхом ты усеял
Нашу долю? для чего
По ковыль-траве развеял
Радость сердца моего?»

В Путивле плачет Ярославна,
Зарей, на городской стене:

«Днепр мой славный! ты волнами
Скалы половцев пробил;
Святослав с богатырями
По тебе свой бег стремил, —
Не волнуй же, Днепр широкий,
Быстрый ток студеных вод,

Ими князь мой черноокий
В Русь святую поплывет».

В Путивле плачет Ярославна,
Зарей, на городской стене:

«О река! отдай мне друга —
На волнах его лелей,
Чтобы грустная подруга
Обняла его скорей;
Чтоб я боле не видала
Вещих ужасов во сне,
Чтоб я слез к нему не слала
Синим морем на заре».

В Путивле плачет Ярославна,
Зарей, на городской стене:

«Солнце, солнце, ты сияешь
Всем прекрасно и светло!
В знойном поле что сжигаешь
Войско друга моего?
Жажда луки с тетивáми
Иссушила в их руках,
И печаль колчан с стрелами
Заложила на плечах».

И тихо в терем Ярославна
Уходит с городской стены.

11 октября 1825

МОЛОДАЯ УЗНИЦА

В полях блестящий серп зеленых нив не жнет;
Янтарный виноград, в ту пору, как цветет,
Не должен хищных рук бояться;
А я лишь началá, красуясь, расцветать...
И пусть мне суждено слез много проливать,
Я с жизнью не хочу расстаться.

Смотри, мудрец, на смерть с холодною душой!
Я плачу, и молюсь, и жду, чтоб надо мной
Сквозь тучи звезды проглянули.
Есть дни ненастные, но красен божий свет;
Не каждый сот душист; такого моря нет,
Где б ветры бурные не дули.

Надежда светлая и в доле роковой
Тревожит грудь мою пленительной мечтой,
Как ни мрачна моя темница.
Так вдруг, освободясь от пагубных сетей,
В поля небесные счастливее, быстрей
Летит дубравная певица.

Мне рано умирать: покой дарит мне ночь,
Покой приносит день, его не гонят прочь
Ни страх, ни совести укоры.
И здесь у всех привет встречаю я в очах,
Улыбку милую на пасмурных челах
Всегда мои встречают взоры.

Прекрасный, дальний путь еще мне предстоит,
И даль, в которую невольно всё манит,
Передо мной лишь развернулась;
На радостном пиру у жизни молодой
Устами жадными до чаши круговой
Я только-только что коснулась.

Я видела весну; хочу я испытать
Палящий лета зной, и с солнцем довершать
Теченье жизни я желаю.
Лилея чистая, краса родных полей,
Я только видела блеск утренних огней;
Зари вечерней ожидаю.

О смерть, не тронь меня! Пусть в мраке гробовом
Злодеи бледные с отчаяньем, стыдом
От бедствий думают скрываться;
Меня ж, невинную, ждет радость на земли,
И песни нежные, и поцелуй любви:
Я с жизнью не хочу расстаться.

Так в узах я слыхал, сам смерти обречен,
Прелестной узницы и жалобы и стон, —
И думы сердце волновали.
Я с лирой соглашал печальный голос мой,
И стон и жалобы страдалицы младой
Невольно струны повторяли.

И лира сладкая, подруга тяжких дней,
Быть может, спрашивать об узнице моей
Заставит песнию своею.
О! знайте ж: радости пленительней она;
И так же, как и ей, конечно, смерть страшна
Тому, кто жизнь проводит с нею.

<1826>

РАЗОРЕНИЕ РИМА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА

А. И. Тургеневу

Из мрачных северных лесов,
С восточных дальних берегов,
Сыны отваги и свободы,
Стремятся дикие народы
С двойной секирою, пешком,
В звериной коже, с булавами,
И на конях с копьем, с стрелами,
И череп вражий за седлом.
Дошли; рассыпались удары,
Клубится дым, горят пожары,
Стон тяжкий битвы заглушал,
И Рим, колосс державный, пал;
Порочный пал он, жертва мщенья, —
И шумно ветры разнесли
Ужасный гром его паденья
В концы испуганной земли.
Но туча грозная народов
С небесным гневом пронеслась,
И пыль от буйных переходов
В полях кровавых улеглась.

Навеки мертвое молчанье
Сменило вопли и стенанье.
Уже паденья страшный гул
В пустыне горестной уснул;
В тумане зарево не рдеет,
И черный дым уже редеет;
Яснеет мгла; с печальных мест
Вдали стал виден светлый крест.
Другие люди, вера, нравы,
Иной язык, права, уставы,
Чистейший мир, рожденный им,
Явился вдруг чудесно с ним, —
И проповедники святые
На пепелища роковые
Пришли с Евангельем в руках,
И меж развалин на могилы
Воссели, полны тайной силы;
Горела истина в очах;
Глас тихий, скорбных утешитель,
Небесной воли возвеститель,
Вселенной жизнь другую дал;
Так их божественный учитель
По вере мертвых воскрешал.

<1826>

НОВЫЕ СТАНСЫ

Прости! уж полночь; над луною,
Ты видишь, облако летит;
Оно туманной пеленою
Сиянье нежное мрачит.

Я мчуся вдаль, мой парус веет,
Шумит разлучница волна, —
Едва ли прежде прояснеет
На своде пасмурном луна.

И я, как облако густое,
Тебя, луна моя, затмил;

Я горем сердце молодое
И взор веселый омрачил.

Твой цвет, и радостный и нежный,
Моей любовью опален;
Свободна ты, — мой жар мятежный
Забудь скорей, как страшный сон!

Не увлекись молвою шумной!
Убило светлые мечты
Не то, что я любил безумно,
Но что не так любила ты.

Прости — не плачь! уже редеет
Туман пред ясною луной,
Взыграло море, парус веет —
И я в челнок бросаюсь мой.

<1826>

ВЕНГЕРСКИЙ ЛЕС

Баллада

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Как сердцу сладостно любить
Тебя, мой друг прелестный,
И здесь, в лесу дремучем, жить
С тобой — в тиши безвестной!
Как ни красён наш Киев-град
С его Днепром-рекою,
Но я, мой друг, скитаться рад
В степях один с тобою;
С тобой любовь везде манит,
Повсюду радость встретит,
Ярчее солнышко горит,
Яснее месяц светит.

Покинул я, пленен твоей
Девичьей красотою,
Край милый родины моей
С приветливой семьею;

Я бросил шум кровавых сеч,
    И славу жизни ратной,
И верного коня, и меч,
    И шлем, и щит булатный,
И стрелы меткие мои,
    И почести княжие
За кудри русые твои,
    За очи голубые.

Но то волнует дух тоской,
    Что ты, родясь княжною,
Простилась с негой золотой,
    Простясь с родной страною.
Ах! прежде в тереме своем
    Ты жизнью лишь играла;
Теперь под бедным шалашом
    Кручину здесь узнала.
Бывало, в струны душу льешь,
    Их звоном всех пленяешь;
Теперь волну и лен прядешь,
    И хрупкий лист сбираешь.

И, жертвой гневного отца,
    В чужбине, в тяжкой доле,
Ты здесь подругой беглеца,
    Ты здесь не можешь боле
Себя, как прежде, наряжать
    Узорчатой парчою
И грудь прелестную скрывать
    Под дымчатой фатою.
Не для тебя, мой милый друг,
    И шелк, и бархат нежный;
Не вьется радужный жемчуг
    Вкруг шеи белоснежной».

— «О милый, милый! для чего,
    Крушась моей судьбою,
Ты ясность сердца моего
    Мрачишь своей тоскою?
Увяла б в светлых теремах
    Моя без цвета младость;

А здесь с тобой, в чужих лесах,
Нашла любовь и радость;
И ты любил не жемчуги,
Не камни дорогие,
А кудри русые мои
И очи голубые».

Так на дунайских берегах,
От родины далеко,
В дремучих Венгрии лесах,
Гоним судьбой жестокой,
Скитался витязь молодой
С подругою прекрасной, —
И дал край дикий и чужой
Приют им безопасный.
Вотще разгневанный отец
Погони посылает;
Их сочетал святый венец;
Их темный лес скрывает.

Остан забыл, узнав ее,
И славу, и свободу;
Он ею жил, он за нее
Прошел бы огнь и воду;
Ах! за нее в борьбе с судьбой
На что он не решится?
Он с ней пылающей душой
К прекрасному стремится.
Она отрадою в бедах,
Всех чувств и дум виною,
Его надеждой в небесах
И радостью земною.

И, чувством счастлива своим,
В восторгах сердца тая,
Веледа в бедной доле с ним
Нашла утехи рая;
Но что-то мрачное порой
Останов дух смущает,
И что-то дивною тоской
Взор ясный затмевает;

Какой-то думой угнетен,
Таится он от милой
И будто гонит грозный сон
Из памяти унылой.

И тайный страх расстаться с ней
Невольно в грудь теснится;
Он ловит звук ее речей,
Глядит — не наглядится,
И грусть свою, и тайный страх
В молчаньи скрыв тяжелом,
С слезами часто на глазах,
Твердит ей о веселом;
То вдруг задумчивый вздохнет,
То вдруг с улыбкой взглянет;
Но сердце сердцу весть дает;
И кто любовь обманет?

Печалью друга день и ночь
Веледа волновалась;
Всё усладить, всему помочь
Надежда ей мечталась.
Как бури сердца отгадать
Безоблачной душою?
Остану можно ль тосковать,
Когда Остан со мною?
И мнила: как он ни таит
Тоски своей причину,
Любовь моя развеселит
Останову кручину.

Чуть в думы милый погружен, —
Она их разгоняет
Бесценной лаской тех имен,
Что сердце вымышляет, —
И блеск дает красе своей
Нарядами простыми,
И шелку золотых кудрей
Цветками полевыми.
Когда ж в приютный уголок
Уж темный вечер сходит,

Она, вздув яркий огонек,
Беседу с ним заводит.

И быль родимой старины
Рассказы оживляла;
Могучих прадедов войны
С их славой вспоминала,
Иль юной пленницы тоску,
И половцев набеги,
И Киев-град, и Днепр-реку,
И роскошь мирной неги;
То песни родины святой
Она ему певала;
То молча к груди молодой
Со вздохом прижимала.

Но с детской нежностью она
Как друга ни ласкает, —
Печалью всё душа полна,
Ничто не услаждает;
Напрасно всё, и с каждым днем
Его страшнее думы;
Сидит с нахмуренным челом,
Задумчивый, угрюмый;
О странном вдруг заговорит,
Бледнея, запинаясь;
Промолвит слово — и молчит,
Невольно содрогаясь.

И уж на ту, кем он пленен,
Едва возводит очи;
И в темном лесе бродит он
С зари до темной ночи.
Раз смерклось, а Остана нет, —
И бедная подруга,
В раздумье, подгорюнясь, ждет
Тоскующего друга, —
И вне себя Остан вбежал,
Пот градом, дыбом волос,
Взор дикий ужасом сверкал,
Дрожащий замер голос.

«Он здесь, он здесь!» — «Кто, милый, кто?»
  — «Он в ночь придет за мною,
Он мертвым пал; страшись его!»
  — «О, друг мой! что с тобою?»
— «Луна и кровь!» — «Чья, милый, чья?
  Ах! страшными мечтами
Почто измучил ты себя?
  Хранитель-ангел с нами!
Какая кровь? удары чьи?
  За что? скажи! какие?»
— «За кудри русые твои,
  За очи голубые!»

И что придумать, что начать
  С тех пор она не знала, —
Лишь только пресвятую мать
  За друга умоляла.
И на младых ее щеках
  Уже не рдеют розы;
Не видно радости в очах, —
  И льются, льются слезы.
Всё то, чем сердце билось в ней,
  Что душу оживляло,
Исчезло всё — и светлых дней
  Как будто не бывало.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Туманный небосклон яснел,
  Улегся вихрь летучий,
Лишь гром вдали еще гремел,
  И, рассекая тучи,
Вилася молния змеей;
  Дождь не шумел; пылает
Заря огнистой полосой,
  И блеск свой отражает
На темно-сизых облаках
  Румяною струею,
И тучи зыблются в волнах
  Багровою грядою.

Но вечер бурный догорел,
Лишь зарево алеет;
Уж бор зеленый потемнел,
Уж ночь прохладой веет;
Дыханье свежих ветерков
Несет с полей росистых
И нежный аромат цветов,
И запах трав душистых;
И по холмам уже горят
Огни сторожевые;
И скалы мшистые стоят,
Как призраки ночные.

Остан, давно забытый сном
И мучимый тоскою,
Сидел на берегу крутом
С подругой молодою;
Невольно всё его страшит,
Всё в ужас дух приводит;
На свод небес она глядит,
Он вдаль, где сумрак бродит;
И будто тайны вещий глас
Ему напоминает,
Что к сердцу он в последний раз
Веледу прижимает.

Но вот и полночь уж близка,
Сгустился мрак в долинах,
В дремоте катится река,
Сон мертвый на равнинах, —
Лишь там далеко за рекой
Зарница всё мелькает,
Лишь тихий шорох чуть порой
По рощам пробегает.
Но вот блеснул сребристый луч,
Проник и в лес, и в волны, —
И над дубравой из-за туч
Выходит месяц полный.

«О месяц, месяц, не свети!
Померкни, месяц ясный!»

— «Зачем же меркнуть? друг, взгляни,
Как, светлый и прекрасный,
Теперь спешит он разгонять
Мрак ночи и туманы
И блеск таинственный бросать
На сонные поляны!
Взгляни, как он с высот небес
В струях реки играет,
И нивы мирные, и лес,
И дол осеребряет!»

— «Ты помнишь ночь, как ты со мной
Из терема бежала?
Он так светил!» — «О милый мой!
И я о том мечтала.
Я помню: он тогда сиял
Так радостно над нами,
И путь к венцу нам озарял
Блестящими лучами».
— «Творец, ты знаешь всё!.. Прости!..
Увы! в тот час ужасный!..
О месяц, месяц, не свети!
Померкни, месяц ясный!»

И кинул он потухший взор
С утесистой стремнины
На светлую реку, на бор,
На тихие долины!
Но не красу их очи зрят;
В нем чувства дух смущают:
Там звуки чудные страшат,
Тут призраки летают,
То с тяжким стоном и глухим
Волна ночная плещет,
То меч кровавый перед ним
В дыму прозрачном блещет.

Нет, нет! Остан не победит
Души своей тревоги, —
Встает, с Веледою спешит
Скорей под кров убогий;

Идут, поля в глубоком сне,
Ничто не колыхнется,
Лишь гул шагов их в тишине
За ними вслед несется;
Глухая полночь; всё вокруг
При месяце яснеет;
Чета проходит лес... и вдруг
От страха цепенеет.

Неведомый в глуши лесной
Пришлец их ожидает;
Но мрачный лик под пеленой
От них пришлец скрывает;
И в свете лунном пелена
Белеет гробовая,
И кровь струей на ней видна,
Знать, тайно пролитая;
И пред четою он стоял
Недвижен и безмолвный;
Остану только указал
Рукой на месяц полный.

И тот, как громом поражен,
Хотел бы в землю скрыться;
Не мог обнять Веледы он,
Не мог перекреститься;
А что ж с Веледой? Ах! Она
К Остану припадает;
Душа в ней ужасом полна;
В ней сердце замирает;
Но страждет друг, — и страсть сильней;
Прочь ужас, прочь смятенье!
Веледа робкая смелей
Глядит на привиденье:

«О! кто же ты, пришлец ночной,
Могилы хладной житель?
Как расступилась над тобой
Подземная обитель?
Что к нам могло тебя привесть?
Что страждущих тревожишь?

Откуда ты? какую весть
Загробную приносишь?»
На те слова главой оно
Задумчиво качнуло —
Пошевелилось полотно, —
Под полотном вздохнуло, —

И томный голос пророптал,
В слух тихо проникая:
«Мой час настал, мой цвет увял;
Я жертва гробовая!
Но если кто перекрестит
Меня тремя крестами, —
Опять, приняв мой прежний вид,
Предстану я пред вами».
И вдруг чудесная далась
Тогда Веледе сила, —
И мертвеца вот в первый раз
Она перекрестила, —

И взвыл мертвец, — и в дым густой
Облекся весь, и рделся,
Как уголь красный; кровь струей, —
И саван загорелся.
Крестит в другой раз, — пелена
Спадает, блещут очи,
Как два блуждающих огня
Во тме осенней ночи;
И смерть лицо его мрачит;
Уж страх владеет ею,
Чуть дышит; в третий раз крестит —
И брат родной пред нею:

«Извед! Извед! родной мой брат!
О детства спутник милый,
Останов друг! увы! ты взят
Безвременной могилой».
И взор мертвец палящий свой
На витязя бросает:
«Остан — твой муж — убийца мой, —
Веледе он вещает, —

И знает то одна луна
  С днепровскими волнами;
Но кровь Изведова страшна, —
  И божий суд над нами!»

И что с преступником сбылось,
  То в мраке ночь сокрыла;
Следов жилища не нашлось,
  Явилась вдруг могила. —
И страшная о лесе том
  Молва везде несется;
И голос дровосека в нем
  С тех пор не раздается.
И как вечерний час пробьет
  И в сумрак бор оденет,
Ни пеший мимо не пройдет,
  Ни конный не проедет!

Когда ж повсюду тишина
  И мертвое молчанье
И полуночная луна
  Льет томное сиянье,
Из тесной кельи гробовой
  Тень бледная выходит
И грустно, в час урочный свой,
  В лесу дремучем бродит,
Луны в мерцающих лучах
  Под соснами мелькает, —
И вой могильный на скалах
  Протяжно умирает.

И с тех же пор, в лесной глуши,
  В пещере, близ Дуная,
Жить начала в святой тиши
  Отшельница младая.
И там пред ранней ли зарей
  Чуть брезжит над холмами,
Иль свод небес в красе ночной
  Усеян весь звездами, —
Она в молитве и в слезах
  И пламенной душою

Летит к тому, кто в небесах
Отцом нам и судьею.

В пещере той пять целых лет
Отшельница молилась;
Но раз ее в пещере нет;
Куда, не знают, скрылась...
Лишь слух прошел по деревням, —
Соседи прибежали,
Пошли за нею по следам,
Искали, не сыскали;
Пришли и в лес, как ни страшна
Останова могила, —
И на могиле той она
Жизнь юную сложила.

И в вечном сне она цвела, —
Те ж прелести младые,
И к небу очи подняла,
Как небо голубые,
И кудри русые волной,
Развившися, лежали
И грудь невинную собой
Стыдливо одевали;
Вся в белых розах; на устах
С улыбкою небесной;
И крест сияющий в руках,
Кем данный, неизвестно.

И был тот день благих небес
С виновным примиренья.
Уж не страшит дремучий лес;
Уж нет там привиденья;
Опять, как прежде, всё цветет;
Стал весел бор унылый,
И сладко соловей поет
Над тихою могилой;
И звезды только что блеснут
Приветными огнями, —
Девицы сельские идут
К ней с свежими цветами.

1826—1827

К ФИЛОНУ

О! если в мир зазвездный тот,
Что над подлунною землею,
Душа навек перенесет
Любовь чистейшую с собою;
Когда и там сердца горят
И прежних чувств не забывают,
И очи то же, так же зрят,
Но только слез не проливают, —
Приветствуем тогда мы вас,
Непостижимые селения,
Тогда и страшный смерти час
Страдальцу часом услаждения.—
Свергая бремя жизни в прах,
Летим с надеждою сердечной,
Что исчезает скорби страх
В сияньях благости превечной.

Когда в пределах вечной тмы
Стопою робкой приступаем,
То по себе ль тоскуем мы,
Слезящий взор назад бросаем, —
Не смерть, разлука нам страшна —
Одной лишь ею дух мятется,
И связь сердец не прервана,
Хотя цепь жизни уже рвется.
Пребудем с верою святой,
Что прежних чувств мы не забудем
И с кем делимся здесь душой,
И там душой делиться будем;
Что, вод бессмертия испив,
И благостью всещедрой силы
Мы, сердце с сердцем съединив,
И там друг другу будем милы.

<1827>

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

Т. С. Вдмрв-ой

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом,
И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!

Уже не зреть мне светлых дней
Весны обманчивой моей!
И сколько нет теперь в живых
Тогда веселых, молодых!
И крепок их могильный сон;
Не слышен им вечерний звон.

Лежать и мне в земле сырой!
Напев унывный надо мной
В долине ветер разнесет;
Другой певец по ней пройдет,
И уж не я, а будет он
В раздумье петь вечерний звон!

<1827>

* * *

Графине З. И. Лепцельтерн

Над темным заливом, вдоль звучных зыбей
Венеции, моря царицы,
Пловец полуночный в гондоле своей
С вечерней зари до денницы
Рулем беззаботным небрежно сечет
Ленивую влагу ночную;
Поет он Ринальда, Танкреда поет,
Поет Эрминию младую;
Поет он по сердцу, сует удален,
Чужого суда не страшится,
И, песней любимой невольно пленен,
Над бездною весело мчится.

И я петь люблю про себя, в тишине,
Безвестные песни мечтаю,
Пою, и как будто отраднее мне,
Я горе мое забываю,
Как ветер ни гонит мой бедный челнок
Пучиною жизни мятежной,
Где я так уныло и так одинок
Скитаюсь во тме безнадежной...

<1827>

ОБВОРОЖЕНИЕ

Князю П. А. Вяземскому

Ночь. Манфред один. Тень в виде молодой прекрасной женщины поет:

Когда луна сребрит поток,
И червь, светясь, в траве трепещет,
И на кладбище огонек,
А влажный пар в болотах блещет;
Когда вой сов тревожит лес,
И звезды падают с небес,
И ветерок в унылой тме
Меж листьев дремлет на холме, —
В тот час и с властью и с клеймом
На сердце лягу я твоем.

Сон крепкий очи и сомкнет,
Но дух твой смутный не уснет.
Есть тени — им не исчезать,
Есть думы — их не отогнать.
В твоей написано судьбе,
Чтоб одному не быть тебе.
Как бы одет в туман густой,
Как обвит в саван гробовой,
Так будешь жить обворожен,
Безвестной власти покорен.

Хоть невидимкой буду я,
Твой взор почувствует меня,

Как то, что прежнею порой
И было, и опять с тобой;
И, в тайном ужасе твоем
Когда посмотришь ты кругом, —
Ты удивишься, что уж я
Пропала, как и тень твоя;
И будешь ты от всех таить,
Под чьею властью должен жить.

Волшебным словом ты клеймен,
В купель проклятья погружен;
Эфирный дух тебя схватил,
Тебя он сетью окружил.
И голос есть у ветерка,
И веет с ним к тебе тоска.
Спокойной ночи тишина
Тебе в отраду не дана,
А днем есть солнце над тобой,
Еще страшнее тмы ночной.

Из слез твоих мной извлечен
Сок страшный, — смерть вливает он;
В нем та кровь черная твоя,
Что в черном сердце у тебя;
С улыбки сорвана твоей
Змея, клубящаяся в ней;
И чары взяты с уст твоих, —
Отрава вся таилась в них.
Теперь на деле видно мне,
Что яд сильнейший был в тебе.

За мрачный дух твоих коварств,
За бездны тайные лукавств,
За кротость ложную очей,
Змею-улыбку, яд речей,
За дар твой дивный убедить,
Что с сердцем ты, что мог любить,
За твой к чужим страданьям хлад,
За то, что Каину ты брат, —
Ты властью обречен моей
Носить твой ад в душе твоей.

Фиал в руках, — уже я лью
Проклятье на главу твою;
И ты покоя не найдешь,
И не уснешь, и не умрешь,
И смерти будешь ты желать,
Страшась всечасно умирать;
Но вот уж ты обворожен,
Незвучной цепью окружен;
И сердцем и умом страдай.
Свершились чары. Увядай!

<1827>

БЕССОННИЦА

В часы отрадной тишины
Не знают сна печальны очи;
И призрак милой старины
Теснится в грудь со мраком ночи;

И живы в памяти моей
Веселье, слезы юных дней,
Вся прелесть, ложь любовных снов,
И тайных встреч, и нежных слов,
И те красы, которых цвет
Убит грозой — и здесь уж нет!
И сколько радостных сердец
Блаженству видели конец!

Так прежнее ночной порою
　　Мою волнует грудь,
И думы, сжатые тоскою,
　　Мешают мне уснуть.
Смотрю ли вдаль — одни печали;
Смотрю ль кругом — моих друзей,
Как желтый лист осенних дней,
Метели бурные умчали.

Мне мнится: с пасмурным челом
Хожу в покое я пустом,

В котором прежде я бывал,
Где я веселый пировал;
Но уж огни погашены,
Гирлянды сняты со стены,
Давно разъехались друзья,
И в нем один остался я.

И прежнее ночной порою
Мою волнует грудь,
И думы, сжатые тоскою,
Мешают мне уснуть!

22 января 1827

НОЧЬ В ЗАМКЕ ЛАРЫ

Настала ночь. Небесный свод в звездах
Изображен в серебряных волнах;
Едва струясь, прозрачные бегут,
И навсегда, как радость, утекут.
Бессмертные огни с родных высот
Красуются в стекле волшебных вод.
Приманчив вид тенистых берегов,
И нет для пчел прелестнее цветов;
Могла б в венке Диана их носить;
Могла б любви невинность подарить.
Меж них реки игривая струя
Бежит, блестит и вьется, как змея.
Всё так светло, такая тишина,
Хоть дух явись — с ним встреча не страшна.
Как быть вреду? Бродить не станет злой
В таких садах, в такой красе ночной.
Подобный час для добрых сотворен.
Так Лара мнил, и в замок молча он
Идет скорей: ему прекрасный вид
О прежних днях невольно говорит,
О той стране, где свод небес ясней,
Светлей луна, ночь тихая милей,
О тех сердцах... Нет, нет: шуми над ним,
Бушуй, гроза! Он, дерзкий, нещадим,

Душою тверд, но, светлая красой,
Такая ночь смеется над душой.

Вступил он в зал, весь полный тишины;
Тень длинная мелькнула вдоль стены;
Портреты там людей минувших лет,
Доброт, злодейств, других остатков нет;
Преданий дым и темный свод, где прах
С пороками, грехами спит в гробах,
Полустолбцы, ведущие до нас
Из века в век сомнительный рассказ,
Укор, хвалу — вот всё, и чем древней
Тех хартий ложь, тем с правдою сходней.
Там ходит он и смотрит, а луна
В готическом отверстии окна
Видна ему, и блеск бежит струей
На пол из плит, на потолок с резьбой,
И образа на стеклах расписных
Молящихся угодников святых
В таинственных видениях луной
Оживлены, но жизнью неземной.
Кудрей густых цвет черный, мрак чела
И зыбкий склон широкого пера
Дают ему весь ужас мертвецов,
Всё страшное, всё тайное гробов.

Уж полночь бьет; лампада чуть горит;
Ей будто жаль, что тма при ней бежит.
Все спят — но чу!.. у Лары слышен клик,
И звук, и стон, и вопль, и страшный крик;
Ужасный громкий крик — и смолкнул он...
Чей ярый вопль так дико рушит сон?
Вскочили все, бодрятся и дрожат,
И помощь дать на зов к нему летят,
Кой-как мечи схватили второпях,
И факелы не все горят в руках.

Хладнее плит лежит он недвижим,
Бледней луны, играющей над ним,
И брошен меч, почти уж не в ножнах;
Сверх сил людских, знать, был сей дивный страх;

Но он был тверд. Строптивый мрачный лик
Грызет вражда, хоть ужас в грудь проник.
Лежит без чувств; но могут ли таить
Его уста желание убить!
Угроза в них с роптаньем замерла
Иль гордости отчаянной хула;
Полусмежась, глаза его хранят
В их мутной тме бойца суровый взгляд;
И этот взгляд, заметный часто в нем,
Оцепенел в покое роковом.
Очнулся — вот... он дышит, говорит;
Багровый цвет в щеках темно горит;
Красней уста; он взор кругом водил,
И тускл, и дик, и с дрожью приходил
Опять в себя. Но он не на своем
Заговорил наречии родном;
Звук слов мудрен; одно понять могли,
Что звуки те — язык чужой земли.
И было так; но та, с кем говорит...
Ах, нет ее — к ней речь не долетит!

Подходит паж; он странный смысл речей
Как будто знал; но из его очей,
Из бледных щек нетрудно угадать,
Что тайну слов один не мог сказать,
Другой открыть. Казалось, будто он
Тем, что сбылось, почти не удивлен;
Склонясь к нему, на языке чужом
Он отвечал, быть может, на своем;
А тот внимал, как нежно паж младой
Гнал мрак с души, встревоженной мечтой.
Но был ли он грозой повержен в страх?
Ему ль беда страшна в одних мечтах!

В бреду ль он был иль вправду что узрел,
Забыл иль нет; но тайну он умел
На сердце взять; и с новою зарей
Опять он бодр и телом, и душой;
Духовника не по́звал, ни врачей,
Не изменил осанки и речей;
В урочный час, как прежде, всё пошло;
Не веселей, не пасмурней чело;

Всё тот же он; и если разлюбил
Ночную тень, равно он утаил
То от рабов, которых трепет, взгляд
О диве их, об ужасе твердят.
Они с тех пор бледнее и вдвоем,
Минуя зал, проходят через дом:
Зыбучий флаг, пол звучный, скрип дверей,
Обоев шум, и ветра в тме ночей
Унывный вой, и мышь ли пролетит,
Густая ль тень лип темных задрожит —
Всё страшно им, когда печальной мглой
Вдоль диких стен обляжет мрак ночной.

7 февраля 1827

* * *

Давно, прелестная графиня,
Давно уж я в долгу у вас;
Но песнопения богиня —
Поверьте мне — не всякий раз
Летает с нами на Парнас.
Мне, право, с музами беседы
Труднее, чем для вас победы!
Вам стоит бросить взгляд один —
И тьма поклонников явится,
Унынье в радость превратится,
И сам Киприды резвый сын
Опустит крылья, усмирится
И, коль угодно, согласится
По свету больше не порхать,
Чтоб только с вами обитать!

Соединя все дарованья,
Вы вместе все очарованья
В себе умели съединить.
Хотите ль нас обворожить
Прелестным даром Терпсихоры,
Летая легким ветерком, —
Отвсюду к вам сердца и взоры
Летят и явно, и тайком;
Или, победы в довершенье,
Раздастся сладостное пенье,

Как нежны трели соловья, —
Ваш голос в душу проникает,
Мечты минувши обновляет,
И скорбь, и радость бытия.

Мне, право, с музами беседы
Труднее, чем для вас победы!
Поэт с унылою душой,
Бездомный странник в здешнем мире,
Почтит ли вас своей хвалой
На дремлющей забвенной лире!
Примите ж в слабых сих словах
Усердье, вместо вдохновенья,
И дань душевного почтенья
В не лестных, истинных стихах.

<1828>

ПОДРАЖАНИЕ СОНЕТУ МИЦКЕВИЧА

Увы! несчастлив тот, кто любит безнадежно;
Несчастнее его, кто создан не любить,
Но жизнь тому страшней, в чьем сердце пламень нежный
Погас — и кто любви не может позабыть!

На взоры наглые торгующих собой
С презреньем смотрит он, живет еще с мечтою,
Но в чистом ангеле невинность с красотой, —
Как сметь ему любить с увядшею душою!

Святое дней младых волнует дух доныне,
Но память и о них страстьми отравлена,
С надеждою навек душа разлучена,
От смертной прочь спешит и сам нейдет к богине.

В нем сердце как в степи давно забытый храм,
На жертву преданный и тленью, и грозам,
В котором мрачно всё, лишь ветр пустынный веет,
Жить боги не хотят, а человек не смеет.

<1828>

ЗАРЯ ПОГАСЛА

Заря погасла; ветерки
В поляне дуют меж кустами,
Срывают ландыш, васильки —
И вместе с алыми цветами,
Подобно пестрым мотылькам,
Кружа, разносят по лугам.
Так изумруды, аметисты,
Жемчуг и яхонты огнисты
Небрежно резвою рукой
С лилейных пальцев, в час ночной
Ложася спать, полунагие,
Роняют девы молодые.

<1828>

БЕЗУМНАЯ

Романс

Меня жестокие бранят,
Меня безумной называют,
Спокойной, смирной быть велят,
Молиться богу заставляют.
О, здесь, далеко от своих...
Покой бежит очей моих;
В чужой, угрюмой стороне
Нет сил молиться богу мне!

Но будь я там, где Дон родной
Шумит знакомыми волнами,
Где терем отческий, простой
В тени таится под дубами,
Там стану я покоя ждать,
Там стану бога умолять,
Чтоб, сжалясь над тоской моей,
Он мне конец послал скорей.

О, как мне, бедной, не тужить!
Ты, радость, и меня манила;
И я сбиралась в свете жить,

Была мила ему, любила,
И в церковь божью вся в цветах
Пошла с румянцем на щеках;
И помню то, что с женихом
И я стояла под венцом.

Но гибнет радость навсегда;
К беде, к слезам я пробудилась, —
И ясная любви звезда
В кровавом облаке затмилась!
Сокрылся мой приветный свет,
Его ищу — его уж нет!
Ах, улетая, ангел мой,
Что не́ взял ты меня с собой!

<1828>

К МОРЮ

А. С. Пушкину

Отрада есть во тме лесов дремучих;
Восторг живет на диких берегах;
Гармония слышна в волнах кипучих,
И с морем есть беседа на скалах.
Мне ближний мил; но там, в моих мечтах,
Что я теперь, что был — позабываю;
Природу я душою обнимаю,
Она милей; постичь стремлюся я
Всё то, чему нет слов, но что таить нельзя.

Теки, шуми, о море голубое!
Несметный флот ничто твоим волнам;
И человек, губящий всё земное,
Где твой предел, уже страшится сам.
Восстанешь ты — и горе кораблям,
И бич земли, путь дерзкий означая
Бедой своей, как капля дождевая,
Идет на дно, где скрыт его и след, —
И он не в саване, не в гробе, не отпет.

Твои поля злодей не завоюет;
Твои стези не для его шагов;
Свободно ты: лишь бездна забушует,
И тот пропал, кто б сушу был готов
Поработить. Его до облаков,
Дрожащего, с презреньем ты бросаешь, —
И вдруг, резвясь, в пучину погружаешь;
И вопит он: где пристань! о гранит
Его ударишь ты — и век он там лежит.

Бросающий погибель и оковы,
Огонь и смерть из челюсти своей,
Рушитель сил, левиафан дубовый,
Гроза твердынь, народов и царей —
Игрушкою бунтующих зыбей,
И с тем, кто в нем надменно в бой летает,
Кто, бренный сам, владеть тобой мечтает;
Подернуло ты пеной бурных вод
Армаду гордую и Трафальгарский флот.

Предел держав, твой берег изменился:
Где Греция, и Рим, и Карфаген?
Свободный, он лишь волн твоих страшился;
Но, сильных раб и жертва перемен,
Пришельцев здесь, там диких носит плен;
Его везде неволя утомила
И сколько царств в пустыни иссушила!
Твоя лазурь, веков отбросив тень,
Всё та ж — млада, чиста, как в первобытный день.

Ты зеркалом Всесильному сияешь,
Он зрит в тебе при бурях образ свой.
Струишься ль ты, бунтуешь иль играешь,
Где твердый лед, и там, где пылкий зной,
Ты, океан, чудесен красотой,
Таинственный, бездонный, бесконечный!
Незримого престол, как небо вечный,
Времен, пространств заветный властелин,
Течешь ты, страшный всем, глубокий и один.

<1828>

ИРЛАНДСКАЯ МЕЛОДИЯ

Когда пробьет печальный час
Полночной тишины
И звезды трепетно горят,
Туман кругом луны, —

Тогда, задумчив и один,
Спешу я к роще той,
Где, милый друг, бывало, мы
Бродили в тме ночной.

О, если в тайной доле их
Возможность есть душам
Слетать из-за далеких звезд
К тоскующим друзьям, —

К знакомой роще ты слетишь
В полночной тишине
И дашь мне весть, что в небесах
Ты помнишь обо мне!

И, думой сердца увлечен,
Ту песню я пою,
Которой, друг, пленяла ты
Мечтательность мою.

Унылый голос ветерок
Разносит в чуткой тме,
В поляне веет, и назад
Несет его ко мне.

А я... я верю... томный звук
От родины святой —
На песнь любимую ответ
Души твоей младой.

<1828>

ПОРТУГАЛЬСКАЯ ПЕСНЯ

В кипеньи нежности сердечной
Ты *жизнью* друга назвала;
Привет бесценный, если б вечно
Живая молодость цвела.
К могиле всё летит стрелою;
И ты, меня лаская вновь,
Зови не *жизнью,* а *душою,*
Бессмертной, как моя любовь.

<1828>

К А. А. ОЛЕНИНОЙ
(ПРИ ПОСЫЛКЕ ЭЛЕГИИ К ТИРЗЕ)

Любви и жизни на расцвете
Вся прелесть радости земной
Тебя пленяет в шумном свете
Своею радужной мечтой;

И если звук волнений страстных
И сердца горестный напев
Встревожит мир долин прекрасных
И нежный хор блестящих дев, —

Не сетуй; но, услыша пенье
Разбитых бурею пловцов,
Благослови уединенье
Твоих Приютинских лесов!

<1828>

К ТИРЗЕ

А. А. Олениной

К чему вам, струны, радость петь?
Звучите мне тоской мятежной!
Как мне веселое терпеть?
Боюсь, не верю песни нежной.

Она любви пролетным сном
Звучит обманутой надеждой.
Как вспомнить, думать мне о том,
Что́ я теперь и что́ был прежде?

Чей голос в струны радость лил,
Той нет, — и нет очарованья!
Один напев теперь мне мил:
Надгробный стон и вопль страданья;
В нем отзыв наших вместе дней.
С тех пор, как ты уж прахом стала,
Нестройство для души моей
То, в чем гармония бывала.

Всё тихо; но и в тишине
Слух ловит песни незабвенной;
Невольно слышен голос мне,
Давно молчанью обреченный.
Смятенный дух тревожит он:
Засну ли — сонного пленяет;
Тоска ль отгонит дивный сон —
Напев с мечтой не улетает.

Мечтою Тирзу навсегда
Любви оставила могила.
В волнах дрожавшая звезда
Блеск нежный от земли склонила.
Но кто во мраке грозных туч
Проходит жизни путь ужасный,
Тот ищет всё звезды прекрасной,
Ему бросавшей светлый луч.

<1828>

К ТИРЗЕ

Решусь — пора освободиться
От мрачной горести моей,
Вздохнуть в последний раз, проститься
С любовью, с памятью твоей!

Забот и света я чуждался,
И не для них был создан я;
Теперь же с радостью расстался:
Каким бедам страшить меня?

Хочу пиров, хочу похмелья;
Бездушным в свете стану жить;
Со всеми рад делить веселья,
Ни с кем же горя не делить.
То ль было прежнею порою!
Но счастье жизни отнято:
Здесь в мире брошен я тобою,
Ничто уж ты — и всё ничто.

Улыбка — горю лишь угроза,
Из-под нее печаль видней:
Она — как на гробнице роза.
Мученье сжатое сильней.
Хоть меж друзей в беседе шумной
Невольно чаша оживит,
Весельем вспыхнет дух безумный,
Но сердце томное грустит.

Взойдет, бывало, месяц полный
Над кораблем в тиши ночной;
Он серебрит Эгейски волны, —
А я, к тебе стремясь душой,
Любил мечтать, что взор твой милый
Теперь пленяет та ж луна.
О Тирза! над твоей могилой
Тогда светила уж она.

В часы бессонные недуга,
Как яд кипел, волнуя кровь,
«Нет, — думал я, — страданьем друга
Уж не встревожится любовь!»
Ненужный дар тому свобода,
Кто в узах жертва дряхлых лет;
Хоть воскресит меня природа, —
К чему? — тебя в живых уж нет!

Когда любовь и жизнь так новы,
В те дни залог мне дан тобой:
Печали краской рок суровый
Мрачит его передо мной.
Навек той сердце охладело,
Кем было всё оживлено;
Мое без смерти онемело,
Но чувства мук не лишено.

Залог любви, печали вечной,
Прижмись, прижмись к груди моей;
Будь стражем верности сердечной
Иль сердце грустное убей!
В тоске не гаснет жар мятежный,
Горит за сенью гробовой,
И к мертвой пламень безнадежный
Святее, чем любовь к живой.

<1828>

ПРИ ГРОБНИЦЕ ЦЕЦИЛИИ М.

Гробница, я с жилицею твоей
Как бы знаком, и веет здесь над нами
Мелодия давно минувших дней;
Но звук ее, как вой под облаками
Далеких бурь с утихшими грозами,
Уныл и свят. На камень мшистый твой
Сажуся я. Мой дух опять мечтами
Смущен, горит, и снова предо мной
Весь ужас гибели, след бури роковой.

Но что ж, когда б из выброшенных прежде
И тлеющих обломков корабля
Я маленький челнок моей надежде
И мог собрать, и в грозные моря
Пуститься в нем, и слушать, как, шумя,

Волна там бьет, судьба где погубила
Что мило мне, — куда причалю я?
Исчезло всё, чем родина манила:
Приют, надежда, жизнь, — и там, как здесь,
могила.

<1828>

* * *

Не на земле ты обитаешь,
Любовь, незримый серафим;
Но верой мы к тебе горим,
И чье ты сердце сокрушаешь
Огнем томительным страстей,
Тот веры мученик твоей.
Но кто ты, что ты? Наше зренье
К тебе никак не долетит.
Тебя, любовь, воображенье
По тайной прихоти творит.
Так небеса мечтой любимой
Оно умеет населять,
И думам образы давать,
И пыл души неутолимой,
Усталой, сжатой и крушимой,
В ее порывах услаждать.

<1828>

ПЕСНЬ ПОПУГАЯ

Взгляни, взгляни, как роза расцветает
В тиши родной, стыдлива и нежна;
Чуть развилась, себя полускрывает,
Прелестней тем, чем менее видна.
Вот, обнажась, во всей красе блистает;
Вдруг, томная, не та уже она;
Не тот цветок, который, пышно рдея,
Был юношам и девам всех милее.

Навек, увы, навек от нас умчится
Пролетным днем цвет юности живой!

Зеленый май к долинам возвратится,
Но уж для нас не быть весны другой.
Срывай цветок скорей, пока не тмится
Меж близких туч час утра золотой;
Спеши любить в те дни невозвратимы,
Когда, любя, мы можем быть любимы!

<1828>

УТРО И ВЕЧЕР

В венце багровом солнце блещет,
Чуть светит робкая луна,
Фиалка под росой трепещет,
И роза юная томна.
Стоит Людмила у окна,
Златые локоны небрежно
Вкруг шеи вьются белоснежной.
Я на колена в тишине
Упал. Она сказала мне:
«Зачем так рано всё уныло,
Фиалка, и луна, и милый?»

Но день промчался; небосклон
Горит вечернею зарею,
И тихой, полною луною
Душистый луг осеребрен.
Росой фиалка освежилась;
Людмила у окна явилась;
Еще пышней ее наряд;
Еще светлей веселый взгляд, —
И на коленах я пред милой
Стою опять... стою унылый.
Грустил я раннею порой,
Грущу теперь во тме ночной.

<1828>

К АЛЬПАМ

Оплот неприступный гранитных хребтов.
В державном величьи с рожденья веков,
Неровные груды разбросанных гор,
Так дерзко под небом дивящие взор,
Приюты морозов и снежных громад,
Где буря грохочет, ревет водопад;
Крутые стремнины, где римский орел
Дивился, как Смелый по безднам прошел,
Вершины ужасной священной красы,
Примите меня вы за лоно грозы,
Высоко, далеко, в том мраке густом,
Где в тайной беседе душа с божеством!

<1828>

НОЧНОЙ ЕЗДОК

Баллада

«О конь мой борзый, ночь темна;
Холодный ветер в поле веет,
Горит кровавая луна,
Сосновый бор кругом чернеет!

Не знаю сам, но тайный страх
Уж третью ночь меня смущает;
Невольно слезы на очах,
Невольно сердце замирает.

Могу ль забыть: в последний раз
Едва со мной она простилась,
Как в белом тень прошла меж нас,
Звезда полночная скатилась.

Скачи, мой конь, лети скорей!
О, если к милой я домчуся, —
Тогда, клянусь, тогда я с ней
На миг один не разлучуся!»

И конь, как из лука стрела,
Летит, летит; вдали кладбище,
И тайна свято облегла
Мятежной жизни пепелище.

В кустах мерцает блеск огня,
Несется тихо звук унылый;
И путник бросился с коня...
Над свежею ее могилой.

<1828>

СОНЕТ СВЯТОЙ ТЕРЕЗЫ

Любовью дух кипит к тебе, спаситель мой,
Не радостных небес желаньем увлеченный,
Не ада мрачного огнями устрашенный
И не за бездны благ, мне данные тобой!

В тебе люблю тебя; с любовию святой
Гляжу, как на кресте сын божий, утомленный,
Висит измученный, висит окровавленный,
Как тяжко умирал пред буйною толпой!

И жар таинственный мне в сердце проникает;
Без рая светлого пленил бы ты меня;
Ты б страхом был моим без вечного огня!

Подобную любовь какая цель рождает?
Душа в любви к тебе надежд святых полна;
Но так же и без них любила бы она!

<1828>

И. Ф. БАЛК-ПОЛЕВУ

> Lorsque je sens le rézéda, je crois d'abord entendre un son, puis il me semble voir une forme. [1]

Друг, ты прав: хотя порой,
Достигая бед забвенья,
Мы, в груди стеснив волненья,
Дремлем томною душой,
Невзначай в мечте воздушной
Отзыв прежнего слетит,
И предмет нам равнодушный
Память сердца воскресит.
Неожиданно, случайно
Потрясет душевной тайной
Летний вечер, звук, цветок,
Песня, месяц, ручеек,
Ветер, море — и тоскою
Всё опять отравлено;
Как бы молнийной струею
Снова сердце прожжено.

И той тучи мы не знаем,
Вдруг откуда грянул гром;
Лишь томимся и страдаем;
Мрак и ужасы кругом:
Призрак страшный, неотступный
Образует в думе смутной
Холод дружбы, сон любви,
Ту, с кем радость погребли,
Всё, о чем мы тосковали,
Что любили, потеряли,
Чем был красен божий свет,
Всё, чего для нас уж нет.

<1828>

---

[1] Когда я ощущаю запах резеды, мне кажется, что я сначала слышу звук, а потом вижу форму (франц.). — *Ред.*

КРЫМСКИЕ СОНЕТЫ АДАМА МИЦКЕВИЧА

Переводы и подражания

Посвящено Мицкевичу от переводчика

АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ

В пространстве я плыву сухого океана;
Ныряя в зелени, тону в ее волнах;
Среди шумящих нив я зыблюся в цветах,
Минуя бережно багровый куст бурьяна.

Уж сумрак. Нет нигде тропинки, ни кургана;
Ищу моей ладье вожатую в звездах;
Вот облако блестит; заря на небесах...
О нет! — То светлый Днестр, — то лампа Аккермана.

Как тихо! постоим; далеко слышу я,
Как вьются журавли, в них сокол не вглядится;
Мне слышно — мотылек на травке шевелится,

И грудью скользкою в цветах ползет змея.
Жду голоса с Литвы — туда мой слух проникнет...
Но едем, — тихо всё — никто меня не кликнет.

МОРСКАЯ ТИШЬ НА ВЫСОТЕ ТАРКАНКУТА

Ласкаясь, ветерок меж лент над ставкой веет,
Пучина влажная играет и светлеет,
И волны тихие вздымаются порой,
Как перси нежные невесты молодой,
Которая во сне о радости мечтает,
Проснется — и опять, вздохнувши, засыпает.
На мачтах паруса висят, опущены,
Как бранная хоругвь, когда уж нет войны,

И, будто на цепях, корабль не шевелится;
Матрос покоится, а путник веселится.
О море! в глубине твоих спокойных вод,
Меж твари дышащей, страшилище живет;
Таясь на мрачном дне, оно под бурю дремлет,
Но грозно рамена из волн в тиши подъемлет.
О мысль! и у тебя в туманной глубине
Есть гидра тайная живых воспоминаний;
Она не в мятеже страстей или страданий, —
Но жало острое вонзает — в тишине.

ПЛАВАНИЕ

Сильнее шум — и волны всколыхались,
Морские чуда разыгрались,
Матрос по лестнице бежит,
Взбежал: «Скорей! готовьтесь, дети!»
И как паук повис меж сети,
Простерся — смотрит, сторожит.

Вдруг: «Ветер! ветер!» — закачался
Корабль и с удила сорвался;
Он, ринув, бездну возмутил,
И выю взнес, отваги полный,
Под крылья ветер захватил,
Летит под небом, топчет волны,
И пену размешал кругом,
И облака рассек челом.

Полетом мачты дух несется;
Воскликнул я на крик пловцов.
Мое воображенье вьется,
Как пряди зыбких парусов,
И на корабль я упадаю,
Моею грудью напираю;
Мне мнится, будто кораблю
Я грудью хода придаю,
И, руки вытянув невольно,
Я с ним лечу по глубине;
Легко, отрадно, любо мне;
Узнал, как птицей быть привольно.

БУРЯ

Корма затрещала, летят паруса,
Встревоженной хляби звучат голоса,
И солнце затмилось над бездной морскою
С последней надеждой, кровавой зарею.

Громада, бунтуя, ревет и кипит,
И волны бушуют, и ветер шумит,
И стон раздается зловещих насосов,
И вырвались верьви из рук у матросов.

Торжественно буря завыла; дымясь,
Из бездны кипучей гора поднялась,
И ангел-губитель по ярусам пены
В корабль уже входит, как ратник на стены.

Кто, силы утратив, без чувства падет;
Кто, руки ломая, свой жребий клянет;
Иной, полумертвый, о друге тоскует,
Другой молит бога, да гибель минует.

Младой иноземец безмолвно сидит,
И мнит он: «Тот счастлив, кто мертвым лежит;
И тот, кто умеет усердно молиться,
И тот, у кого еще есть с кем проститься».

ВИД ГОР ИЗ СТЕПЕЙ КОЗЛОВСКИХ

Пилигрим и Мирза

Пилигрим

Кто поднял волны ледяные
И кто из мерзлых облаков
Престолы отлил вековые
Для роя светлого духов?
Уж не обломки ли вселенной
Воздвигнуты стеной нетленной,

Чтоб караван ночных светил
С востока к нам не проходил?

Что за луна! взгляни, громада
Пылает, как пожар Царьграда!
Иль для миров, во тме ночной
Плывущих по морю природы,
Сам Алла мощною рукой
Так озарил небесны своды?

Мирза

Не вьется где орел, я там стремил мой бег,
Где царствует зима, свершил я путь далекий;
Там пьют в ее гнезде и реки и потоки;
Когда я там дышал — из уст клубился снег;
Там нет уж облаков, и хлад сковал метели;
Я видел спящий гром в туманной колыбели,
И над чалмой моей горела в небесах
Одна уже звезда, — и был то...

Пилигрим

Чатырдах![1]

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ДВОРЕЦ

В степи стоит уныл Гирея царский дом;
Там, где толпа пашей стремилась
С порогов пыль стирать челом,
Где гордость нежилась и где любовь таилась, —
На тех софах змея сверкает чешуей,
И скачет саранча по храмине пустой.

И плющ, меж стекол разноцветных,
Уж вьется на столбах заветных,
Прокравшись в узкое окно;
Уже он именем природы
К себе присвоил мрачны своды;

[1] Вершина Чатырдага, по закате солнца, от отраженных лучей, кажется несколько времени в пламени.

Могучей право отдано;
И тайной на стене рукою,
Как Валтазаровой порою,
Развалина начерчено.

Гарема вот фонтан. Еще бежит поныне
Из чаши мраморной струя жемчужных слез
И ропщет, томная, в пустыне;
Но слава, власть, любовь! — Ток времени унес
Мечтавших здесь гордиться вечно;
Он их унес скорей и влаги скоротечной.

БАХЧИСАРАЙ НОЧЬЮ

Молитва отошла, *джамид*[1] уже пустеет,
Утих *изана*[2] звук в безмолвии ночном,
Даль тмится, и заря вечерняя краснеет
Рубиновым лицом.

Сребристый царь ночей к наложнице прелестной
В эфирной тишине спешит на сладкий сон,
И вечною красой блестит гарем небесный,
Звездами освещен.

Меж ними облако одно, как лебедь сонный,
На тихом озере плывет во тме ночной;
Белеет грудь его на синеве бездонной,
В краях отлив златой.

Здесь дремлет минарет под тенью кипариса;
А там гранитных скал хребты омрачены:
Там непреклонные в диване у *Эвлиса*[3]
Чернеют сатаны.

Под мраком иногда вдруг молния родится,
И чрез туманный свод лазуревых небес
Она из края в край, внезапная, промчится
Как быстролёт *Фарес.*[4]

---

[1] *Джамид* — мечеть.
[2] *Изан* — молитва, которую поют муезины на минаретах.
[3] *Эвлис* — Люцифер.
[4] *Фарес* — славный бедуинский наездник.

ГРОБНИЦА ПОТОЦКОЙ

В стране прекрасных дней, меж пышными садами,
О роза нежная! тебя давно уж нет!
Минуты прежние! златыми мотыльками
Умчались; память их точила юный цвет.

Что ж Север так горит над Польшею любимой?
Зачем небесный свод так блещет там в звездах?
Иль взор твой пламенный, стремясь к стране родимой,
Огнистую стезю прожег на небесах?

О полька! я умру, как ты, — один, унылый;
Да бросит горсть земли мне милая рука!
В беседах над твоей приманчивой могилой
Меня пробудит звук родного языка.

И вещий будет петь красу твою младую,
И как ты отцвела в далекой стороне;
Увидит близ твоей могилу здесь чужую,
И в песни, может быть, помянет обо мне!

МОГИЛЫ ГАРЕМА

Мирза

Вы, недозрелыми кистьми
Из виноградника любви
На стол пророка обреченные,
Востока перлы драгоценные;
Давно ваш блеск покрыла мгла;
Гробница, раковина вечности,
От неги сладкой, от беспечности
Из моря счастья вас взяла.

Они под зàвесой забвения
Лишь над могильным их холмом,
Один в тиши уединения,
Дружины теней бунчуком,
Белеет столп с чалмою грустною,

И начертал рукой искусною
    На нем гяур их имена,
    Но уж и надпись чуть видна.

О вы, эдема розы нежные!
    Близ непорочных струй, в тени,
Застенчивые, безмятежные,
    Увяли рано ваши дни!

Теперь же взорами чужими
Гробниц нарушился покой;
Но ты простишь, пророк святой!
Здесь плакал он один над ними.

БАЙДАРЫ

По воле я пустил коня —
Скачу, — леса, долины, горы,
То вдруг, то розно встретя взоры,
Мелькают, гибнут вкруг меня
Быстрее волн; и меж видений
Я вне себя гоню, скачу:
Упиться вихрями явлений
И обезуметь я хочу.

Когда же конь мой опененный
Уже нейдет и саван свой
На мир усталый, омраченный
Накинет ночь, — глаз томный мой
Разгорячен, еще трепещет,
В нем призрак скал, лесов, долин,
Как в зеркале разбитом, блещет.

Земля уснула, я один
Не сплю и к морю прибегаю;
Стремится черный вздутый вал;
Склонив чело, пред ним я пал,
К нему я руки простираю,
И треснул вал над головой;
Теперь хаос владеет мной,

Я жду, чтоб, погружась в забвенье,
Как над пучиною ладья,
Так бы, кружась, и мысль моя
Могла исчезнуть на мгновенье.

АЛУШТА ДНЕМ

Гора отрясает мрак ночи ленивый;
И ранним намазом волнуются нивы;
И злато струями везде разлилось;
Лес темный склоняет густые вершины,
Как с четок калифов, гранаты, рубины
Он сыплет с кудрявых зеленых волос.

В цветах вся поляна; над ней мотыльками
Летучими воздух пестреет цветками;
Так радуги ясной сияет коса,
Алмазным наметом одев небеса;
Лишь взор опечален вдали саранчою,
Крылатый свой саван влекущей с собою.

Под диким утесом шумя в берегах,
Сердитое море кипит, напирает,
И в пене, как будто у тигра в очах,
Дневное светило пред бурей играет,
А в лоне лазурном далеких зыбей
Купаются флоты и рать лебедей.

АЛУШТА НОЧЬЮ

Свежеет ветерок, сменила зной прохлада,
На темный Чатырдаг падет миров лампада —
Разбилась, пурпур льет и гаснет. Черной мглой
Одеты гор хребты, в долине мрак глухой.

И путник слушает, блуждая, изумленный:
Сквозь сон журчит ручей меж томных берегов,

И веет аромат; от слуха утаенный,
Он сердцу говорит в мелодии цветов.

Невольно клонит сон под сенью тихой ночи...
Вдруг будит новый блеск: едва сомкнулись очи —
Потоки золота льет светлый метеор
На дол, на небеса, на ряд высоких гор.

Ты с одалискою Востока,
О ночь восточная! сходна:
Лаская нежно, и она
Лишь усыпит, но искрой ока
Огонь любви опять зажжен,
Опять бежит спокойный сон.

ЧАТЫРДАГ

Как музульманин, устрашенный
Твоей твердыни возвышенной,
Подошву днесь целую я.
Ты мачта Крыма-корабля,
Ты вечный минарет вселенной,
О наш великий Чатырдаг!
Ты над горами падишах.[1]

От дальних скал за облаками
Ты под небесными вратами,
Как страж эдема Гавриил,
Сидишь себе между светил,
Ногами попираешь тучи;
Твой плащ широкий — лес дремучий;
Из облак выткана чалма
И шита молнии струями.

Прольет ли солнце зной над нами
Иль осенит внезапна тьма,
И жатву саранча, а домы

---

[1] *Падишах* — титул турецкого султана.

Гиаур жжет, — ты невредим
Стоишь, недвижимо глухим;
Но землю, и людей, и громы
Ты подостлать себе возмог;
Стоишь, как драгоман созданья,
И лишь тому даешь вниманья,
Что говорит творенью бог.

ПИЛИГРИМ

Роскошные поля кругом меня лежат;
Играет надо мной луч радостной денницы;
Любовью дышат здесь пленительные лицы;
Но думы далеко к минувшему летят.

Напевом милым мне дубравы там шумят,
Байдары соловей, сальгирские девицы,
Огнистый ананас и яхонт шелковицы —
Твоих зеленых тундр, Литва, не заменят.

В краю прелестном я брожу с душой унылой:
Хоть всё меня манит, в тоске стремлюся к той,
Которую любил порою молодой.

Он отнят у меня, мой отчий край! Но милой
О друге всё твердит в родимой стороне:
Там жив мой след, — скажи, ты помнишь обо мне?

ДОРОГА НАД ПРОПАСТЬЮ В ЧУФУТ-КАЛЕ

Мирза

Теперь молитву сотвори;
Кинь повод, взор отвороти;
Ногам коня седок вверяет
Рассудок свой. — Как он идет
И оком бездну измеряет;

Едва скользит, колена гнет —
И вдруг, меж скал на край склоняся,
Повис, копытом уцепяся.

Но ты на бездну не взгляни;
Она как кладезь Ал-Каира;
Рукой над нею не махни,
Неокриленной для эфира,
И думать ты о ней страшись:
Как якорь дума — берегись!

Перуном он с ладьи стремится,
Но, дерзко брошенный меж волн,
В пучину опрокинет челн
И в дно морское не вонзится.

Пилигрим

А я сквозь трещину земли,
Я заглянул в нее...

Мирза

Скажи,
Что ж видел ты?

Пилигрим

Мои виденья,
Мирза! по смерти расскажу,
Но для живых я выраженья
В земных речах не нахожу.

ГОРА КИКИНЕИС

Мирза

Взгляни на пучину, в ней небо лежит:
То море, и ярко пучина блестит.
Убитая громом, не птица ль гора
Крыле распустила в той бездне сребра?

Сам радужный очерк тесней в небесах,
Чем мачтовых перьев на синих волнах.

И островом снежным под дикой скалой
Оделися степи лазури морской;
Но остров сей — туча, и черная мгла
Полмира объемлет с крутого чела.
Огнистую ленту ты видишь на нем?
То молния. — Едем, и первый с конем
Я кинусь, — а путник, смотри на меня,
И бич свой, и шпоры готовь для коня.
На край тот отважно и в конскую прыть
Чрез бездну нам должно с размаха вскочить.
Чалма ли заблещет на той стороне,
То я; не робея ты бросься ко мне;
Но если не узришь ее пред собой,
Знай: людям не ехать дорогою той.

РАЗВАЛИНЫ ЗАМКА В БАЛАКЛАВЕ

Краса Тавриды, ужас ханов,
Здесь замок был; теперь лежат
Обломков груды, и торчат,
Как череп неких великанов,
Приюты гадов и ужей
Иль, их презреннее, людей.

Взойдем на башню, — там заметны
Гербов остатки на стенах;
Ищу я надписи заветной
Иль имя храброго в боях;
Оно в пыли развалин хладных,
Как червь меж листьев виноградных.
Здесь грек на камне высекал;
В монголов часто генуэзец
Железо гибели бросал,

И Мекки набожный пришелец
Намаза песнь в тиши певал;
Теперь же ворон чернокрылый
Лишь облетает здесь могилы, —
Один на башне вестовой
Так черный флаг уныло веет,
Когда от язвы моровой
Страна прекрасная пустеет.

АЮ-ДАГ

Люблю я, опершись на скалу Аю-Дага,
Смотреть, как черных волн несется зыбкий строй.
Как пенится, кипит бунтующая влага,
То в радуги дробясь, то пылью снеговой;
И сушу рать китов, воюя, облегает;
Опять стремится в бег от влажных берегов,
И дань богатую в побеге оставляет:
Сребристых раковин, кораллов, жемчугов.

Так страсти пылкие, подъемляся грозою,
На сердце у тебя кипят, младой певец;
Но лютню ты берешь, — и вдруг всему конец.
Мятежные бегут, сменяясь тишиною,
И песни дивные роняют за собою:
Из них века плетут бессмертный твой венец.

<1828>

СОН РАТНИКА

Подкопы взорваны — и башни вековые
С их дерзкою луной погибель облегла;
Пресекла в ужасе удары боевые
Осенней ночи мгла.

И в поле тишина меж русскими полками;
У ружей сомкнутых дымилися костры,
Во тме бросая блеск багровыми струями
На белые шатры.

В раздумье я смотрел на пламень красноватый;
Мне раненых вдали был слышен тяжкий стон;
Но, битвой утомясь, под буркою косматой
Уснул — и вижу сон.

Мне снилось, что, простясь с военною тревогой,
От тех кровавых мест, где буйство протекло,
Поспешно я иду знакомою дорогой
В родимое село.

Мне церковь сельская видна с горы высокой
И Клязьмы светлый ток в тени ракит густых;
И слышу песнь жнецов, и в стаде лай далекой
Собак сторожевых.

Я к хижине сходил холмов с крутого ската,
Разлуки тайный страх надеждой веселя, —
И дряхлый мой отец, тотчас узнав солдата,
Вскочил без костыля.

В слезах моя жена мне кинулась на шею.
Мила, как в день венца, и сердцу и очам;
Малютки резвые бегут ко мне за нею;
Сосед пришел к друзьям.

«Клянусь, — я говорил, склонен на то родными, —
Теперь я к вам пришел на долгое житье!»
И дети обвили цветками полевыми
И штык мой и ружье.

Я милых обнимал... но пушка вестовая
Сон тихий прервала, и — в сечу мне лететь!
И к Варне понеслась дружина удалая...
Иль там мне умереть?

<1828>

СЕЛЬСКИЙ СУББОТНИЙ ВЕЧЕР В ШОТЛАНДИИ

Вольное подражание Р. Борнсу

Let not Ambition mock their useful toil,
Their homely joys, and destiny obscure;
Not Grandeur hear, with a disdainful smile,
The short and simple annals of the poor.

Gray[1]

Ал. Ан. В. . .к. вой

Была пора — луч ясный в ней сиял,
Я сердцем жил, я радостью дышал,
И жизнь моя играючи летела.
Те дни прошли; одета черной мглой,
В моих очах природа потемнела;
Кругом гроза; но ты была со мной,
Моя судьба душой твоей светлела;
Мне заменил твой дружеский привет
Обман надежд и блеск веселых лет;
Забылось всё. — Как пленники к неволе,
Привыкнул я к моей угрюмой доле;
Она — скажу ль — мне сделалась мила:
Меня с тобой она, мой друг, свела,
И, может быть, недаром мы узнали,
Как много есть прекрасного в печали!
Теперь с тобой надолго разлучен;
Но дружбою, но памятью твоею
Как воздухом душистым окружен;

---

[1] Пусть Честолюбие не насмехается над их полезным трудом, над их скромными радостями, незаметной судьбой, пусть Величие не внимает с презрительной улыбкой кратким и простым летописям жизни бедняков. *Грей* (англ.). — *Ред.*

Я чувствовать и думать не умею,
Чтоб чувств и дум с тобой не разделять.
Стеснен ли дух от мрачных впечатлений,
Горит ли он в порывах вдохновений —
Могу ль тебя, могу ль не вспоминать?
В уме моем ты мыслию высокой,
Ты в нежности и тайной, и глубокой
Душевных чувств, и ты ж в моих очах
Как яркая звезда на темных небесах.

Я ждал ее, я мчался к ней душою,
Я для нее сквозь слезы песни пел,
Я пел, — она... была уж не земною;
Звук томных струн, он к ней не долетел;
Тиха ее далекая могила;
Душа светла в надзвездной стороне;
Но сердце тех, кого она любила...
Святая тень! молися обо мне...

1

Ноябрь шумит; в полях метель и вьюга;
Ненастный день стал меркнуть за горой;
Уж отпряжен усталый бык от плуга,
И весь в пыли он тащится домой.
Поселянин скорей спешит с работы;
С неделею окончены заботы;
Его соха, и лом, и борона,
И сбруя вся в порядке убрана;
Он веселит свое воображенье,
Что радостно начнется воскресенье;
И чрез лесок в уютный домик свой
Идет к семье на отдых и покой.

2

И на холме, дубами осененный,
Уж видит он приют уединенный;
Уже детьми он шумно окружен —
Обнять отца бегут со всех сторон.

Приветен вид его родимой сени;
Манит к себе трескучий огонек;
Как чисто всё, плита и очажок!
Залепетав, сын младший на колени
К нему вскочил, и, с важностью скромна,
Подсела к ним радушная жена;
Кругом себя бросая взор веселый,
Покоен, рад, забыл он труд тяжелый.

3

Меж тем пошла забота у детей:
Кто прячет плуг, кто стадо загоняет;
Обдумав всё, один из них скорей
В соседнее местечко посылает
Тихонько весть — и Дженни к ним бежит,
Надежда их, уж девушка большая,
Мила, свежа, как роза полевая,
У ней в очах любовь так и горит.
Смеется мать, отец не наглядится;
Как рада их к груди она прижать,
И рада им наряд свой показать,
И деньгами готова поделиться:
У той швеи, к которой отдана,
Своим трудом достала их она.

4

Родные все друг о друге приветно
Хотят узнать; семейный сладкий час
Веселье мчит в беседах незаметно:
То спор, то смех, и каждый свой рассказ
О том, где был, что видел, начинает;
Один начнет, другой перебивает;
А муж с женой — с детей не сводят глаз,
И речь начать, и дать совет готовы.
Хозяйка-мать, взяв ножницы с иглой,
Из лоскутков малюткам шьет обновы;
Отец молчит, но, помня долг святой,
Уж занят он их будущей судьбой.

5

Что мать с отцом велят повиноваться,
Радушно жить и помнить божий страх,
От нужд искать убежища в трудах,
И день и ночь порочных дум чуждаться,
Правдиву быть на деле и в речах —
Он вкоренял от детства в их умах;
Он говорил: «К прекрасному дорога
У всех одна — творца о всем молить,
Не делать зла, добро всегда творить;
С тем будет бог, кто сердцем ищет бога».

6

Но кто стучит тихонько у ворот?
Дивятся все, а Дженни узнает;
Дрожит как лист, едва промолвит слово:
«То, верно, сын соседа городского;
Его отец в село к нам посылал,
И он меня чрез поле провожал».
В раздумье мать; как делу быть, не знает,
Глядит на дочь и молча замечает,
Как вдруг любовь зажглась в ее глазах
И вспыхнула румянцем на щеках;
И мать спросить у дочери робеет,
Кто новый гость; а та дохнуть не смеет.
Но страх прошел; ответ был не худой:
Не из бродяг сосед их молодой.

7

И юноша красивый, статный входит,
И взор родных на гостя устремлен,
И Дженни к ним, стыдясь, его подводит,
И любо ей, что дружно принят он.
С ним речь завел хозяин говорливый,
Каков посев, о стаде, о конях.
Надежды луч горит в младых сердцах;
Но милый гость застенчив: торопливый,

Не знает он, что делать, что сказать.
Смекнула всё догадливая мать:
Нет, видно, дочь себя не уронила;
Девичью спесь, как должно, сохранила.

8

Любовь, любовь! живой восторг сердец,
Твой чистый жар всем радостям венец.
Уже давно я, путник неизвестный,
Чрез скучный мир печально прохожу;
Но долг велит, и правду я скажу:
В долине слез отрадою небесной
Одна любовь; нет радости другой!
Вот наших дней минуты золотые:
Когда одни, вечернею порой,
Стыдливые, любовники младые,
В тени дерев, сидят рука с рукой;
Их взор горит весельем и тоской,
На их устах привет и ропот нежный;
А вкруг цветет шиповник белоснежный,
И тихо к ним склоняется кусток,
И веет им душистый ветерок.

9

И где же, где найдется тот несчастный,
Злодей без чувств, кто б Дженни изменил,
В холодный яд обманом превратил
Мечту души невинной и прекрасной!
Как нарушать святое на земли,
Любовь и мир доверчивой семьи!
Взгляните там — вот жертва обольщенья:
Она не ждет, не хочет утешенья;
Таясь от всех, уныла и бледна,
Во цвете лет рассудка лишена,
Как меж могил огни осенней ночи,
Так мрачные ее сверкают очи;
Рыдает мать, зачем она в живых;
Отец клянет позор власов седых...

10

Но ужин ждет — похлебка, дичь готовы,
Принесены творог и молоко,
Обычный дар любимой их коровы,
Да и сама она недалеко,
Пришла с двора — и голову с рогами
Просунула тихонько меж досками,
И сена клок заботливо жует.
Хозяйка-мать то сядет, то уйдет,
О юноше хлопочет прихотливо,
И сочный сыр пред ним уже стоит,
И пенится некупленное пиво;
Он хвалит всё, за всё благодарит,
Узнав о том с подробностью большою,
Как делан сыр хозяйкою самою
И что ему тогда лишь минет год,
Как желтый лен в полях цвести начнет.

11

Довольны все. От добрых слов вкуснее,
Уже дошел их ужин до конца,
И старец встал; кругом огня теснее
Садятся все, но тише и важнее,
И Библия покойного отца,
Бесценное наследство родовое,
Положена пред старцем на столе;
Он обнажил чело полвековое,
И волосы, рядами на челе
Приглажены к вискам его, белели;
И те стихи заметил он в псалмах,
Которые хотел, чтоб дети пели;
Потом сказал с слезами на очах:
«Помолимся подателю всех благ!»

12

Они поют. Сердечные, простые,
В один напев слилися голоса;
И звуки те шотландских гор родные,

И вера их несет на небеса.
В святую брань так мученики пели,
И, может быть, стремясь к высокой цели,
Наш Джон Граам и смелый лорд Эльджин
Слыхали их в рядах своих дружин,
Когда сердца огнем небес горели,
Когда, в руках молитвенник и меч,
Их рать неслась грозой народных сеч
И пряталась под бронею верига.
Но снова вдруг возникла тишина;
У всех душа святынею полна —
Разогнута божественная книга.

13

Отец семьи, душой священник сам,
Читает в ней паденье человека,
Как богу был угоден Авраам,
Как Моисей гнал племя Амалека,
Иль страх и плач державного певца
Под грозною десницею творца,
Иль Иова и жалобы, и муки,
Иль дивных арф пророческие звуки,
Когда Исай, восторгами крушим,
Пылал и пел, как тайный серафим.

14

Иль чтенье то Евангелья святое,
Как божий сын снисшел и жил меж нас,
За грешных кровь безгрешного лилась,
На небесах он имя нес второе,
А на земле ему и места нет
Главы склонить. Иль как его завет
Меж градов, сел, народов отдаленных,
Везде проник в посланьях вдохновенных,
Как, заточен, возлюбленный Христом
В Патмосе жил, и ангела с мечом
Он в солнце зрел, внимая от Сиона
И гнев, и суд на гибель Вавилона.

15

Супруг, отец, угодник пред тобой,
Небесный царь, колено преклоняет,
И к небесам торжественно стрелой
С надеждою молитва возлетает:
«Да вместе их творец благословит,
Да в жизни той опять соединит;
И там, в лучах бессмертного сиянья,
Не будет где ни слез, ни воздыханья,
Друг другу мы час от часу милей,
Мы станем петь хвалу любви твоей,
А время течь своей стезею вечной
Кругом миров под властью бесконечной!»

16

Стремленье дум покорных и святых,
Сей набожный восторг людей простых —
Его не тмят обряд и блеск служенья,
Ни тонкий вкус пленительного пенья:
Кто зрит сердца, тот в благости своей
Равно царю и нищему внимает,
Под бедный кров от пышных алтарей
Он в хижину к молящим низлетает,
И благодать по вере им дана,
И вписаны на небе имена.

17

Час тихий сна меж тем уж приближался,
И все идут на сладостный покой;
Простясь, вздохнул счастливец молодой;
Отец один с хозяйкою остался,
И долго он еще наедине
Молил творца в умильной тишине,
Чтоб тот, кто птиц и греет и питает,
Кто в нежный блеск лилею одевает,
Чтоб он, господь, во всем с семьей его
Всегда творил свою святую волю,
Как хочет сам, благословил их долю;
Лишь он просить дерзает одного,
Чтоб все они закон его хранили,
Всевышнего боялись и любили.

18

Так сельский бард своих родных полей
Оставил нам семейное преданье.
Цари творят богатых и князей, —
Муж праведный есть лучшее созданье
Творца миров; и память старины,
Любовь семейств, отцовские уставы,
Блаженство, честь той дикой стороны
Еще хранят в ней доблестные нравы.
О, как певцу Шотландия мила!
Как молит он, чтоб родина цвела,
Да благодать небес над нею льется,
Сынов ее порок да не коснется,
Да в их груди течет Валлиса кровь,
И дух его, и к родине любовь
Пылают в них, и ангелом незримым
Да веет он над островом любимым!..

19

А я к тебе, к тебе взываю я,
Святая Русь, о наша мать-земля!
Цвети, цвети, страна моя родная!
Меж царств земных, как пальма молодая,
Цвети во всем, и в доле золотой
Счастлива будь, и счастье лей рекой!
Страна сердец, и дум, и дел высоких!
О, как гремят везде в краях далеких
Твоих дружин и флотов чудеса
И русских дев стыдливая краса!
Верна царям и верою хранима,
Врагу страшна, сама неустрашима,
Да будут честь и нравов простота
И совести народной чистота
Всегда твоей и славой, и отрадой,
И огненной кругом тебя оградой,
И пред тобой исчезнет тень веков
При звуке струн восторженных певцов!

<1829>

К ПОЛЕВОЙ МАРГАРИТКЕ,
КОТОРУЮ РОБЕРТ БОРНС, ОБРАБОТЫВАЯ СВОЕ ПОЛЕ, НЕЧАЯННО СРЕЗАЛ ЖЕЛЕЗОМ СОХИ В АПРЕЛЕ 1786 г.

Цветок пунцовый, полевой!
Ты, бедный, встретился со мной
Не в добрый час: тебя в красе
Подрезал я.
Жемчуг долин, не можно мне
Спасти тебя!

Не пестрый, резвый мотылек
Теперь твой нежный стебелек
На дерн, увлаженный росой,
Порхая, гнет;
К тебе румяною зарей
Он не прильнет.

В холодном поле ветр шумел,
И дождик лил, и гром гремел;
Но туча мрачная прошла,
Меж тем в глуши
Ты нежно, тихо расцвела,
Цветок любви.

Сады дают цветам своим
Приют и тень — и любо им;
Но сироту, красу полян,
Кто сбережет?
От зноя туча, иль курган
От непогод?

Из-под травы едва видна,
Цвела ты, прелести полна,
И солнца луч с тобой играл;
Но тайный рок
Железо острое наслал —
Погиб цветок...

Таков удел, Мальвина, твой,
Когда невинною душой

Ты ловишь нежные мечты;
Любовь страшна:
Как мой цветок, увянешь ты
В тоске, одна.

Певцу удел такой же дан:
Бушует жизни океан,
Не видно звезд, а он плывет,
Надежда мчит;
Он прост душой, он счастья ждет...
Челнок разбит.

И добрый, злыми утеснен,
Тому ж уделу обречен:
Никто ничем не упрекнет,
А жил в слезах;
Приюта нет; он отдохнет
На небесах!

И я горюю о цветке;
А может быть, невдалеке
Мой черный день; и как узнать,
Что бог велел?
Не о себе ли горевать
И мой удел?

<1829>

К ТЕНИ ДЕСДЕМОНЫ

Hast thou prayed...[1]

Десдемона, Десдемона!
Далека тревог земли,
К нам из тучи с небосклона
Ты дрожишь звездой любви.

Ты красу свою и младость
Обрекла мечте святой;

[1] Молилась ли ты... (англ.). — *Ред.*

Но тебе мелькнула радость
Под могильной пеленой.

Кто небесным лишь дышала,
Та цвести здесь не могла;
В бурях неги ты искала, —
Розу молния сожгла.

И мольбе твоей и стону
Африканец не внимал;
В страсти буйной Десдемону
Он для сердца сберегал.

И любовник безнадежный,
Звездный мир страша собой,
Всё кометою мятежной
Он стремится за тобой.

<1829>

ИЗ БАЙРОНОВА «ДОН-ЖУАНА»

Вольное подражание

О, любо нам, как месяц полный
Адриатические волны
Подернет зыбким серебром,
И как пловец, звуча веслом,
Стремит гондолы бег урочный
И мчит волна напев полночный!
И любо нам, как ветерок
С листка порхает на листок,
И сумрак тень свою наводит,
Звезда вечерняя восходит
Иль радуга в красе цветной,
На лоно опершись морское,
Огнистой, нежной полосой
Обхватит небо голубое!
И любо мне, спеша домой,
Как ненаемный сторож мой,
Собака добрая залает, —
И знать о том, как любо мне,

Что кто-то есть, кто в тишине
Меня любовно ожидает,
И видеть, как войду я к ней,
Что взор ее при мне светлей!
И как под шум струи ленивой
Мне любо тихо вдаться сну,
И любо ласточкой игривой
Быть на заре пробуждену;
И любо слышать пчел жужжанье,
И песни дев, и струн певцов
Любимый звон, и лепетанье
Детей, и прелесть первых слов!

<1829>

ЯВЛЕНИЕ ФРАНЧЕСКИ

(Из «Осады Коринфа» лорда Байрона)

П. И. Полетике

Он у столба на камень сел, —
И вдаль задумчиво глядел;
На сердце налегла тоска,
К лицу прижалася рука;
Склонил он голову на грудь,
Дрожал, кипел, не мог дохнуть, —
И пальцы беглые его
Невольно бились о чело;
Так по клавиру мы порой
Бежим проворною рукой,
Чтоб тем его одушевить
И в струнах звучность пробудить.
И в мрачной он сидел тоске.
Вдруг — стон в полночном ветерке.
Но ветерком ли занесен
Меж камней тихий, нежный стон?

Он голову поднял, на море глядит;
Но сонные волны ничто не струит,
Ничто не колышет прибрежной травой,
И звук тихо веял не ветер ночной.

Кусты цитерона вдали перед ним,
Знамена и флаги, их вид недвижим,
И ветер не тронул ланиты его,
А звук тихо веял; какой? от чего? —
И он обернулся, он взор свой стремит:
Краса молодая на камне сидит.

Вздрогнул, вскочил он, страх сильней,
Чем если б вдруг предстал злодей:
«О боже! как! во тме ночей...
Что это? кто? какой судьбой
Ты здесь в тревоге боевой?»
Перекреститься ищет сил;
Но он святыне изменил, —
Рука дрожит... хотел бы он...
Но втайне совестью смущен.
Узнал он, кто пред ним была,
Кто так прекрасна, так мила.
«Франческа! Ты ли?» Ах! она
Его невестой быть должна.
Те ж розы на щеках у ней,
Но блеск румяный стал темней,
И на устах улыбки нет,
Которой рдел их алый цвет;
Не так синя лазурь в волнах,
Как в темных у нее очах;
Но и лазурь их, как волна,
Светла, без жизни и хладна.
Блестит под легкой пеленой
Вся прелесть груди молодой,
И белых плеч, и рук нагих,
И вьется кольцами по них
Струя волос ее густых.
Она не вдруг ответ дала,
Но тихо руку подняла, —
И мнилось, так рука нежна,
Что светит сквозь нее луна.

«Глубокий мой сон на то прекращен,
Чтоб я была счастлива, ты был спасен.
Чрез вражий стан и грозну рать
Я шла во тме тебя искать.

Нам слово тайное гласит:
«От чистой девы лев бежит».
Кто от зверей в глуши лесной
Щитом правдивому душой,
Тот меж сетей неверных сил
Мой робкий путь благословил.
Но если путь напрасен мой,
То не видаться нам с тобой.
Ты дело страшное свершил:
Ты вере предков изменил.
Сорви чалму, крестом святым
Перекрестись, — и будь моим!
Смой яд с души, — и завтра вновь
Удел наш — вечная любовь!»

— «Где ж пир нам свадебный готов?
Где будет плач сих мертвецов —
Постеля брачных с новым днем?
Я поклялся: огнем, мечом
Погибнут все, лишь ты одна,
Ты будешь мною спасена, —
И мы с тобой умчимся вдаль;
В любви забудем мы печаль;
Но я порок хочу сразить,
Хочу Венеции отмстить;
Заставлю гордую узнать,
Кто я, кем смела презирать!
Из скорпионов бич сплетен
На тех, чьей злобой я стеснен!»

Тогда, печальна и бледна,
Его чуть тронула она,
Безмолвно, легкою рукой, —
Но до костей проник струей
Смертельный холод, сжалась грудь, —
И силы нет ему вздохнуть;
Она чуть держит, а нельзя
Освободить ему себя.
Как! той рука, кто так мила,
Такой вдруг ужас навела!
И пальцы длинные у ней

Так тонки, мрамора белей, —
А вмерзли в кровь... и для чего
В ту ночь так страшны для него?
Остыл внезапно жар чела,
И томность мутная нашла —
И камнем на сердце лежит,
Его и давит, и крушит;
Смотря в лицо ей: как мрачна,
Как изменилася она!

Души той не видно в унылой красе,
Бывало, играющей в каждой черте,
Как солнце весны в прозрачной волне;
Уста недвижимы, их краска мертва;
Из них без дыханья несутся слова;
И персей дрожащих ничто не живит,
И трепет по жилам у ней не бежит;
Хоть очи сверкают, но взор устремлен
И тускл неизменно, и дик, и смущен;
Ужасно так смотрит лишь тот в тишине,
Кто бродит испуган в томительном сне.
Подобна тем ликам она перед ним,
Которые часто на ткани мы зрим,
Когда при лампаде, в дыму, чуть видна,
Без жизни, но будто жива и страшна,
Та ткань шевелится от бури ночной
И чудные лики, одетые мглой,
Со стен будто сходят, а ветер гудёт,
Качая обои и взад и вперед.

«Сорви чалму, сорви скорей
С преступной головы твоей!
Клянись, что ты спасать готов
Страны родимыя сынов!
Не то — навек ты погублен,
Навек ты будешь разлучен
Не с этой жизнию земной,
Уже утраченной тобой,
Но с небесами и со мной!
Смирись теперь! И хоть жесток
Твой завтра неизбежный рок, —

На промысл божий уповай!
Вступить ты можешь в светлый рай.
Но, ах, не медли! Знай, что тот,
Кого гневишь, — он проклянет;
Тогда на небо погляди, —
И уж спасенья там не жди!
Луну вот облако затмит
И скоро, скоро пролетит.
Спеши очиститься душой,
Покуда луч под дымной тмой;
Когда ж проглянет свет луны —
То бог и люди отмщены.
Твой жребий страшен, но страшней
Бессмертье гибели твоей!»

И Альпо на небо глядит, —
И видит, облако летит;
Но сердце, полное враждой,
Дышало гордостью одной;
И страсть кичливая его,
Как бурный ток, крушила всё.
Чтоб он смиряться был готов,
Страшился робкой девы слов?
Чтоб он тех дерзостных спасал,
Которым смерть он обрекал?
«Нет! — в облаке несися том
Хоть гибель мне, — пусть грянет гром!»
Он долго, пристально смотрел,
Как блеск луны в дыму темнел;
Но облако прошло, — луна
Блестит над ним, светла, ясна;
Тут молвил он: «Всё тот же я!
Как хочет рок, гони меня!
Тростник гроза, волнуя, гнет,
Но сломит дуб, а не шатнет.
Уж поздно, — участь решена;
Всему Венеция вина, —
И я во всем ее злодей,
И ты одна мила мне в ней.
Беги со мной! О, будь моей!»
   Глядит — ее уж нет,
Сребрит лишь камни лунный свет.

Что ж? В землю скрылася она
Иль в тонкий пар обращена?
И как что творится, зачем, для чего?
Не видит, не знает; но нет никого!

<1829>

К М. ШИМАНОВСКОЙ

Когда твой ропот вдохновенный
Звучит сердечною тоской
И я, невольно изумленный,
Пленяюсь дивною игрой, —
Мой дух тогда с тобой летает
В безвинный мрак тревожных дней
И свиток тайный развивает
Судьбы взволнованной твоей.
Не твой был жребий веселиться
На светлой, радостной заре;
Но пламень в облаке родится.
И в сладостной твоей игре
Не та б мелодия дышала,
Не так бы чувством ты цвела, —
Когда б ты слез не проливала,
Печаль душой не обняла.

<1829>

РОМАНС ДЕСДЕМОНЫ

(С английского)

В раздумье бедняжка под тенью густою
Сидела, вздыхая, крушима тоскою:
Вы пойте мне иву, зеленую иву!
Она свою руку на грудь положила
И голову тихо к коленям склонила:
О ива ты, ива, зеленая ива!
Студеные волны, шумя, там бежали, —
И стон ее жалкий те волны роптали:
О ива ты, ива, зеленая ива!

Горючие слезы катились ручьями,
И дикие камни смягчались слезами.
О ива ты, ива, зеленая ива!
Зеленая ива мне будет венком!

<1830>

ИЗ АРИОСТОВА «ORLANDO FURIOSO»[1]

Цветы, поляна, бор зеленый,
Пещера, ток волны студеной —
Приюты счастья моего,
Где Галафрона дочь младая,
Других плененных презирая,
Меня любила одного;
Где с Ангеликою прелестной
Я долго жил в тиши безвестной,
Где обнаженная она
В моих объятиях лежала
И, неги сладостной полна,
Медора к персям прижимала!
Какую вам награду дать?
Я, бедный, лишь могу желать,
Чтобы любовники младые,
Девицы, витязи лихие,
От дальных стран, из ближних сел,
Случайно, вольно кто б ни шел,
Чтоб он поляну, бор зеленый,
Пещеру, ток волны студеной,
Цветы, блестящие красой,
Благословя, молил душой:
Да солнце их приветно греет,
Да в темну ночь луна лелеет,
И хор бы нимф не допускал,
Чтоб стадо к ним пастух гонял.

<1830>

---

[1] «Неистовый Роланд» (итал.). — *Ред.*

ФИОРИНА

Баллада

(Из «Ильдегонды», поэмы Гросси)

На персях крест, задумчива, томна,
Покинула дом царский Фиорина, —
И с юношей возлюбленным она
Там, где горит войною Палестина;
Ударами ее устрашена,
Бежит пред ней неверная дружина.
Бесстрашно с ним она летала в бой, —
И вместе с ним лежит в земле святой.

Осенний день уж на небе блестит;
Последний раз ей к битвам пробуждаться.
«О Фиорина! — Свено говорит. —
Ты не должна со мною в бой метаться;
Кровавый пир ужасно закипит;
Тебе нельзя, прекрасная, сражаться!»
Напрасно всё! за ним помчалась в бой, —
И вместе с ним лежит в земле святой.

На поле том, где кровь рекой текла,
Отыскана была чета святая;
Младую жизнь любовь пережила;
Она легла, друг друга обнимая.
Теперь чета у господа нашла
Покой душáм в нетленной сени рая.
И как она с ним вместе мчалась в бой,
Так вместе с ним лежит в земле святой.

<1830>

ЭЛЕГИЯ

Вольное подражание св. Григорию Назианзину

Князю А. Н. Голицыну

Вчера в лесу я, грустью увлечен,
Сидел один и сердцем сокрушен.
Когда мой дух волнуется тоской,
Отрадно мне беседовать с душой.

Везде кругом дремала тишина,
Мне веяла душистая весна;
Едва журчал ленивый ручеек,
И на цветах улегся мотылек;
Хор нежный птиц, вечерний пламень дня
И запах трав лелеяли меня.
Но я на всё без радости смотрел, —
Развеселить я горя не хотел;
В смятеньи дум не тягостна печаль,
Расстаться с ней душе как будто жаль.
Мой дух кипел, я спрашивал себя:
Что я теперь? что был? чем буду я? —
Не знаю сам, и знать надежды нет.
И где мудрец, кто б мог мне дать ответ? —
В какой-то тме, без цели я лечу,
И тени нет того, чего хочу.
Мятежных чувств губительный обман
Вкруг падших нас бросает свой туман, —
И я кружусь, обманут ложным сном,
В дыму сует, как в облаке густом.
Как от меня далек вчерашний день!
Промчался он — я с ним пропал, как тень...
И если мне еще до утра жить,
Кто скажет, где и чем и как мне быть? —
Уже тех волн мы в море не найдем,
Которые в нем раз переплывем...
И человек, лишь мы расстались с ним,
Не тем, чем был, но встретит нас иным...

И разум мой сомненье облегло;
Лета сребрят усталое чело.
А знаю ль я, зачем рожден на свет?
Что жизнь моя? — Те дни, которых нет...
Как бурный ток, пролетная вода,
Теку — стремлюсь — исчезну навсегда.
Удел мой — гроб; сегодня — человек,
А завтра — прах. Ужели прах навек?
Иль в смерти жизнь нам новая дана?
Надежда льстит, но тайна мне страшна.

О! кто же ты, бессмертием дыша,
Откуда ты, нетленная душа?

Ты божество являешь мне в себе;
Откинь порок — и верю я тебе.
Кто чистый дух мог в тело заключить?
Кто мертвеца велел тебе носить? —
Я сын греха — и божий образ я!
Сними же цепь, влекущую меня;
Услышать дай таинственный привет;
Но тма теперь, — а завтра будет свет,
И будешь ты сгораема огнем
Иль в небесах пред богом и отцом, —
И там сама, как ангел чистоты,
Увидишь всё, и всё узнаешь ты...

Я так мечтал, — и вдруг мой страх исчез.
Настала ночь, и я оставил лес;
И на пути в приют укромный мой
То сам себе над здешней суетой
Смеялся я, то вновь смущал мой ум
Минувший мрак его тревожных дум.

<1830>

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОМУ ФИЛАРЕТУ

Когда долг страшный, долг священный
Наш царь так свято совершал,
А ты, наш пастырь вдохновенный,
С крестом в руках его встречал, —

Ему небес благоволенье
Изрек ты именем творца,
Пред ним да жизнь и воскресенье
Текут и радуют сердца!

Да вновь дни светлые проглянут,
По вере пламенной даны;
И полумертвые восстанут,
Любовью царской спасены.

<1830>

К ПЕВИЦЕ ЗОНТАГ

Il tuo canto n'el anima si sente.[1]

Вчера ты пела, — голос нежный,
Рассея мрак мой безнадежный,
Небесной дышит чистотой;
Он веет радость надо мной,
Он веет сладкое томленье, —
И сердцу он напомнил вновь
Бесценное души волненье —
Младую, первую любовь.
Я изумлен... мой дух трепещет...
Твой голос нежности привет;
В нем что-то радужное блещет;
В нем то, чему здесь имя нет.
Как звуки дивные играют,
Дробятся, льются, замирают
На свежих, розовых устах!
С какою силой выражают
Всё, что горит в твоих очах!
В тех звуках мир непостижимый,
И нега чувств, и пыл страстей...
Им быть навек мечтой любимой
Плененной памяти моей!

16 августа 1830

УМИРАЮЩАЯ ЭРМЕНГАРДА

ХОР ИНОКИНЬ

(Из трагедии «Адельгиз», соч. Манцони)

Графине З. И. Лепцельтерн

Разбросанные локоны
Упали к груди белой,
И руки крестно сложены,
И лик уж побледнелый, —

[1] Твое пение отдается в душе (итал.). — *Ред.*

Лежит она, страдалица,
Взор к небу возведен.

Замолкнул плач; все молятся,
Возникла песнь святая,
И, пеленой холодное
Чело навек скрывая,
Очей лазурных набожной
Рукою взгляд смежен.

О! не тоскуй, прекрасная!
Забудь любовь земную!
Дай в жертву страсть всевышнему
И смерть прими святую!
Не здесь — за жизнью долгому
Терпенью жди конца!

И, горю обреченная,
Вседневно умоляла:
Забыть о том, что, бедная,
Томясь, не забывала;
Теперь — свята мученьями,
У бога и отца!

Увы! в часы бессонные,
В келейном заточеньи,
Во время пенья инокинь,
Пред алтарем в моленьи
Всё память ей мечталася
Тех невозвратных дней,

Когда судьбы обманчивой
Измен она не знала
И в светлой франков области
Так радостно дышала,
Явясь всех жен салических
Прекраснее, милей;

Когда, златые локоны
Усеяв жемчугами,
Смотрела травлю шумную
И как, над поводами

Склонен, чрез поле чистое
Власистый царь скакал;

И пылко кони борзые
Неслись, и гончих стая
Металась, рассыпалася,
В кустах едва мелькая,
И бор кабан щетинистый
Тревожно покидал;

И кровью зверя дикого
Долину обагряла
Стрела царя, — и нежная
К подругам обращала,
Бледнея, взор: за милого
Дрожит младая грудь...

О ты, ключ теплый ахенский,
О Мозы ток гремучий,
Где, скинув броню тяжкую,
Державный вождь могучий
Любил, явясь из лагеря,
Привольно отдохнуть!

Как зноем опаленную
Траву роса лелеет
И ствол зеленых стебелей
Студит, — и зеленеет
Опять трава, и весело
Душистая цветет, —

Так сердце, сокрушенное
Огнем любви мятежной,
В томленьях освежается
Приветом дружбы нежной
И к наслажденью тихому
Как будто оживет.

Но только солнце красное
Взойдет, огнисто рдея, —
И в неподвижном воздухе
Зной дышит, пламенея,

Опять трава расцветшая
    Им к долу прижжена;

И скоро из минутного
    Забвенья возникает
Опять любовь бессмертная, —
    И сердце ужасает;
Душа мечтами прежними
    Опять отравлена.

О! не тоскуй, прекрасная!
    Забудь любовь земную!
Дай в жертву страсть всевышнему
    И смерть прими святую
В земле, в которой скроется
    Навек твой нежный прах!

В ней спят тоской убитые
    Страдалицы другие,
Меж жен, мечом развенчанных,
    Невесты молодые
И матери проколотых
    Младенцев в их очах.

И ты из притеснителей
    Враждебного семейства,
Число которым — доблестью,
    Предлогом — их злодейства,
И право — кровь, и славою —
    Безжалостно губить!

Ты промыслом несчастия
    Сама из притесненных,
Оплаканной, спокойною
    Засни меж погубленных!
Дерзнет ли кто, невинная,
    Твой пепел укорить?

И будь твой лик бесчувственный
    Так ясен, как был прежде,
Когда ты счастью верила
    И в радостной надежде

Девичьи думы светлые
Являлися на нем.

Так солнце заходящее
Из бурных туч выходит;
Оно на запад пурпурный
Дрожащий блеск наводит;
И будет путник набожный
Утешен светлым днем.

<1831>

ВОСПОМИНАНИЕ 14-го ФЕВРАЛЯ

Сегодня год, далеко там, где веет
Душистый пар от Средиземных волн,
Где свежий мрак по их зыбям лелеет
Любви младой дрожащий, легкий челн,
И свод небес безоблачно синеет,
И где эфир волшебной неги полн,
Где Уголин во мгле вкруг башни бродит,
Когда над ней полночный месяц всходит, —

Далеко там она с себя сложила
Судьбы земной печаль, ярмо и страх;
Тяжелый крест прекрасная носила,
Цветы любя, с улыбкой на устах;
Прижав к груди, детей благословила
И, может быть, вздохнула о друзьях,
Невольно взор на Север устремляя,
Где блещет ей звезда ее родная.

И нет ее, — и над ее могилой
Трава и дерн лишь смочены росой;
Туда нейдет в раздумье друг унылый
Мечтать, грустить, сливаться с ней душой;
Бесценный прах и сердцу вечно милый
Как бы один лежит в земле чужой,
И плачу я, и дух мой сокрушенный
Тоска влечет к могиле незабвенной.

Мечта иль сон, но мне она предстала.
Сама собой во тме озарена,
И радостью небесною дышала,
И на челе святая тишина;
Она меня безмолвно утешала
И облаком была унесена.
О, сколько слов в немом ее привете!
И нет такой улыбки в здешнем свете!

Февраль 1830 или 1831

СОН

Графине Фикельмон

A change came o'er the spirit of my dream.
L. Byron[1]

В мое окно стучал мороз полночный,
И ветер выл; а я пред камельком,
Забыв давно покоя час урочный,
Сидел, согрет приветным огоньком.
Я полон был глубоких впечатлений,
Их мрачностью волнующих сердца,
Стеснялся дух мечтаньями певца
Подземных тайн и горестных видений;
Я обмирал, но с ним стремил мой взгляд
Сквозь тму веков на безнадежный ад.
В томленьи чувств на лоне поздней ночи
Внезапно сон сомкнул усталы очи;
Но те мечты проникли душу мне,
Ужасное мерещилось во сне, —
И с Дантом я бродил в стране мученья,
Сменялися одно другим явленья;
Там плач и вопль летят в унылый слух,
Мне жжет глаза, мелькая, злобный дух, —
И в зареве греховной, душной сени
Предстали мне страдальческие тени.

[1] Мое сновидение переменилось. *Л<орд> Байрон* (англ.). — *Ред.*

То вижу я, испуган чудным сном,
Как Фаринат, горя в гробу своем,
Приподнялся, бросая взор кичливый
На ужас мук, — мятежник горделивый!
Его крушит не гроб его в огне —
Крушит позор в родимой стороне.
То новый страх — невольно дыбом волос —
Я вижу кровь, я слышу муки голос,
Преступник сам стеснен холодной мглой:
Терзаемый и гневом и тоской,
Вот Уголин злодея череп гложет;
Но смерть детей отец забыть не может,
Клянет и мстит, а сердцем слышит он
Не вопль врага — своих младенцев стон.

И вихрь шумит, как бездна в бурном море,
И тени мчит, — и вихорь роковой
Сливает в гул их ропот: «горе, горе!»
И всё крушит, стремясь во мгле сырой.
В слезах чета прекрасная, младая
Несется с ним, друг друга обнимая:
Погибло всё — и юность и краса,
Утрачены Франческой небеса!
И смерть дана — я знаю, чьей рукою, —
И вижу я, твой милый друг с тобою!
Но где и как, скажи, узнала ты
Любви младой тревожные мечты?
И был ответ: «О, нет мученья боле,
Как вспоминать дни счастья в тяжкой доле!
Без тайных дум, в привольной тишине,
Случилось нам читать наедине,
Как Ланцелот томился страстью нежной.
Бледнели мы, встречался взгляд мятежный,
Сердца увлек пленительный рассказ;
Но, ах, одно, одно сгубило нас!
Как мы прочли, когда любовник страстный
Прелестные уста поцеловал,
Тогда и он, товарищ мой несчастный,
Но мой навек, к груди меня прижал,
И на моих его уста дрожали, —
И мы тот день уж боле не читали».

И снится мне другой чудесный сон:
Светлеет мрак, замолкли вопль и стон,
И в замке я каком-то очутился;
Вокруг меня всё блещет, всё горит,
И музыка веселая гремит,
И нежный хор красот младых резвился.
Я был прельщен, но всё мечталось мне
То страшное, что видел в первом сне.
Франческа! я грустил твоей тоскою.
Но что ж, и здесь ужели ты со мною,
И в виде том, как давнею порой
Являлась ты пред жадною толпой,
Не зная слез, цветя в земле родимой?
Вот образ твой и твой наряд любимый!
Но ты уж тень. Кого ж встречаю я?
Кто вдруг тобой предстала пред меня?
Свежее роз, прекрасна, как надежда,
С огнем любви в пленительных очах,
С улыбкою стыдливой на устах —
И черная из бархата одежда
С богатою узорной бахромой
Воздушный стан, рисуя, обнимает;
Цвет радуги на поясе играет,
И локоны, как бы гордясь собой,
Бегут на грудь лилейную струями,
Их мягкий шелк унизан жемчугами,
Но грудь ее во блеске молодом
Пленяет взор не светлым жемчугом:
Небрежное из дымки покрывало
За плеча к ней, как белоснег, упало.
О, как она невинности полна!
Оживлено лицо ее душою
Сердечных дум, небесных чистотою...
Прелестна ты, прелестнее она.

И милому виденью я дивился,
Узнал тебя, узнал — и пробудился...
Мой страх исчез в забавах золотых
Страны небес огнисто-голубых,
Где всё цветет — и сердцу наслажденье,
Где всё звучит бессмертных песнопенье.
О, как молил я пламенно творца,

Прекрасный друг безвестного певца,
Чтоб ты все дни утехами считала,
Чтоб и во сне туч грозных не видала!
Счастливой быть прелестная должна.
Будь жизнь твоя так радостна, нежна,
Как чувство то, с каким, тебя лаская,
Младенец-дочь смеется пред тобой,
Как поцелуй, который, с ней играя,
Дает любовь невинности святой!

<1832>

К ВАЛТЕРУ СКОТТУ

...Could I wreak
My thoughts upon expression, and thus throw
Soul, heart, mind...
L. Byron[1]

Шотландский бард — певец любимый
Прекрасной дикой стороны,
Чей нам звучит напев родимый,
Святое милой старины!
Прости, что дерзостной рукою
Я, очарованный тобою,
Несу в венок блестящий твой
Фиалки, ландыш полевой!

Тогда, как горя звук унывный
Мою всю душу бунтовал,
Твой гений светлозарный, дивный
Броженья сердца услаждал.
Так — прежде всех певец природы,
И волн шумящих, и свободы,
В сияньи чудной красоты,
Как бездна пламя и мечты,
С своими буйными страстями,

[1] ...Если бы я мог заставить мысль воплотиться в слове и таким образом открыть душу, сердце, разум... *Л<орд> Байрон* (англ.). — *Ред.*

С печалью, с гордыми слезами,
Любви в губительном огне
Вдруг Чилд-Гарольд явился мне.
Крушим душевною грозою,
Мятежной омрачен тоскою,
Он мне сердец страданья пел —
Свой тайный горестный удел, —
А я дрожал, я пламенел,
Внимал душою муки голос, —
И слезы градом, дыбом волос;
Я то кипел, то замирал, —
Увы! я сам любил, страдал.
Он пробудил мои мечтанья,
Мне в грудь втеснил воспоминанья,
И пыл его — моих страстей
Тревожил дух во тме ночей.

Но так, как после бури рьяной
Зари вечерней луч румяный
Лелеет взор и гонит страх,
Надежду кажет в небесах,
Так усладили мрак печали
Твои отрадные скрижали
Их романтической красой;
А звуки арфы золотой
Мне тихо душу волновали.
Елена, Ду́глас, Мармион,
И с привиденьем бой чудесный,
И паж несчастный и прелестный,
Матильда... Но кто не пленен
Твоими звонкими струнами?
Волшебник, кто не удивлен,
Когда, явясь меж мертвецами,
Ты нам их кажешь в виде том,
С тем чувством, как в быту земном
Они в старинных замках жили,
Мечтали, ссорились, любили,
И как, платя пристрастью дань,
За Джемсов возникала брань,
И вера веру угнетала,
И месть злодейства покупала?
Ты рассказал нам, дивный бард,

Как Сердце Львиное — Ричард
Сражался, пел, и как томилась
Лилея гор, звезда любви,
Которой блеск потух в крови.
Тобой от нас не утаилась
Дней прежних правда. Но, певец,
Как ни дивит, как ни пленяет
Меня бессмертный твой венец,
Другое сердце восхищает:
Ты миру доказать умел,
Как радостен того удел,
Кто любит пламенной душою
Всё то, что должен он любить,
Кто хочет истиной святою,
Наукой ум свой просветить.
Взгляни, как ты семьею нежной
Почтён, утешен и любим,
Какой подпорою надежной,
Как много ты на счастье им!
Ты в родине твоей свободной
Стал драгоценностью народной;
Кто там ни встретится с тобой —
Он друг тебе, он твой родной.

Как часто я в мечтах веселых,
От мыслей мрачных и тяжелых,
В тенистый Аббодс-форд лечу, —
С тобой, мой бард, пожить хочу,
Хочу смиренно быть свидетель,
Как небо любит добродетель!
И что ж? в мечтании моем
Уж я давно в саду твоем
С тобой хожу и отдыхаю,
Твоим рассказам я внимаю, —
Со всех сторон передо мной
Места, воспетые тобой:
Вот там Мельросская обитель,
Где часто бродит по ночам
Убитый рыцарь Кольдингам;
Вот мост Боцвеля, — он хранитель
Преданий страшных; всё кругом —
И крест холма, и дуб косматый,

И пруд под башнею зубчатой —
Оживлено твоим пером.

Иль вдруг, вечернею порою,
В приветном замке мы с тобою;
Там дети, внуки, вся семья —
Отрада милая твоя —
Бегут, шумят, тебя встречая,
И места нет почти друзьям,
А дочь — хозяйка молодая —
Янтарный чай готовит нам;
Всё негой, радостью светлеет.
Кто здесь с весельем не знаком?
И ты, певец, пред камельком,
Где уголь дымный жарко тлеет,
В красе серебряных кудрей
Сидишь с детьми твоих детей;
То учишь их, то забавляешь,
Им сказки, были поминаешь,
То речь ведешь о мертвецах,
О ведьмах, о ворожеях;
Иль, в знак бесценной им награды,
Поешь родимые баллады;
Иль вдруг уже, не тратя слов,
Резвиться с ними ты готов;
На их веселых, ясных лицах
Ты видишь счастье вкруг себя, —
И блещут слезы на ресницах,
Почтенный старец, у тебя;
Но уж пред сном, в час тихой лени,
К тебе взобравшись на колени,
Младенцы начали дремать;
Будь с ними божья благодать!
Тогда беседуешь с друзьями,
С приезжими; твой ум живой
Дивит небрежной остротой,
Пленяет сладкими речами.
О, как благословен твой век,
Великий... добрый человек!
Ты озарил перед собою
Твой путь душевной чистотою;

Не до тебя коснется страх,
Что думы слышны в небесах.

Тебе подобно, бард, меж нами
Еще недавнею порой,
Владея нашими сердцами,
Жил муж, украшен добротой,
Любовь и честь земли родной,
Боготворим детьми, женою,
Друг верный, нежный семьянин,
Мудрец с младенческой душою, —
То был наш светлый Карамзин,
С глубоким чувством ум правдивый;
Он жизнью тихой и счастливой
Был наш высокий образец,
Что счастье в чистоте сердец.

Привет, быть может, дерзновенный
Прости мне, старец вдохновенный!
В живом восторге я хотел,
Чтобы к тебе он долетел.
Увы! в томленьи вечной ночи
Забыли свет печальны очи;
Но сердце помнит, — я люблю
Мечтать и думать, я пою.
С моей женой, с детьми, с друзьями
Мой дух не устрашен бедами.
Утешен верою святой,
Мой мир почти уж не земной,
Но чувство истины со мною.
Стремлюсь умом и сердцем жить
И неостылою душою
Везде прекрасное любить.

<1832>

РЕВНОСТЬ

Полночный час ударил на кладбище.
Мелькая из-за туч,
На мертвецов безмолвном пепелище
Бродил дрожащий луч.

Под пеленой скрывая образ милый,
Откинув тайный страх,
Стоит одна над свежею могилой
Прекрасная в слезах.
И мрачных дум тревогою мятежной
Невольно смущена,
Склонясь на дерн, с тоскою безнадежной
Промолвила она:
«Несчастный друг!.. прости, тень молодая,
Что, жизнь твою губя,
Что, тяжкий долг мой свято выполняя,
Чуждалась я тебя.
Увы! с тобой жить в радости сердечной
Творец мне не судил!
Свершилось всё!.. но ты, ты будешь вечно,
Как прежде, сердцу мил!»
Ракитник вдруг тогда зашевелился...
Не призрак меж гробов —
Вадим жене как божий гнев явился,
Бледнее мертвецов,
И вне себя, вдаваясь грозной силе
Мятежного огня:
«Любим тобой злодей? он и в могиле
Счастливее меня..?»
И месть любовь горячую затмила,
В руках блеснул кинжал —
И кровь ее могилу оросила,
А он во тме пропал.

<1832>

ОБЕТОВАННАЯ ЗЕМЛЯ

Вольное подражание

Графине А. Г. Лаваль

Тогда, как Моисей, в дни старости глубокой,
Своей кончины ожидал,
То Саваоф ему вещал:
«Взойди на верх горы высокой —

И Ханаанская земля
Вдали порадует тебя!»

День тихий пламенел вечернею зарею,
И западный, далекий океан
Казался бледною, зеленой полосою;
Но ближе волн морских, сквозь розовый туман,
Являлися холмы и нивы золотые,
Леса и грады, и поля,
И гор сторожевых вершины голубые.
И то была она — та светлая земля
И меда и млека́, земля благословенья,
Которую творец пророку обещал,
Куда он целый век все думы устремлял,
Чтоб оныя достичь; ни фараонов мщенья
Не устрашился он, ни гибельных тревог;
И жаркие пески, и волны превозмог,
И буйность мятежа, и вялость нераденья, —
В то время, как теперь, невежд без размышленья,
Которых должно убедить,
И против воли их добро для них творить.
Увы! к ее холмам, чрез бездну роковую,
Напрасно руки он стремился простирать,
Он должен вдалеке узреть страну святую —
И никогда в ее пределы не вступать.

И приговор неотразимый,
Пророк! оплакан был тобой;
Твоей священною тоской,
О, сколько смертных здесь крушимы!
Удел твой искони веков —
Удел героев, мудрецов,
Всех тех, чей пылкий дух и разум возвышенный
Их выше ставили толпы обыкновенной,
Кто, правдой мрак ночной ревнуя озарить,
Ярмо невежества умели сокрушить
И, жертвуя собой, людей вести хотели
И к миру лучшему, и к благородной цели.

Когда внизу, как мутный ток,
Толпы народные беспечно протекали, —

Они на высоте стояли,
Они смотрели на восток;
Земли другой они искали —
Блаженства прочного страну.
Ту землю угадал их гений.
Они в ней видели, в пылу их вдохновений,
Порядок, истину, согласье, тишину.
Но мирные ее долины
Для них не будут зеленеть;
Им должно было лишь узреть
Ее далекие вершины.

О вы, кто давнею порой
Надеждой, мужеством, высокою душой
Свои века предупреждали
И мир тогдашний покоряли,
Предтечи мудрые! откиньте мрак печали:
У века каждого своя
Обетованная земля,
И он тревожно к ней несется;
Но так, как Моисей, желанною страной
Он только взор лелеет свой, —
Она потомкам достается.

Прелестной стороны мы также ищем ныне;
При свете дня и в сумраке ночном
Мы за надеждою стремимся, как в пустыне
Израильская рать за огненным столпом,
Который путь ей пролагал, —
И вдруг то меркнул, то сиял.

Для нас — кипучий зной и буйный ветр
с грозами,
И голод с жаждою, и горе, и труды,
Пески без зелени, утесы без воды;
Для них — поля в цветах, с проточными ручьями,
И сень под пальмою, и неги под шатрами,
Млекó, пшено и мед;
Но их мечта те блага превзойдет, —
И, недовольны тем, в чем зрели мы блаженство,
Нам неизвестного, другого совершенства

Начнут они желать —
Земли прекраснее в удел себе искать, —
И дальний Ханаан, как мы, найти желая,
В томленьи алчности им жить, подобно нам,
И так же умереть, лишь руки простирая
К его, всегда от нас бегущим, берегам.

Но вечно ль нам без радости томиться,
На дивный край всё издали смотреть,
В его предел и день и ночь стремиться —
И никогда к нему не долететь?
О нет! — и сердце тайну знает,
Нам быть обманутым нельзя:
В небесной родине страдальцев ожидает
Обетованная земля!

<1832>

К А. И. ТУРГЕНЕВУ

Когда же, скоро ль, друг далекой,
В родимый край примчишься ты?
Как часто в скуке одинокой
К тебе летят мои мечты!
Как часто горе убеждает
Меня в той истине святой,
Что дружбой бог благословляет
На то, чтоб в доле роковой
Сердца не вовсе унывали,
Чтоб мы сквозь слезы уповали!
О! где же ты? Когда печаль
Наводит томно мрак угрюмый, —
Забыв безжалостную даль,
Тебя ищу обычной думой;
Но, друг, обманута рука, —
И лишь душа к тебе близка.
Что ж делать в грусти? — Час веселый
Вперед себе воображать,
Петь песни с ношею тяжелой,
Желаньем время обгонять.

Так! рано ль, поздно ль, но с тобою
Мы будем жизнью жить одною;
Наступит нам желанный срок.
Из края в край судьбой носимый,
Бесценный друг и гость любимый,
Приедешь ты в мой уголок;
Родными окружен сердцами,
Найдешь ты с теми же друзьями
Душистый чай и огонек;
И наш Жуковский будет с нами.
Друг, без него, ты знаешь сам,
Полна ли жизнь обоим нам!
И в час свиданья тень святая
От звезд далеких к нам слетит
И, тихо думы услаждая,
Беседу нашу освятит.
Всё так же жить, всё видеть то же
Теперь в уделе, друг, моем,
А ты — разлукою дороже;
Ты нам расскажешь обо всем:
И как ты жил среди народа,
Где всё и славно, и чудно́,
Где власть, законы и свобода
Слились в великое одно;
И как в ущельях ты скитался
Той романтической земли,
Где пламенный Дутлас сражался,
Мария розою любви
Цвела, резвилася, любила —
И кровью плаху оросила.
Но верный ум и блеск речей
Как много б нас ни увлекали, —
Священный жар твоей печали
Проникнет в душу к нам скорей.
Мой друг, не мешкай! Дань терпенью,
Поверь, давно заплачена;
Ценой — утрата наслажденью;
Но радость часто неверна!
Летучим прахом дни несутся;
Ужасно сердцем обмануться!
Кто знает, новою зарей
Что будет с нами и с тобой?

Так, возвратяся в степь родную,
Нашел аравитянин в ней
И ключ, и пальму вековую, —
Но прежних не нашел друзей.

<1832>

К И. А. БЕКУ

Wage du, zu irren und zu träumen.
Schiller [1]

Скажи! зачем, мечтатель юный,
Зачем умолкли так давно
Твои приманчивые струны?
Ужель в порывах стеснено,
Мой друг, твое воображенье?
Огнем бессмертным зажжено
В душах святое вдохновенье;
Храни его! Сей дивный жар
Творца доброт любимый дар.

Когда, град пышный покидая,
В приюте сельском и родном
Ты, взор на волны устремляя,
Сидишь на берегу морском;
Когда безмолвно пред тобою
Волна несется за волною
Или, встревожена порой,
То зашумит, то засверкает, —
И невозвратно утекает,
Как радость жизни молодой;
Когда, явясь из тайной сени,
Луна мерцает в небесах,
И, может быть, усопших тени,
Мелькая, вьются в облаках,
И к нам от них эфирный шепот,

[1] Дерзай блуждать и грезить. *Шиллер* (нем.). — *Ред.*

Как будто веет томный ропот, —
Ужели сердце не дрожит?
Ужель младой певец молчит?

Ты цвел душой, ты наслаждался,
С утратой, с горем ты встречался;
Ты в юных летах обмечтал
Неверной жизни идеал;
Ты разлучен с сестрою милой,
Так рано схваченной могилой. —
Ее, мой друг, младая тень
Еще мрачит твой светлый день;
Так солнышко хотя сияет
И тучи бурные прошли,
Но молния видна вдали
И о грозе напоминает.

Увы! на радость кто глядел
Сквозь слезы, — знай, того удел —
Поэзия; в тиши безвестной,
Она объемлет мир чудесный
Прекрасных дел, злодейств, страстей;
Она сердечной жизни повесть,
Минувших и грядущих дней
Урок, таинственная совесть.
Будь озарен ее красой,
Воспоминай, люби и пой!

<1832>

ГРАФУ М. ВИЕЛЬГОРСКОМУ

Когда ж в приют уединенный
Тебя к нам дружба заведет
И мне смычок твой вдохновенный
На сердце радость наведет?
Когда же вьёлончель твой дивный,
То полный неги, то унывный,
Пробудит силою своей
Те звуки тайные страстей,
Которые в душе, крушимой
Упорной, долгою тоской,

Как томный стон волны дробимой,
Как ветра шум в глуши степной?
В них странные очарованья, —
Но им, поверь, им нет названья;
Их ропот, сердцу дорогой,
Таит от нас язык земной.

И как прелестною игрою
Ты, овладев моей душою,
Мой темный мир животворишь!
По звонким струнам ты бежишь, —
А я печали забываю,
Я в невозвратное летаю,
И наслаждаюсь, и терплю,
Я вновь мечтаю, я люблю;
Мелькает память дней бесценных,
Весельем, горем незабвенных, —
И под напев волшебный твой,
Откинув саван гробовой,
В могилу раннюю влекомый,
Полумертвец, душе знакомый,
Вдруг предстает перед меня —
Былая молодость моя.

О неизменная, родная,
Минувших дней мечта святая!
Опять, как прежнею порой,
Явилась ты, — побудь со мной!
Ты есть, была, ты будешь вечно
Моей отрадою сердечной,
В бессонной, грозной тме ночей
Звездой приманчивой моей.
Стеснен мятежною судьбою,
Не расставался я с тобою,
Небесный жар умел хранить,
Умел я пламенной душою
Одно желать, одно любить,
Страданий век не ужасаться,
Идти вперед, не возвращаться,
Стрелой за призраком лететь,
По сердцу жить иль умереть.

Тогда, как буря бушевала,
Когда надежда исчезала, —
На бездну смело я глядел;
Спастись кой-как я не хотел;
Я не молил, волной носимый,
Чтоб дал пощаду бурный ток, —
Но чтобы дерзкий мой челнок
Разбился об утес любимый.

И мрак пловца не погубил;
Луною море озарилось, —
И сердце радостью забилось,
И я любовь благословил.

Приди ж скорей, очарователь,
Чудесных струн дай слышать звон, —
Приди — и горестный мечтатель
Откинет дум тревожный сон!
Душа внимать тебе готова;
Моя печаль исчезнет снова,
Приди — и светлою струей
Воспоминаний рой летучий,
Как радуга над черной тучей,
Опять заблещет надо мной.

<1832>

ГРАФИНЕ ПОТОЦКОЙ

Я не видал твоих очей,
Я не слыхал твоих речей;
Но звезды ночи помню я
И помню песни соловья.

Я знаю, ты мила, ясна,
Как белоснежная лилея,
В речах ты прелести полна,
Умом и чувством пламенея.

И я знаком моей мечтой
С твоей пленительной красой,

И голос нежный знаю я;
Он слышен в сердце у меня.

Так узник в мрачной тишине
Мечтает о красах природы,
О солнце ярком, о луне,
О том, что видел в дни свободы.

Уснет ли он — в его очах
Леса, река, поля в цветах,
И, пробудясь, вздыхает он,
Благословляя светлый сон.

<1832>

КНЯЖНЕ АБАМЕЛЕК

В душистой тме ночных часов
От звезд далеких к нам слетая,
Меж волн сребристых облаков
Мелькает пери молодая,

И песнь любви она поет, —
И нам мила той песни сладость,
И в грудь она невольно льет
Тревогу чувств, тоску и радость.

Подобно ей, явилась ты
С ее небесными мечтами,
И в блеске той же красоты,
С ее улыбкой и слезами.

Восток горит в твоих очах,
Во взорах нега упоенья,
Напевы сердца на устах,
А в сердце пламень вдохновенья.

<1832>

ГРАФИНЕ ЗАВАДОВСКОЙ, УРОЖДЕННОЙ ВЛОДЕК

Твоя красою блещет младость;
Ты на любовь сердцам дана,
Светла, пленительна, как радость,
И, как задумчивость, нежна;
Твой голос гибкий и прелестный
Нам веет музыкой небесной,
И сладкой томностью своей
Любимой песни он милей.

Но что так сильно увлекает?
Что выше дивной красоты?
Ах! тайна в том: она пленяет
Каким-то чувством доброты.
В лице прекрасном, белоснежном
И в алых розах на щеках —
Везде всё дышит сердцем нежным;
Оно и в голубых очах,
Оно в улыбке на устах;
И, как румяною зарею
Блеск солнца пламенной струею
Бросает жизнь на небеса, —
Так чистой, ангельской душою
Оживлена твоя краса.

И часто, о тебе мечтая,
Тебя я вижу на пирах,
Где ты, о фея молодая!
У всех и в думах, и сердцах.
Я вижу взор очей огнистых,
И волны локонов душистых
На беломраморных плечах;
Иль вдруг стремлюсь я за тобою
К зеленым невским островам,
Брожу в раздумье по садам,
Смотрю, как ты, порой ночною,
По зыбкой, дремлющей реке,
Осеребренной уж луною,
Летишь в уютном челноке, —
И твой челнок волна лелеет,

И ветерок приветно веет,
И светит радостней луна —
Тобой любуется она.
Но знай, любимое мечтанье,
Моей души очарованье,
Тебя в тот час воображать,
Как, всё забыв, младая мать,
С твоим младенцем ты играешь,
Его ты к сердцу прижимаешь;
А он, невинностью цветя,
Смеется, милое дитя, —
И у тебя взор нежный блещет
Сквозь слезы радостью живой,
И грудь лилейная трепещет
Любовью тихой и святой.

<1832>

НЕ НАЯВУ И НЕ ВО СНЕ

Фантазия

Князю П. Г. Гагарину

And song that said a thousand things.[1]

Откинув думой жизнь земную,
Смотрю я робко в темну даль;
Не знаю сам, о чем тоскую,
Не знаю сам, чего мне жаль.

Волной, меж камнями дробимой,
Лучом серебряной луны,
Зарею, песнию любимой
Внезапно чувства смущены.

Надежда, страх, воспоминанья
Теснятся тихо вкруг меня;

[1] Как много было в песне той! <Перевод В. А. Жуковского.>

Души невольного мечтанья
В словах мне выразить нельзя.

Какой-то мрачностью унылой
Темнеет ясность прежних дней;
Манит, мелькает призрак милой,
Пленяя взор во тме ночей.

И мнится мне: я слышу пенье
Из-под туманных облаков...
И тайное мое волненье
Лелеять сердцем я готов.

<1832>

ИЗ ТРАГЕДИИ НИКОЛИНИ «GIOVANNI DI PROCIDA»[1]

Хор певцов

Уж не холодный ветер веет,
Проникло солнце в тень лесов;
Зачем так пышно зеленеет
Земля измученных рабов?

Поля, где кровь текла рекою,
Где тлеют кости сыновей,
Одеты жатвой золотою —
Твоей добычею, злодей!

Затмись, Италии прекрасной
Лазурный свод, — покройся мглой!
О, не свети так солнце ясно
Над притесненною страной!

Весна природу оживляет,
Но не пробудит мертвецов:
Их страшен сон, их попирает
Стопа надменных пришлецов.

[1] «Джованни ди Прочида» (итал.). — *Ред.*

Певец

Как Этна, погибель во мраке свершая,
Готовит не пламень, который блестит,
И к небу стремится, ужасно сверкая,
И в бездну родную обратно летит,
Но лаву, текущую с грозной вершины
Путем неизвестным безмолвно в долины,
Где всё сокрушает в порыве немом
И губит беспечных внезапным огнем, —
Так гнев справедливый, готовясь на мщенье,
За край наш родимый мы станем таить,
Чтоб видом спокойным в сердцах подозренье
У буйных злодеев скорей усыпить.

Хор

И девы сицильянские,
Скрываясь от врагов,
Венками не украшены
Из горестных цветов,
Взлелеянных тем воздухом,
Которым Франк дышал,
И в той земле рожденными,
Где он, наглец, ступал;
Но кудри свои черные
Фиалками увьют,
Когда они в кровавый день
К свободе расцветут.

<1832>

ИЗ ДАНТЕ

Ударил час, когда готово измениться
Желание пловца, крушимого тоской,
В тот день, как с милыми друзьями он простится.
И любит он нежней, и пальмник молодой,
Услыша дальний звон, который будто плачет
О дни минующем, стремится к ним душой.

<1832>

БЕВЕРЛЕЙ

(Шотландская баллада из Валтера Скотта)

Вольное подражание

С младым Беверлеем кто равен красой?..
Стрелою несется с ним конь вороной,
Он скачет бесстрашно, он скачет один,
С ним только меч острый — надежда дружин;
В любви всех вернее, а в битвах смелей,
Меж витязей славен младый Беверлей.

В лесу нет преграды, утес невысок,
Бушует ли буря — он вплавь чрез поток;
Но в Нетерби витязь на горе скакал:
Невеста склонилась — жених опоздал!
Соперник бездушный с Матильдой твоей
Идет уж венчаться, младый Беверлей!

Он в замке, он видит: пирует семья,
Шумят, веселятся родные, друзья;
Жених торопливый, бледнея, молчит;
За меч ухватяся, отец говорит:
«У нас ты на свадьбе как друг иль злодей?
На брань иль на танцы, младый Беверлей?»

— «От вас мне награда в любви не дана;
Любовь рекой льется, кипит, как волна;
Мила мне Матильда, — но с вами равно
Готов я на танцы, готов на вино;
Есть много пригожих; невесту нежней,
Быть может, достанет младый Беверлей».

Бокал с поцелуем у девы он взял,
Вино выпил разом — и бросил бокал.
Невеста вздохнула, огонь на щеках,
Улыбки искала, а слезы в очах;
И мать хоть сердилась, — взяв руку у ней,
Ведет ее в танцы младый Беверлей.

И все любовались прелестной четой:
Его ловким станом, ее красотой;
Родные же смотрят с досадой на них, —

С пером своей шляпы играет жених;
И шепчут подруги: «О, если бы ей
Прекрасный был мужем младый Беверлей!»

Он жмет ее руку, он что-то сказал, —
И вдруг оба вышли, а конь поджидал.
Проворно он с нею вскочил на коня:
«Теперь не догонят злодеи меня!
Матильда, друг милый, навек ты моей!» —
И вихрем помчался младый Беверлей.

В погоню гналися по рвам, по холмам
И Мюсгрев, и Форстер, и Фенвик, и Грамм;
Скакали, искали вблизи и вдали —
Пропадшей невесты нигде не нашли.
В любви всех вернее, а в битвах смелей —
Таков был отважный младый Беверлей!

<1832>

НАС СЕМЕРО

(Из Вордсворта)

А. В. В.

Радушное дитя,
Легко привыкшее дышать,
Здоровьем, жизнию цветя,
Как может смерть понять?

Навстречу девочка мне шла.
Лет восемь было ей,
Ее головку облегла
Струя густых кудрей;

И дик был вид ее степной,
И дик простой наряд,
И радовал меня красой
Малютки милой взгляд.

«Всех сколько вас? — ей молвил я, —
И братьев и сестер?»

— «Всего нас семь», — и на меня,
Дивясь, бросает взор.

«А где ж они?» — «Нас семь всего. —
В ответ малютка мне. —
Нас двое жить пошли в село,
И два на корабле,

И на кладбище брат с сестрой
Лежат из семерых,
А за кладбищем я с родной, —
Живем мы подле них».

— «Как? двое жить в село пошли,
Пустились двое плыть, —
А всё вас семь! Дружок, скажи,
Как это может быть?»

— «Нас семь, нас семь, — она тотчас
Опять сказала мне, —
Здесь на кладбище двое нас,
Под ивою в земле».

— «Ты бегаешь вокруг нее,
Ты, видно, что жива;
Но вас лишь пять, дитя мое,
Когда под ивой два».

— «На их гробах земля в цветах,
И десяти шагов
Нет от дверей родной моей
До милых нам гробов;

Я часто здесь чулки вяжу,
Платок мой здесь рублю,
И подле их могил сижу
И песни им пою;

И если позднею порой
Светло горит заря,
То, взяв мой сыр и хлеб с собой,
Здесь ужинаю я.

Малютка Дженни день и ночь
Томилася больна,
Но бог ей не забыл помочь, —
И спряталась она;

Когда ж ее мы погребли
И расцвела земля,
К ней на могилу мы пришли
Резвиться — Джон и я;

Но только дождалась зимой
Коньков я и саней,
Ушел и Джон, братишка мой,
И лег он рядом с ней».

— «Так сколько ж вас?» — был мой ответ.
— «На небе двое, верь!»
— «Вас только пять». — «О барин, нет,
Сочти, — нас семь теперь».

— «Да нет уж двух, — они в земле,
А души в небесах!»
Но был ли прок в моих словах?
Всё девочка твердила мне:
«О нет, нас семь, нас семь!»

<1832>

ТОСКА ПО РОДИНЕ

Вольное подражание Шатобриану

С любовью вечною, святой
Я помню о стране родной,
Где жизнь цвела;
Она мне видится во сне.
Земля родная, будь ты мне
Всегда мила!

Бывало, мы пред огоньком
Сидим с родимой вечерком —
Сестра и я,

Поем, смеемся, — полночь бьет —
И к сердцу нас она прижмет,
Благословя.

Я вижу тихий, синий пруд,
Как ивы с тростником растут
На берегах;
И лебедь вдоль него летит,
И солнце вечера горит
В его волнах.

И вижу я: невдалеке
Зубчатый замок на реке
В тиши стоит
С высокой башней, и на ней
Я слышу, мнится, в тме ночей,
Как медь гудит.

И как я помню, как люблю
Подругу милую мою!
О! где ж она?
Бывало, в лес со мной пойдет,
Цветов, клубники наберет...
Мила, нежна!

Когда ж опять увижу я
Мою Сияну, лес, поля
И над рекой
Тот сельский домик, где я жил?..
О, будь, всегда будь сердцу мил,
Мой край родной!

<1832>

РАЗБИТЫЙ КОРАБЛЬ

Вольное подражание

Графине С. И. Лаваль

День гаснул в зареве румяном, —
И я, в смятеньи дум моих,
Бродил на береге песчаном,
Внимая ропот волн морских.

И я увидел меж песками
Корабль разбитый погружен;
Он в бурю шумными волнами
На дикий берег занесен, —

И влага мхом давно одела
Глубоких скважин пустоты;
Уже трава в них зеленела,
Уже являлися цветы.

Стремим грозой в утес прибрежный,
Откуда и куда он плыл?
Кто с ним в час бури безнадежной
Его крушенье разделил?

Утес и волны, всё молчало,
Всё мрак в уделе роковом, —
Лишь солнце вечера играло
Над ним, забытым мертвецом.

И на корме его сидела
Жена младая рыбака,
Смотрела вдаль и песни пела
Под томный ропот ветерка.

С кудрявой русой головою
Младенец близ нее играл,
Над звучной прыгал он волною,
А ветер кудри развевал.

Он нежные цветы срывает,
Лелея детские мечты.
Младенец радостный не знает,
Что он на гробе рвет цветы.

<1832>

ОЗЕРО МЕРТВОЙ НЕВЕСТЫ

Баллада

> Il était assis, pâle et défait, les cheveux en désordre, le regard terne, mais égaré, on voyait qu'un coeur brisé avait aliéné sa raison.[1]

«Она так пламенно любила,
Теперь меж волн погребена.
За то, что верность мне хранила...
Могиле влажной предана.

И между волн, могилы хладной
Узнав весь ужас в мертвом сне,
Она унылой, безотрадной
Вдруг ожила в их глубине.

Во тме, вдоль озера мелькает
Из тростника ее челнок,
И, как фонарь, в руке сверкает
Летучий синий огонек.

И вижу я — лишь... ночь настанет, —
Как в белом вся она плывет,
И слышу — сердце не обманет, —
Я слышу, как она поет.

Но я челнок построю прочный,
Возьму весло, фонарь зажгу,
И к ней навстречу в час полночный
На тайный брак я поплыву.

Там воет бездна, буря свищет,
Туман окружный ядовит,

[1] Он сидел, бледный и изнеможенный, с всклоченными волосами, с тусклым, но блуждающим взглядом; видно было, что несчастная любовь помутила его рассудок (франц.). — *Ред.*

Голодный волк во мраке рыщет,
Змея клубится и шипит.

Но вместе на песок зыбучий
Мы с ней украдкою пройдем
И проберемся в лес дремучий, —
В глуши приют себе найдем».

И он вдоль озера пустился,
Зажег фонарь, веслом звучал;
Но уж назад не возвратился —
Безумный без вести пропал.

И ночью всё меж волн мелькает
Из тростника ее челнок,
Белеет призрак, — и сверкает
Летучий синий огонек.

<1832>

ВОЛЬНОЕ ПОДРАЖАНИЕ АНДРЕЮ ШЕНЬЕ

Ко мне, стрелок младой, спеши! любим ты мною;
Любим, а я равна Диане красотою;
И так же я бела, и так же я стройна,
И в резвости живой стыдлива, как она;
И в час вечерний дня, с поникшими очами,
Долиной темною, теряясь меж кустами,
Как мимо пастухов я тихо прохожу
И, дева робкая, на дерзких не гляжу, —
Тогда кажусь я им не смертною простою:
«О, как прелестна ты! — несется вслед за мною. —
Неера, берегись вверять себя волнам!
Ты новым божеством покажешься пловцам —
И будут умолять от бури неизбежной
Богиню светлых вод с Неерой белоснежной».

<1832>

К ЖУКОВСКОМУ

Уже бьет полночь — Новый год, —
И я тревожною душою
Молю подателя щедрот,
Чтоб он хранил меня с женою,
С детьми моими — и с тобою,
Чтоб мне в тиши мой век прожить,
Всё тех же, так же всё любить.

Молю творца, чтоб дал мне вновь
В печали твердость с умиленьем,
Чтобы молитва, чтоб любовь
Всегда мне были утешеньем,
Чтоб я встречался с вдохновеньем,
Чтоб сердцем я не остывал,
Чтоб думал, чувствовал, мечтал.

Молю, чтоб светлый гений твой,
Певец, всегда тебя лелеял,
И чтоб ты сад прекрасный свой
Цветами новыми усеял,
Чтоб аромат от них мне веял,
Как летом свежий ветерок,
Отраду в темный уголок.

О друг! Прелестен божий свет
С любовью, дружбою, мечтами;
При теплой вере горя нет;
Она дружит нас с небесами.
В страданьях, в радости он с нами,
Во всем печать его щедрот:
Благословим же Новый год!

1 января 1832

ЖАЛОБА

Plaisir, pourquoi m'a tu trompé?[1]

О, дайте сердцу тосковать!
Оно мечтать, любить устало.
Хочу я слезы проливать;
В душе лишь горе не увяло.
Уже давно оделись тмой
Мои все радости былые;
Сдружился я с моей тоской;
Но слышны жалобы чужие.

И что ж! везде кругом меня
Надежда тмится, льются слезы;
И кипарис встречаю я
Там, где цвели младые розы.
Обман пленительной мечте,
Обман святому вдохновенью,
Обман любви и красоте,
Обман земному наслажденью!

Давно ли — жизнь семьи родной —
Являлся юноша[2] меж нами
С высокой, пылкою душой,
С одушевленными струнами, —
И вдруг от нас сокрылся он!
Умолк напев, мечтанью милый,
Лишь веет в полночь дивный стон
Над тихою его могилой...

С молитвой тайной на устах,
Друг в друге счастье обнимая,
С мечтой небесною в сердцах
Идет к венцу чета[3] младая;
Но в храм счастливцы не вошли;
Их в нем не встретил хор венчальный;

---

[1] Радость, почему ты меня обманула? (франц.). — *Ред.*
[2] Э. С. Дорогомыжский.
[3] В. А. Корсакова.

Не факел радостной любви —
Зажегся факел погребальный...

А твой сбылся волшебный сон,
Младая прелесть;[1] ты имела
Всё то, чем смертный восхищен, —
Богатством, знатностью светлела,
Пленяла милою красой,
И друга по сердцу сыскала,
И тихо, с нежностью святой
Младенца в персях прижимала;

И вянешь ты во блеске дней,
Лилея, сердцу дорогая!..
Увы!.. Как рано перед ней
Открылась тайна гробовая!..
Любовью, радостью дышать...
И в сень подземную скрываться!
Ей страшно было умирать —
Еще страшнее расставаться...

Когда б убитые сердца
Взор томный к небу не бросали
И нам, по благости творца,
Бессмертьем звезды не сияли, —
Кто б смел желать? кто б смел любить?
Кто б не был сокрушен тоскою?
Но сердце с сердцем будет жить,
Сольется вновь душа с душою!

19 июля 1832
С.-Петербург

К ПЕЧАЛЬНОЙ КРАСАВИЦЕ

С крутых муравчатых холмов
В долину ручеек стремится,
Играет, плещет меж кустов,
Светлее зеркала струится;

[1] Графиня Витгенштейн, урожденная княжна Радзивил.

Но вскоре бурною зимой
Морозов звонких ужаснется,
И, уж окованный волной,
Блестящий ток не шевельнется.

И роза юная в полях
Царевной гордою светлеет,
Вот вплетена она в венках,
Вот на груди огнем алеет;
Но, видно, грусть знакома ей:
В разлуке с веткою родимой
Она час от часу томней, —
И вот увял цветок любимый.

На тихий дол, на темный лес
Луна свой блеск бросает нежно,
Краса полуночных небес
Плывет по звездам безмятежно,
И на нее любовь глядит.
Она ясней воспоминанья! —
Но туча вслед за ней летит,
И меркнет милое сиянье.

Так гонит всё враждебный рок —
Волна замрет и не струится;
И вянет радостный цветок,
И ясный луч внезапно тмится;
Но, грустно голову склоня,
Сидишь ты — слезы в томном взоре...
О ты, о ком мечтаю я,
Скажи: ужель ты знаешь горе?

28 декабря 1832
С.-Петербург

МЕЧТАНИЕ

Бросая на державы гром,
Он, не страшась судьбы удара,
Исчез в бореньи роковом,
Как дым московского пожара;

Но прежних битв победный шум,
Быть может, — дерзость тайных дум,
Им удивленные, скрижали
Неслись чрез дальний океан
К нему на гробовой курган —
И тень колосса утешали;
Теперь он безотраден стал,
Теперь в могиле он узнал,
Как бедный сын его увял,
Как молвил он, стеснен тоскою,
Потомство видя пред собою:
«Увы! лишь скажут про меня,
Что родился — что умер я!» [1]

1832

ДВА ЧЕЛНОКА

А. Н. М.

Течет прозрачная река,
Шумит, блестит меж берегами.
По той реке два челнока
Несутся быстрыми волнами;
Различен вид двух челноков,
Различна песня двух пловцов.

Один челнок был весь в цветах,
И белый парус тихо веял,
Мелькал на светлых он волнах,
И ветерок его лелеял;
Собой любуясь, он летит, —
Младая прелесть в нем сидит.

Другой челнок едва нырял,
Свершая тяжко бег упорный;
С трудом он волны рассекал,
На нем вздымался парус черный;

---

[1] Je ne laisserai à l'histoire que ma naissance et ma mort. — Последние слова герцога Рейхштадтского.

И гибель вкруг него шумит, —
Страдалец бледный в нем сидит.

Смеясь, прекрасная поет:
«Как мне отрадно плыть рекою!..
На берегах весна цветет,
Душистый воздух надо мною,
И солнце страх мой гонит прочь,
А месяц светит в темну ночь.

И мне легко на свете жить!..
Сбылись мечты мои младые,
И сладко с милым мне делить
Все чувства, сердцу дорогие!
И с каждым днем счастливей я,
И пламенней любовь моя!

Цвету душой!.. но вдалеке
Одно меня тревожит горе:
Есть бездна мрачная в реке,
Там, где она впадает в море!..
И как мне жизнью ни играть, —
Но бездны той не миновать!..»

И слышен был страдальца стон:
«Как мне ужасно плыть рекою!..
На берегах со всех сторон
Угрюмый бор передо мною,
И солнце в тучах тмится днем,
А ночью мгла и страх кругом.

И тяжко мне на свете жить,
Где облилося сердце кровью,
Где, бедный, я, стремясь любить,
Обманут дружбой и любовью,
Где навсегда убит грозой
Моих надежд любимых рой.

И предан я навек тоске!..
Лишь мне одно отрадно в горе:
Есть бездна мрачная в реке,
Там, где она впадает в море!..

Не страшно мне о том мечтать,
Что бездны нам не миновать!»

И челноки в далекий край
Реки стремленье направляет, —
И вдруг, как будто невзначай,
Их бездна мрачная встречает;
Шумит, ревет, кипит река...
Пропали оба челнока.

И свет давно забыл пловцов;
Но весть надеждой озарила,
Что бездна робких челноков
Во тме своей не погубила
И что таинственным путем
Они в том море голубом,

Где нас уж буря не страшит,
Где негу льет эфир душистый
И свод безоблачный горит
Сияньем радуги огнистой;
Где всё блестит в красе младой,
Всё дышит радостью святой.

И та, чью жизнь лелеял свет,
Счастливей думою сердечной,
Что там уже разлуки нет,
Что жар любви пылает вечно,
Что бережет надежный ток
Ее пленительный челнок.

И, сбросив мрак тоски своей,
Узнал страдалец жизни сладость;
Он памятью печальных дней
Теснее обнимает радость;
Цветет, отрадою дыша,
Его бессмертная душа.

<1833>

МОЯ МОЛИТВА

О ты, кого хвалить не смею,
Творец всего, спаситель мой;
Но ты, к кому я пламенею
Моим всем сердцем, всей душой!
Кто, по своей небесной воле,
Грехи любовью превозмог,
Приник страдальцев к бедной доле,
Как друг и брат, отец и бог;

Кто солнца яркими лучами
Сияет мне в красе денной
И огнезвездными зарями
Всегда горит в тиши ночной;
Крушитель зла, судья верховный,
Кто нас спасает от сетей
И ставит против тмы греховной
Всю бездну благости своей! —

Услышь, Христос, мое моленье,
Мой дух собою озари
И сердца бурного волненье,
Как зыбь морскую, усмири;
Прими меня в свою обитель, —
Я блудный сын, — ты отче мой;
И, как над Лазарем, спаситель,
О, прослезися надо мной!

Меня не крест мой ужасает, —
Страданье верою цветет,
Сам бог кресты нам посылает,
А крест наш бога нам дает;
Тебе вослед идти готовый,
Молю, чтоб дух мой подкрепил,
Хочу носить венец терновый, —
Ты сам, Христос, его носил.

Но в мрачном, горестном уделе,
Хоть я без ног и без очей, —
Еще горит в убитом теле
Пожар бунтующих страстей;

В тебе одном моя надежда,
Ты радость, свет и тишина;
Да будет брачная одежда
Рабу строптивому дана.

Тревожной совести угрозы,
О милосердый, успокой;
Ты видишь покаянья слезы, —
Молю, не вниди в суд со мной.
Ты всемогущ, а я бессильный,
Ты царь миров, а я убог,
Бессмертен ты — я прах могильный,
Я быстрый миг — ты вечный бог!

О, дай, чтоб верою святою
Рассеял я туман страстей
И чтоб безоблачной душою
Прощал врагам, любил друзей;
Чтоб луч отрадный упованья
Всегда мне в сердце проникал,
Чтоб помнил я благодеянья,
Чтоб оскорбленья забывал!

И на тебя я уповаю;
Как сладко мне любить тебя!
Твоей я благости вверяю
Жену, детей, всего себя!
О, искупя невинной кровью
Виновный, грешный мир земной, —
Пребудь божественной любовью
Везде, всегда, во мне, со мной!

<1833>

СВЕЖАНА И РУСЛАН

Баллада

«О, какой судьбой ужасной,
Грозный мой отец,
Наказал ты пламень страстный
Наших двух сердец!

Год, как здесь, во тме унылой,
Я не вижу дня,
И не знает друг мой милый,
Где найти меня!»

Так, из башни одинокой
Над Днепром-рекой,
Слышен был в ночи глубокой
Плач красы младой.
Кто же узница младая,
Смутных дум полна?
Дочь надменного Рогдая,
Ленская княжна.

Ах! Свежана всех милее
Меж княжен цвела,
И не так бела лилея,
Как она бела;
Очи томные горели
Голубым огнем,
Кудри мягкие темнели
На челе младом.

И князья к отцу съезжались
Из далеких стран, —
Все прекрасною пленялись.
Но ни царский сан,
Ни князь Пронский, ни князь Бельский
И весь сонм князей —
Всё ничто! Руслан Гоме́льский
Был по сердцу ей.

Он отважен, он прелестен,
Он был честь дружин, —
Но убог и неизвестен,
Не боярский сын.
И родитель раздраженный
Гонит жалость прочь:
Тайно в башне отдаленной
Заключил он дочь.

И сквозь ставни роковые
Не проходит день,

Всё там призраки ночные,
    Всё немая тень;
Лишь порой она внимает,
    Как волна кипит,
Пташка робкая порхает
    И тростник шумит.

И вот к башне той высокой
    В челноке рыбак
Путь стремит свой одинокой,
    Лишь настанет мрак;
В волны невод он бросает,
    К башне взор стремя,
И прохожих уверяет,
    Что тут рыбы тьма.

Но не в пользу труд упорный:
    Мало рыб бежит;
И он часто, с думой черной,
    Вкруг себя глядит,
На лице следы печали
    И в очах туман. . .
Вы давно все отгадали,
    Что рыбак — Руслан.

И он сторожа ласкает,
    В свой приют зовет,
Сладким медом угощает, —
    Только сам не пьет.
И случись: после раздолья
    Бедный сторож спал, —
Он ключи из подголовья
    У хмельного взял.

Бьется сердце у Руслана,
    К башне он стрелой:
«Друг мой милый, о Свежана!
    Я опять с тобой;
Ах, не медли! над холмами
    Лишь заря блеснет,
В церковь сельскую с венцами
    Духовник придет».

И она то замирает,
То в ней кровь кипит,
И венец святой сияет,
И любовь манит.
Как же быть! перекрестилась
И, не тратя слов,
Уж на пристани явилась,
Где челнок готов.

И невинная Свежана
От препон нежней,
Видит небо и Руслана —
Всё, что мило ей.
Дерзко волны рассекая,
Стал нырять челнок, —
Но ужасна мгла ночная
И шумящий ток.

И вот молния блеснула,
С треском грянул гром,
Роща сонная вздрогнула
Над рекой Днепром;
Вихри бурные несутся,
И ревет волна, —
Ах! иль звезды не зажгутся,
Не взойдет луна?

И страшней грозы тревога
Двух младых сердец,
Друг за друга молят бога;
Но судил творец
Им, обманутым мечтою,
Светлых дней не знать
И с молитвой начатою
В небеса предстать.

Где каменья угрожали
И разбился челн,
Там страдальцев отыскали
У прибрежных волн.
И священник поседелый
К ним пришел с зарей,

Но удел их — саван белый,
Не венец златой;

Сокрушенный сам бедами,
Он их прах любил,
Панихиду со слезами
Каждый день служил.
И быть в башне одинокой
Удалося мне,
И читать рассказ жестокой
На ее стене.

И над тихою могилой
Я не раз мечтал,
И в тумане призрак милый
Надо мной летал;
Непонятное волненье
Мне теснило грудь, —
Видя чудное явленье,
Я не смел дохнуть.

<1833>

БРЕНДА

В стране, где мрачные туманы
Дымятся вкруг высоких гор;
Где скалы, озера́, курганы
Дивят и увлекают взор;
Где, стены замков обтекая,
Шумит, ревет волна морская
И плещет пеною своей
Под башнями монастырей, —

Там между скал, укрыт лесами,
Таится дерзостный народ,
Кипит он буйными страстями,
Как грозный ток нагорных вод.
Но милы там прелестны девы,
Как сладкие любви напевы;
Их нежный блеск в красе младой
Свежее розы полевой.

Уж был зажжен порой ночною
В горах сторожевой огонь;
Тропинкой узкой и крутою
Стремится, скачет борзый конь.
В ущельях звонких раздается,
Как скачет конь, — но кто несется
При бледной, трепетной луне,
Как вихрь, на вороном коне?

Через ручьи, через овраги
Он быстро гонит, он летит,
Он полон бешеной отваги,
Он чудной дерзостью страшит.
Или от гибели он мчится?
Иль сам губить кого стремится?
С ним скачет смерть, за ним вослед
Несется ужас мрачных бед.

Промчался он, но думой черной
Мою он душу отравил;
Он рьяностью своей упорной
Дремотный сумрак возмутил, —
Его чело темнее ночи,
Краснее угля рдеют очи...
О! страшен ты, ездок ночной,
Как призрак вещий, роковой.

Но что в полночной тме мерцает?
Клубится дым под небеса, —
Внезапно пламень озаряет
Утесы, замки и леса;
Сверкнув багровыми струями,
Он льет огонь меж облаками
И вьется яркою змеей
Сквозь дым широкий и густой.

Пожара признак неизбежный —
Заря кровавая легла;
Несется вопль и шум мятежный,
Звонят, гудят колокола;
Объемлет пламень-истребитель
Святую инокинь обитель:

Их церковь, кельи — всё горит,
И крест в дыму уж не блестит.

Увы! невольно покидая
Тот мир, где прелестью цвела,
Навек там Бренда молодая
Себя томленью обрекла;
Уж очи темно-голубые
Не встретят радости земные,
И, русых кудрей лишена,
Теперь под схимою она.

Была молва, что вождь нагорный
Младую Бренду полюбил
И что он страстью непритворной
Ее, прекрасную, пленил;
Но, сын тревог, в нем дух кичливый
Страшил отца невесты милой;
Его огнем кипела кровь,
Была грозой его любовь.

И вдруг меж горными вождями
Возникла брань, и в шумный бой
Отважно с верными друзьями
Помчался витязь удалой;
Но с ним уж Бренде не венчаться,
Ее удел — в тиши спасаться:
Угрюмый, горестный отец
Расторгнул узы двух сердец.

Вкруг башни и стены зубчатой
Струями пламень пробегал,
Сквозь зелень блеск он красноватый
На скалы дикие бросал;
Волнуясь, зарево пылало,
В потоках, в озере дрожало;
Чрез дым мелькая по горам,
Взвивались тени к облакам.

И вот тропинкою крутою
Он, призрак тьмы, ездок ночной,
Не скачет, но летит стрелою,

И к сердцу жадною рукой
Младую деву прижимает;
Любовью буйный взор сверкает...
О Бренда! Бренда! иль злодей
Святой невинности милей?

Погоня скачет; он, губитель,
В безумном бешенстве своем
Святую инокинь обитель
И кровью облил, и огнем.
Страшись! как туча громовая,
Летит погоня роковая, —
Неумолимою грозой
Гнев божий грянет над тобой.

Близка погоня, и от мщенья,
Преступник, не ускачет он;
Почти настигли, нет спасенья!
Уж конь в крови и утомлен,
И Бренда нежная, робея,
Приникнула к груди злодея;
У ней и в сердце, и в очах
Любовь, раскаянье и страх.

Но подле, с шумной быстротою
Стремясь с горы, кипит поток;
С конем и с Брендой молодою
В его гремучий бурный ток
Уж он слетел, отваги полный:
Он переплыть мечтает волны
И совершить опасный путь, —
Но можно ль небо обмануть?

И с Брендой хочет он, безумный,
В порывах буйного огня,
Нестися вплавь волною шумной;
Соскочив с усталого коня,
Он Бренду обхватил — но сила
Надежде пылкой изменила:
Он встретил тайный страшный рок,
Ему могила — бурный ток.

И дважды, Бренда, ты всплывала,
В руках с блестящим тем крестом,
С которым ты, увы! стояла
Еще вчера пред алтарем;
В минуту смерти неизбежной
Ты, сняв его с груди мятежной,
Прижала к сердцу, — а творец
Всё видит в глубине сердец!

Есть слух: в обители сгорелой
Бывает в полночь чудный звон,
А на волнах — в одежде белой
Мелькает тень и слышен стон;
И вдруг — откуда ни возьмется —
Ездок ночной чрез ток несется
При бледной, трепетной луне,
Как вихрь, на вороном коне.

<1834>

ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЕСТОНОСЦА

Быль[1]

Младой Готфрид Шатобриан
Жил в замке над рекою
Меж гор и добрых поселян
С прелестною женою.

---

[1] Un siècle après sa fondation, le monastère de Melleray se faisait encore remarquer par sa pauvreté. En 1262, Geoffroy de Chateaubriand, ce seigneur dont l'épouse expira de joie de le revoir, après une absence de plusieurs années, assigna par son testament 24 livres de rentes à ce couvent. Chateaubriand avait sans doute suivi Saint-Louis à la Croisade, en 1248.

Перевод: Даже через сто лет после того, как был основан Меллерейский монастырь, он обращал на себя внимание своей бедностью. В 1262 г. сеньор Жоффруа де Шатобриан, жена которого скончалась от радости, вновь увидя его после многолетней разлуки, назначил этому монастырю по завещанию 24 ливра ренты. Шатобриан, несомненно, сопровождал Святого Людовика в крестовом походе 1248 г. (франц.). — *Ред.*

Их ночь тиха, их ясен день,
В их сердце дышит радость,
Бежит от них печали тень,
В любви цветет их младость.

Вдруг раздался священный зов, —
И звук тревоги бранной
Влечет туда, где гроб Христов
В земле обетованной.

Восстали все: и стар и млад —
Везде кипят дружины,
Не страшен им ни зной, ни хлад,
Ни степи, ни пучины.

И витязь смотрит на коня.
«О милый край отчизны,
Приют домашнего огня
И нега мирной жизни!

Проститься с вами должен я.
А ты, мой друг прелестный,
Не унывай, и за меня
Молись в тиши безвестной!»

И взял он меч и крест святой,
И собрал он дружину,
Простился с милою женой,
Готовый в Палестину.

Помчался он, — но всё глядит
На замок свой родимый
И слезы на железный щит
Ронял, тоской крушимый.

В далекий край он долетел,
Где бой кипит кровавый,
И в блеске там отважных дел
Покрылся новой славой.

Меж тем, печальна и мрачна,
Жена его младая

Живет, слезам обречена,
О витязе мечтая.

И память с ним веселых дней
Слилась с душевной мукой,
И мнится, витязь стал милей
Несносною разлукой.

Тепла в ней вера, но крушит
Жестоких битв тревога.
«Нет, он не ранен, не убит,
Мой милый, ратник бога».

О, как любовь младую грудь
Томит мечтой своею!
И как вздохнуть, куда взглянуть,
Чтоб не был он пред нею!

Несется ль свежий ветерок
И солнце догорает, —
На пасмурный она восток
Взор томный устремляет;

Взойдут ли звезды и луна
Над сонными волнами, —
О нем беседует она
С луною и звездами.

Страшит ее в тиши ночей
Между гробниц заветных
Вид фантастических теней
При стеклах разноцветных.

Об нем там молится она
И мнит, какой-то силой
Невольно втайне смущена,
Что видит образ милый,

Что он мелькнул и вдруг исчез
Меж дымными столбами,
Как на лазурной тме небес
Звезда меж облаками.

Но время вечною стрелой
Летит, летит; дружины
Идут, одна вслед за другой,
Назад из Палестины.

И у прекрасной день и ночь
Надеждой сердце бьется;
Но как сомненье превозмочь! —
Всё ждет и не дождется.

Однажды вечер пламенел,
И горем дух стеснялся:
Ей никогда ее удел
Мрачнее не казался.

Волнуясь вещею тоской
И страшными мечтами,
К иконе девы пресвятой
Идет она с слезами.

И вдруг знакомый рог трубит,
И мост упал подъемный,
И вне себя она бежит,
Стремясь к аллее темной,

Где витязь шлем булатный свой,
Соскочив с коня, бросает,
А паж — наездник молодой —
С седла копье снимает.

Не верит взору своему,
Летит — и муж пред нею,
И кинулась она к нему
Без памяти на шею.

И витязь страстно обнимал
Жену свою младую;
Счастливец! он благословлял
Любовь ее святую.

Уста дрожали на устах,
Об сердце сердце билось;

Вдруг — чудный блеск в ее очах,
Дыханье прекратилось.

В груди стесненной жизни нет:
Творец! убила радость
Всё то, чем мил нам божий свет, —
Любовь, красу и младость!

И страшен, как жилец могил,
Был витязь овдовелый,
И месяц трепетно светил
На лик оцепенелый.

Сражен таинственной судьбой,
От всех несчастный скрылся,
С житейским морем и с земной
Надеждой он простился.

Обитель иноков стоит
Близ замка; там в молитвах,
В посте, в слезах он жизнь таит,
Прославленную в битвах.

Но час настал — и с нею вновь
Забыл он сердца муки
В том светлом мире, где любовь
Не знает уж разлуки.

<1834>

НОЧЬ

Элегия

Корабль наш рассекал стекло морских равнин,
И сеял искрами бездонный мрак пучин.
Уж месяц пламенел, вздымался пар душистый,
И сноп серебряный дрожал в лазури чистой
Дремотных волн, и звезд лелеяла краса
И волны, и эфир, и мрак, и небеса.
На палубе сидел, накинув плащ широкий,
Влюбленный юноша, красивый, черноокий;

Он думой тайною в родимый край летал,
Где брак с прекрасною счастливца ожидал.
Гитары трепетной со звонкими струнами
Сливал он песнь любви над тихими волнами;
Он пел, воспламенен девичьей красотой,
И встречу первую с невестой молодой,
И взгляды робкие, и лепет торопливый,
И буйный пламень свой, и жар ее стыдливый,
И грудь лилейную, и шелк ее кудрей,
И алые уста, и томный блеск очей.
Он пел, — а сердце в нем от неги замирало,
Одной невестою, одною ей дышало.
И мнилось: для нее, для их святой любви
Часы полночные так сладостно текли,
Для них вкруг корабля вздымался пар душистый,
И сноп серебряный дрожал в лазури чистой
Дремотных волн, и звезд лелеяла краса
И волны, и эфир, и мрак, и небеса.

<1834>

ОБМАНУТОЕ СЕРДЦЕ

О ты, ночь моя, ноченька,
Ночь ты лунная, ночь морозная,
Как тревожишь ты сердце томное,
Сердце томное — безнадежное!

Страшно мне: мой уголок,
Как могила, вкруг чернеет;
Разведу я огонек —
Дуб трещит и пламенеет,
Свет багровый на стенах
Чудно зыблется в очах;
И дохнуть не смею я, —
Тени бродят вкруг меня.

О, зачем я рождена
Вянуть бедной сиротою!
Жизнь моя отравлена
Неотступною тоскою;

Светлый призрак в тяжком сне
На беду являлся мне;
Даль мою затмил туман —
Сердцу был во всем обман.

На заре весны моей
Голубка я приучила,
Он был друг невинных дней.
О, как я его любила!
Снегом белым он сиял,
Томно, нежно ворковал;
Но, как легкий ветерок,
Улетел мой голубок.

В бедном садике моем
Рдела роза полевая.
Любовалась я цветком;
Часто, горе забывая,
К розе с свежею волной
Я бежала в летний зной.
Туча бурная нашла —
Розу молния сожгла.

Был друг милый у меня!..
Ночь, ты знаешь, ты видала,
Как в пылу безумном я
Друга к сердцу прижимала;
Вспомни: он твоей луной
Мне клялся, что будет мой. —
Но тень бродит... страшно мне!
Не душней в могильном сне.

О ты, ночь моя, ноченька,
Ночь ты лунная, ночь морозная,
Как тревожишь ты сердце томное,
Сердце томное — безнадежное!

<1834>

СТАНСЫ

(Из лорда Байрона)

Меж дев волшебными красами
Пленяя взор, ты дух тревожишь мой,
И, нежней музыки над синими волнами,
Мне мил, прелестен голос твой.
Лишь дивный звук возникнет, —
Вдруг океан утихнет;
Прельщен безмолвный ток,
Не вьется ветерок,
И месяц полуночный
Дрожит в волне проточной,
И томная струя
Лениво зыбь колышет
И, чуть вздымаясь, дышит,
Как сонное дитя.
Так сладостный восторг с сердечным умиленьем
Тобой, прекрасная, душе плененной дан,
И в той же полноте и с тихим тем волненьем,
С какими в летний жар струится океан.

<1834>

УМИРАЮЩИЙ ГЕЙДУК

Иллирийская баллада

«Орел ты мой белый! спустися на дол,
Слети с поднебесья, мой белый орел!
Взгляни: я, Заремба, в крови пред тобой.
Бывало, ты помнишь, в боях удалой,
Телами пандуров тебя я кормил;
Прошу, чтобы службу ты мне сослужил.
Потом пусть добычей орлятам твоим
С кровавым, с отважным я сердцем моим.

Пустую лядунку мою ты схвати
И к брату Рамейке скорее лети.
Двенадцать зарядов с собой я носил,
Двенадцать пандуров я ими убил.
Но с ними таился Бенаки-злодей;

Бездушный, боялся он сабли моей, —
Булат неизменный лишь выхватил я,
Он сзади кинжалом ударил меня.

Лети, — и родимый за брата отмстит.
И вот еще перстень — в нем яхонт горит —
И шитый узорно платок мой цветной,
Отдай их вернее Милене младой;
И станет мой перстень она целовать,
А слезы узорным платком отирать».
И мчит орел белый в безмолвьи ночном
Лядунку и перстень с узорным платком.

И к брату Рамейке орел прилетел;
Рамейко с друзьями в похмелье сидел,
О брате убитом едва потужил,
Пустую лядунку откинул, и пил.
К прелестной Милене помчался орел,
И деву младую он в церкви нашел;
И к ней он явился с заветным кольцом, —
Милена с Бенаки стоит под венцом.

<1834>

БАЙРОН В КОЛИЗЕЕ

ОТРЫВОК ИЗ 4-Й ПЕСНИ «ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА»

Лунная ночь. Лорд Байрон бродит один по развалинам Колизея; бьет полночь

О время, мертвых украшатель,
Целитель страждущих сердец,
Развалинам красот податель, —
Прямой, единственный мудрец!
Решает суд твой неизбежный
Неправый толк судей мирских.
Лишь ты порукою надежной
Всех тайных чувств сердец людских,
Любви и верности, тобою
Я свету истину явлю,

Тебя и взором и душою,
О время-мститель! я молю.

В развалинах, где ты священный
Для жертв себе воздвигло храм,
Младой, но горем сокрушенный,
Твоею жертвою — я сам.
Не внемли, если, быв счастливым,
Надменность знал; но если я
Лишь против злобы горделивым,
И ей не погубить меня, —
Тогда в судьбе моей ужасной,
Не дай, не дай свинцу лежать
На сердце у меня напрасно!
Иль также им не горевать?..

О Немезида! чьи скрижали
Хранят злодейства, в чьих весах
Века измены не видали,
Чье царство здесь внушало страх;
О ты, которая с змеями
Из ада фурий созвала
И, строго суд творя над нами,
Ореста мукам предала!
Восстань опять из бездны вечной!
Явись, правдива и грозна!
Явись! услышь мой вопль сердечный!
Восстать ты можешь — и должна.

Быть может, что моей виною
Удар мне данный заслужен;
И если б он другой рукою,
Мечом был праведным свершен, —
То пусть бы кровь моя хлестала!..
Теперь я гибнуть ей не дам.
Молю, чтоб на злодеев пала
Та месть, которую я сам
Оставил из любви!.. Ни слова
О том теперь, — но ты отмстишь!
Я сплю, но ты уже готова,
Уж ты восстала — ты не спишь!

И вопль летит не от стесненья, —
И я не ужасаюсь бед;
Где тот, кто зрел мои волненья
Иль на челе тревоги след?
Но я хочу, и стих мой смеет —
Нести потомству правды глас;
Умру, но ветер не развеет
Мои слова. Настанет час!..
Стихов пророческих он скажет
Весь тайный смысл, — и от него
На голове виновных ляжет
Гора проклятья моего!

Тому проклятью — быть прощеньем!
Внимай мне, родина моя!
О небо! ведай, как мученьем
Душа истерзана моя!
Неправды омрачен туманом,
Лишен надежд, убит тоской;
И жизни жизнь была обманом
Разлучена, увы, со мной!
И только тем от злой судьбины
Не вовсе сокрушился я,
Что не из той презренной глины,
Как те, кто в думе у меня.

Обиду, низкие измены,
Злословья громкий, дерзкий вой,
И яд его шумящей пены,
И лютость подлости немой
Изведал я; я слышал ропот
Невежд, и ложный толк людей,
Змеиный лицемерья шепот,
Лукавство ябедных речей;
Я видел, как уловка злая
Готова вздохом очернить
И как, плечами пожимая,
Молчаньем хочет уязвить.

Но что ж? я жил, и жил недаром!
От горя может дух страдать,

И кровь кипеть не прежним жаром,
И разум силу потерять, —
Но овладею я страданьем!
Настанет время! надо мной,
С последним сердца трепетаньем,
Возникнет голос неземной,
И томный звук осиротелый
Разбитой лиры тихо вновь
В груди, теперь окаменелой,
Пробудит совесть и любовь!

<1834>

К И. П. МЯТЛЕВУ

На мшистом берегу морском
Один, вечернею зарею,
Сидишь ты в сумраке ночном,
Сидишь — и пылкою душою
Стремишься вдаль: на свод небес,
Мерцающий в тени сребристой,
На взморье, на прибрежный лес
С его поляною душистой,
На своенравных облаков
Летящий хоровод эфирный,
На дымные ряды холмов
И на луну во тме сапфирной —
Задумчиво бросаешь взгляд.
О, сколько сердцу говорят
Безмолвные красы творенья!
Как их пленительны виденья,
Одушевленные мечтой!
Они таинственного полны.
О дивном шепчет бор густой,
Шумят о неизвестном волны;
Надежду, радость, горе, страх,
Тоску о невозвратных днях,
Невольный ужас мрачной бездны,
Влеченья сердца в мир надзвездный
От них, сливаяся с душой,
Несет нам голос неземной.

И тихо в думу погруженный,
Ты взор обводишь вкруг себя,
Ты полон жизни вдохновенной,
Мечтая, чувствуя, любя.
С тобою в дни твои младые
Сбылись, сбылись мечты святые;
Благословляя твой удел,
Ты оценить его умел.
Но так, как буря с синим морем, —
Так сердце неразлучно с горем;
И, может быть, творцом оно
Душе светильником дано.
Ты счастлив друг, а долетали
И до тебя уже печали;
И тех давно теперь уж нет,
С кем зеленел твой юный цвет.
Но кто здесь встретился с тоскою
И кто порою слезы льет,
Тот озаренною душою
Теснее радость обоймет.

Но уж пора, и меж древами —
Ты видишь — блещет огонек;
Ты встал и скорыми шагами
Идешь в родимый уголок;
Твое отрадно сердце бьется,
Оно в груди твоей смеется:
Там ждет тебя и друг, и мать,
И дети с милою женою.
Любви семейной благодать,
О, что равняется с тобою!

Так часто я к тебе лечу,
Себя обманывая снами,
И тихо, тихо между вами
Пожить я в Знаменском хочу.
Влекомый легкостью природной,
Знакомкой резвой юных дней,
Почти забыл я, сумасбродный,
Что я без ног и без очей;
Но их, подругою заветной,
Моей мечтою я сберег...

Уж я иду в твой сад приветный,
Брожу и вдоль и поперек,
На божий храм золотоглавый
Стремлю я с умиленьем взгляд;
Приятен вид мне величавый
Боярских каменных палат;
Чрез поле, рощи и долины
Смотреть с тобой домчался я
На взморья зыбкие равнины,
На бег неверный корабля
И как, надеждою маня,
Играет им волна морская.
Но, томно берег озаряя,
Уж месяц встал — унылых мест
Давно друзья, в твое жилище
Идем чрез сельское кладбище;
Там вижу вновь *зеленый* крест,
И вспомнил я твою балладу...
Ты дал усопшему отраду:
Подземный горестный жилец
Уж боле страха не наводит,
И в белом саване мертвец
В полночной тме теперь не бродит.
Но я, мой друг, жалеть готов,
Что твой покойник меж гробов
Надолго перестал скитаться:
Я с ним хотел бы повстречаться;
И ты один тому виной,
Что он уснул в земле сырой.

Быть может, что, летя мечтами
Туда, где быть не суждено,
Я усыпил тебя струнами.
Итак, прости... Скажу одно:
О! счастлив тот, кто жизни цену
В младые дни уразумел
И после бурь нашел в замену
Блаженный по сердцу удел;
Кто без святого упоенья
Очей не взводит к небесам,
Лелея мир воображенья,
Знакомый пламенным сердцам;

Кто знает, что в житейской доле
Любовь — прекрасному венец,
И каждый день кто любит боле,
Как сын, как муж и как отец.

<1834>

СТАНСЫ

Настала тень осенней длинной ночи.
Крушился я, страданьем утомлен,
Искали сна мои печальны очи,
Но их давно покинул сладкий сон.

И я летал в дали, душою зримой:
Младые дни мелькали предо мной
В своей красе невозвратимой
И с мрачной их внезапною грозой.

Но сердце вдруг мечтою возвышенной
В груди моей кипит, оживлено,
С тревогой дум, надеждой примиренной,
Подумал я: несчастье... что оно?

Оно — гигант, кругом себя бросая
Повсюду страх, и ноги из свинца,
Но ярче звезд горит глава златая
И дивный блеск от светлого лица.

Подавлен тот свинцовыми ногами,
Пред грозным кто от ужаса падет,
Но, озарен, блестит его огнями,
Кто смело взор на призрак возведет.

За тяжкий крест получит он замену:
Забытый гость счастливцами земли
Душой поймет священной дружбы цену
И жар святой, таинственной любви.

Его удел — живые впечатленья,
Житейским сном уж грудь не стеснена,

В слезах своих найдет он наслажденья, —
Страдальца жизнь высокого полна.

Так пыл мечты в грозе красу нам кажет,
Быстрее путь в час бури по волнам, —
И сколько тайн прекрасных горе скажет
Тому, чей дух стремится к небесам!

В его душе звук совести яснее,
Луч правды чист и бледен страх людской:
Он думает, он чувствует сильнее, —
Не узником он прихоти мирской.

Летучий вихрь равно в полях разносит
Ковыль-траву и розовый листок,
И якоря, увы! никто не бросит
В сияющий, но бурный жизни ток.

О жизнь! теки: не страшен мрак могилы
Тому, кто здесь молился и страдал,
Кто, против бед стремя душевны силы,
Не смел роптать, любил и уповал.

<1834>

К ГОСПОДИНУ АЛЕКСАНДРУ

Весь мир дивит твой дар чудесный,
И чародея мне ль хвалить?
Но я могу ли позабыть,
Как ты, явясь в приют мой тесный,
Меня радушно веселил,
И хоть от мрака вечной ночи
Тебя мои не зрели очи,
Ты слух внимательный дивил:
Как два охотника кричали,
Собаки лаяли, визжали,
Как, мужем вдруг пробуждена,
Шумела сонная жена

И как младенец их единый
Заплакал на груди родимой.
Всё было чудо, и тебя
За то хвалить не в силах я.
Но как, беседуя со мною,
Ты часто увлекал меня
Высокой, ясною душою,
С каким приветом каждый раз
Твои глубокие познанья,
Забавный, умный твой рассказ
Мои лелеяли мечтанья
Бесценной дружбою твоей, —
Пребудет в памяти моей.

<1834>

ДВА СОНЕТА
(Из Петрарка)

1

Я к той был увлечен таинственной мечтою,
Которую ищу напрасно на земле,
И там, где горний мир, она предстала мне
Не столь жестокою, еще светлей красою.

И молвила она, держа меня рукою:
«Хочу, чтоб был со мной в надзвездной ты стране;
Я дух крушила твой любви в тревожном сне,
И прежде вечера мой день был кончен мною.

Блаженству дивному как быть изъяснену!
Тебя жду одного и чем тебя пленяла —
Мою прекрасную земную пелену».

Увы! зачем она речей не продолжала
И руку отняла! — мне, ими прельщену,
Уж мнилось, что душа на небе обитала.

2

В какой стране небес, какими образцами
Природа, оживясь, умела нам создать
Прелестный образ тот, которым доказать
Свою хотела власть и в небе, и меж нами?

Богиня где в лесах иль нимфа над волнами,
Чьи локоны могли б так золотом блистать?
Чье сердце добротой так может удивлять,
Хотя мой век оно усеяло бедами?

Мечтатель, пламенный еще, не встретясь с ней,
Божественных красот всей прелести не знает,
Ни томного огня пленительных очей;

Не знает, как любовь крушит и исцеляет, —
Кто звука не слыхал живых ее речей,
Не зная, как она смеется и вздыхает.

<1834>

ГОСУДАРЮ НАСЛЕДНИКУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ В ДЕНЬ ЕГО ТЕЗОИМЕНИТСТВА

Надежда русского народа,
Звезда полночныя страны,
Потомок доблестного рода,
Под чьей державой свершены
Деянья славы! — В день блаженный,
В сей день их памяти святой,
Наш Невский, наш благословенный
Блестят, наследник, пред тобой.

И с торжеством возникло пенье,
Стремится вера в светлый храм,
Царя и русских умиленье
Возносит ангел к небесам.
Предстал владетель полумира,
Кипит блистающая рать,

Гранит готов в сени эфира
Века, народы удивлять.

И гром на суше раздается,
И гром бросают корабли,
Пылает кровь, и сердце бьется
На славу, в честь родной земли.
И в их надзвездной горней сени
Земную родину любя, —
Взгляни! — двух Александров тени
С небес взирают на тебя.

Владея подданных сердцами,
Как благодать их жизнь цвела:
Да будут вечно образцами
Двух предков славные дела
Тебе! Им вслед стремиться должно, —
И вслед державного отца
Умножь еще, когда возможно,
Сиянье русского венца.

Один — вождем на бранном поле,
В орде народных прав щитом,
Велик в боях и в мирной доле,
Смирялся духом пред крестом;
Он был противников грозою,
На светлых невских берегах
Венчался славою земною —
Нетленной славой в небесах.

Другой — как ангел утешенья,
На радость взору и сердцам,
Был послан небом на спасенье
Земле родной, чужим странам;
Не устрашен пришельцев тьмою,
Спасая край родимый свой,
Он спас высокою душою
Законы истины святой.

Пред ним пал вождь непобедимый,
Париж надменный свержен в прах, —
И наш орел неотразимый

Уж веет на его стенах;
Вступил — враждебному народу
Блаженство с миром возвратил,
И угнетенных царств свободу
Пожар московский озарил.

Но, преселясь, по царстве славном
От нас в удел бессмертный свой,
Он ожил в брате нам державном
И в той красе, и с той душой.
И дух вождя и гражданина
Сияет нам в царе младом,
И жар священный семьянина,
Под светлым благостью венцом.

Война вдруг праведно пылает,
И новый край России дан,
И дерзкий блеск луна теряет,
И перейден уже Балкан,
И пред Стамбулом он явился,
Как божий гнев, с огнем, мечом;
Но, милосерд, остановился
И удержал в деснице гром.

О! славен тот, кто в ратном поле
Мечом побед войну пресек, —
Но тот славней, кто на престоле
И мудрый царь, и человек,
Кто льет щедротой дни златые
И в сердце кто хранить возмог
Те добродетели святые,
Которых образом сам бог!

И я, колени преклоняя,
Я чувства родины делю,
За венценосца Николая
Всех благ подателя молю;
И за царицу, нашу радость,
Любовь его бесценных дней,
И за твою святую младость —
Весны и радуги ясней.

И сердце русское трепещет,
Народной славою кипит, —
Она, как солнце, всюду блещет,
Везде и всем благотворит.
Творец всего, услышь моленье!
Храни и царство, и царя,
Надеждам дай благословенье!
О! с нами бог!.. ура, ура!

30 августа 1834

ТРЕВОЖНОЕ РАЗДУМЬЕ

Море синее, море бурное,
Ветер воющий, необузданный,
Ты, звезда моя полуночная, —
Ах, отдайте мне друга милого!

Где он? где? скажи мне, море;
Чем в далекой стороне
Он свое лелеет горе?
Всё ли помнит обо мне?
Днем меня ли ищут очи,
Я ль одна в его мечтах,
И меня ль во мраке ночи
Видит он в тревожных снах?

Ты, всегда везде летая,
Ветер, ветер, знаешь всё:
Заставал ты, как, вздыхая,
Шепчет имя он мое?
Как, в раздумье и печальный,
Жадный взор стремит к волнам
И мой локон, дар прощальный,
Жмет к пылающим устам?

Светлый друг тоски мятежной,
Полуночная звезда!
Будь вожатою надежной,
Нашей радостью всегда;
Ты пред ним святой красою

Знаком будь любви моей...
Если ж он пленен другою,
О звезда! затмись скорей!

Скоро год уже промчится,
Как со мной расстался он,
А в разлуке часто снится
Поневоле страшный сон.
Дух сомненье сокрушило:
Мне ль измену пережить? —
Лучше то, что сердцу мило,
Потерять, а не делить.

Но я верю, я мечтаю,
Что я с ним соединюсь.
Я волненье дум стесняю, —
Я измены не боюсь;
Чуть коснется страх случайный —
Я маню надежду вновь...
Есть у сердца вестник тайный:
Не обманет он любовь!

Море синее, море бурное,
Ветер воющий, необузданный,
Ты, звезда моя полуночная, —
Ах, отдайте мне друга милого!

<1835>

НЕВЕСТА

Элегия

Вольное подражание Андрею Шенье

О, что сбылось с тобой, невеста молодая?
Увы! погибла ты, о радости мечтая!
Она уже в тот край несется кораблем,
Где ждет ее любовь с ей милым женихом;
Где, песен свадебных услыша хоры,
Он встретил бы ее пленительные взоры.
Заботливой рукой под ключ положено
В узорных кружевах ночное полотно,
И дивный аромат для локонов небрежных,

И радужный жемчуг для персей белоснежных.
В раздумье сладостном и негой смущена,
Прелестная стоит на палубе одна,
Пленяясь ярких волн блестящей синевою
И полуночных звезд таинственной красою;
Но вихрь вдруг налетел и, вьяся в пеленах,
Схватил ее, помчал, — она уже в волнах!
Она уже в волнах, невеста молодая!
Уж над прекрасною шумит волна морская!
Один лишь тихий стон был вестью роковой
О жалкой участи любви ее земной;
И волны подняли, клубяся, вой унылый
Над раннею ее холодною могилой.

Увы! желанных дней прекрасной не видать!
Невеста!.. жениху тебя уж не встречать!
Утратил он с тобой любви своей надежду.
Не наряжалась ты во брачную одежду,
Не билась грудь твоя под светлым жемчугом,
И — не украсила ты локоны венцом.

<1835>

МАЛЬВИНА

Цвела лилея полевая,
Как яркий снег бела, нежна,
Красой душистою пленяя,
Цветком любви наречена.

Долина ею любовалась,
Журчал приветно светлый ток,
Пчела к цветку не прикасалась,
Ее лелеял ветерок;

Но буря вдруг, вдали чернея,
Одела мраком небеса, —
И с корнем вырвана лилея,
Поляны милая краса.

Веселье взоров миновалось,
Уже лилеи не видать!

Листочка даже не осталось
Ее удел нам рассказать!

Цвела Мальвина молодая
Ясней лилеи полевой,
В красе воздушной девы рая —
Любви пленительной звездой.

В прелестном образе светлело
Душе понятное в мечтах,
И сердце нежное горело
В ее задумчивых очах.

Но тщетно витязи искали
Соединиться с ней венцом:
Какой-то дивный мрак печали
Таился в сердце молодом.

Она, как будто жить не смея,
Простяся с радостью земной, —
Сама прекрасная лилея,
Уже встревожена грозой.

Иль грудь предчувствием теснима?
Бедой ли призрак ей грозил?
Изменой ли какой крушима? —
Но светлый ум в ней страх затмил.

И ей ужасна тень ночная,
Она забыла сладкий сон,
И всё, тоскуя и мечтая,
Глядит на лунный небосклон.

И бедную тоска убила!
И уж прелестной девы нет!
Взяла холодная могила
Младого сердца нежный цвет.

И что безмолвный гроб скрывает,
Чем жизнь была отравлена, —
Увы, быть может, только знает
Одна полночная луна!

<1835>

К НЕВЕРНОЙ

Когда прощался я с тобою
И твой корабль стремился в путь, —
Какой ужасною тоскою
Моя тогда стеснялась грудь!
Унылой мрачностью оделось
Души цветущей бытие,
И мне, безумному, хотелось
Всё сердце выплакать мое.

Кто б мне сказал, что роковая
Пора минует и что мне
Тужить, об ней воспоминая
Как о прекрасном, милом сне?
И то сбылось — и ты явилась,
Опять пленительна красой;
Но уж любовь не возвратилась,
Ни радость жизни молодой.

Когда опять взыграли волны
С назад плывущим кораблем
И прибежал я, неги полный;
В восторге сладостном моем
Когда душа моя кипела,
Бледнел, дрожал, смущался я, —
Ты не краснела, не бледнела,
Взглянула просто на меня.

С тех пор простился я с мечтами,
Смотрю в слезах на божий свет;
За ночью ночь и день за днями
Текут, текут, — а жизни нет.
Одно лишь в памяти унылой —
Как наша молодость цвела,
Когда прелестною, счастливой
Ты для меня и мной жила.

Бывало, пылкою душою
Я всё, что свято, обнимал,
И, быв твоим, любим тобою,
Я сам себе цены не знал;
Но розлил взгляд твой безнадежный

Могильный холод вкруг меня, —
Он отравил в груди мятежной
Весь жар небесного огня.

И мрачной томностью крушимый,
Не знаю я, как с сердцем быть,
И образ, так давно любимый,
Боюсь и помнить, и забыть.
В тревоге дум теряя силы,
Почти без чувств скитаюсь я,
Как будто вышел из могилы,
Как будто мир не для меня.

Хочу, лишен всего, что мило,
Страшась сердечной пустоты, —
Чтоб мне хоть горе заменило
Всё то, чем мне бывала ты,
Чтоб об утраченной надежде
Душой взбунтованной тужил;
Хоть нет того, что было прежде,
Но я б по-прежнему любил.

<1835>

ТОСКА

Rotta è l'alta Colonna.[1]

Прекрасная колонна пала,
И лавр зеленый мой увял;
А лишь об них душа мечтала,
И я, томясь, отрады ждал!

Их не найду, в моем я горе,
В холодных, пламенных странах,
Ни в бурном африканском море,
Ни в светлых Индии волнах.

Надежд моих уж я лишился,
И смерть без жалости взяла

[1] Высокая колонна пала (итал.). — *Ред.*

И то, чем в жизни я гордился,
И то, чем жизнь моя цвела.

Обширной областью земною,
Блестящим княжеским венцом,
Несметной золота ценою,
Восточным ярким жемчугом —

Нигде, ничем тоске не можно
Утраты сердца заменить;
В уделе горестном лишь должно
Всю жизнь страдать и слезы лить.

О, наша жизнь, которой сладость
Манит обманчивой красой!
В чем столько лет мы зрели радость, —
Минутой рушится одной.

<1835>

СОНЕТ

Вольное подражание Вордсворту

Прелестный вечер тих, час тайны наступил;
Молитву солнце льет, горя святой красою.
Такой окружена сидела тишиною
Мария, как пред ней явился Гавриил.

Блестящий свод небес уж волны озарил!
Всевышний восстает, — внимайте! бесконечный,
Подобный грому, звук гремит хвалою вечной
Тому, кто светлый мир так дивно сотворил.

О милое дитя! о пó сердцу родная!
Ты думой набожной хотя не смущена,
Со мной гуляя здесь, — но святости полна;

Невинностью своей живешь в блаженстве рая,
Ты в горний тайный храм всегда летишь душой, —
И бог, незрим для нас, беседует с тобой.

<1835>

ЭЛЕГИЯ

О ты, звезда любви, еще на небесах,
Диана, не блестишь в пленительных лучах!
В долины под холмом, где ток шумит игривый,
Сияние пролей на путь мой торопливый.
Нейду я похищать чужое в тме ночной
Иль путника губить преступною рукой,
Но я люблю, любим, мое одно желанье —
С прелестной нимфою в тиши найти свиданье;
Она прекрасных всех прекраснее, милей,
Как ты полночных звезд красою всех светлей.

<1835>

ПЛОВЕЦ

В груди моей стесняя горе,
Разбитый бурею пловец,
На синее смотрю я море,
Как бы на жизнь смотрел мертвец;
Но поневоле, думы полный,
Внезапной страшною грозой,
Когда мой челн губили волны,
Влекомый яркою звездой.

Увы! не мой один волнами
Челнок надежды погублен,
И в даль невернyю звездами
Не я один был увлечен!
И кто тревогой не смущался,
Желанной цели достигал,
С мечтой любимой не прощался,
Кто слез долину миновал?

Когда бы ты из волн сердитых,
О море! выкинуть могло
Всё то, что в кораблях разбитых
Высоких дум и чувств легло;
Когда б из бездны кто явился,
Погибших повесть рассказал, —

То б мир, быть может, изумился
О том, чего никто не знал.

Как много в участи мятежной,
Быв жертвой неизбежных бед,
Тоской увяли безнадежной,
И уж давно пропал их след!
О, много, много перл огнистых
На дне морском погребено,
И много веяний душистых
В эфирной тме утаено!

И сколько светлых упований,
Оторванных налетом гроз,
И сердца радостных мечтаний,
Истлевших от горючих слез!
И тайны чудного условья
Меж дум небесных и страстей —
Одно лишь знает изголовье
И мрак томительных ночей.

<1835>

СЕЛЬСКАЯ ЭЛЕГИЯ

В тиши села уединенной
Младой страдалец грустно жил,
И, долгой мукой утомленный,
Он добрым людям говорил:
«Уж в церковь нашего селенья
Вас призывают на моленья,
В вечерний колокол звоня;
Молитесь богу за меня.

Когда ж начнет дубрава тмиться,
Туманы лягут над водой,
Тогда скажите: «Не томится
Теперь страдалец молодой».
Но вы меня не забывайте,
В унывных песнях поминайте

И, слыша звон с кончиной дня,
Молитесь богу за меня.

Пред хитрой, злобной клеветою
Я дам всю жизнь мою в ответ,
И с непорочною душою
Без страха я покину свет.
Не долог был мой путь унылый, —
В моей весне уж над могилой
Стою в слезах; к ней взор склоня,
Молитесь богу за меня.

Мой милый друг, мой друг прекрасный!
Я думал долго жить с тобой;
Но, жертвою мечты напрасной,
Мой век минутой был одной.
О! сердца нежного тревогу
Простите ей; молитесь богу,
Услыша звон в мерцанье дня,
И за нее, и за меня».

<1835>

НОЧЬ РОДИТЕЛЬСКОЙ СУББОТЫ

Баллада

Не чудное и ложное мечтанье
И не молва пустая разнеслась,
Но верное, ужасное преданье
В Украйне есть у нас:

Что если кто, откинув все заботы,
С молитвою держа трехдневный пост,
Приходит в ночь родительской субботы
К усопшим на погост, —

Там узрит он тех жалобные тени,
Обречено кому уже судьбой
Быть жертвами в тот год подземной сени
И кельи гробовой.

Младой Избран с прекрасною Людмилой
И перстнем был и сердцем обручен;
Но думал он, встревожен тайной силой,
Что наша радость — сон.

И вещий страх с тоской неотразимой,
Волнуя дух, к нему теснится в грудь,
И в книгу он судьбы непостижимой
Мечтает заглянуть;

И, отложив мирские все заботы,
С молитвою держа трехдневный пост,
Идет он в ночь родительской субботы
К усопшим на погост.

Повсюду мрак, и ветер выл, и тмилась
Меж дымных туч осенняя луна;
Казалось, ночь сама страшилась,
Ужасных тайн полна.

И уж давно Избран под темной ивой
Сидел один на камне гробовом;
Хладела кровь, но взор нетерпеливый
Во мгле бродил кругом.

И в полночь вдруг он слышит в церкви стоны,
И настежь дверь, затворами звуча,
И вот летит из церкви от иконы
По воздуху свеча;

И свой полет мелькающей струею
К гробам она таинственно стремит,
И мертвецов вожатой роковою
В воздушной тме горит.

И мертвые в гробах зашевелились,
Проснулись вновь подземные жильцы,
И свежие могилы расступились —
И встали мертвецы.

И видит он тех жалобные тени,
Обречено кому уже судьбой

Быть жертвами в тот год подземной сени
И кельи гробовой;

Их мрачен лик, и видно, что с слезами
Смежен их взор навеки смертным сном...
Ужель они увядшими сердцами
Тоскуют о земном?

Но в божий храм предтечей роковою
Воздушная свеча уж их ведет,
И в мертвых он под белой пеленою
Невесту узнает;

И тень ее, эфирная, младая,
Еще красой и в саване цвела,
И, к жениху печальный взор склоняя,
Вздохнула и прошла.

И всё сбылось. Безумец сокрушенный
С того часа́ лишен душевных сил,
Без чувств, без слез он бродит изумленный,
Как призрак, меж могил,

И тихий гроб невесты обнимает
И шепчет ей: «Пойдем, пойдем к венцу...»
И ветр ночной лишь воем отвечает
Живому мертвецу.

<1835>

ОТПЛЫТИЕ ВИТЯЗЯ

На каменной горе святая
Обитель инокинь стоит;
Под той горой волна морская,
Клубяся, бурная шумит.

Нежна, как тень подруги милой,
Мелькая робко в облаках,
Луна взошла, и блеск унылый
Дрожит на башнях и крестах,

И над полночными волнами,
Рассеяв страх в их грозном сне,
Она жемчужными снопами
Ложится в зыбкой глубине.

Корабль меж волн, одетых мраком,
Был виден, бурям обречен.
И уж фонарь отплытья знáком
Был на корме его зажжен.

Там бездны тайной роковою
Судьба пловцов отравлена,
А здесь небесной тишиною
Обитель инокинь полна.

Пловец крушится, обнимая
Весь ужас бед, — надежды тень;
А здесь отшельница святая
Всю жизнь узнала в первый день.

Но есть за мирными стенами
Еще любви земной обман;
Сердца, волнуемы страстями,
Страшней, чем бурный океан!

На камне пред стеной угрюмой,
Один в безмолвии ночном,
Встревожен кто-то мрачной думой
Сидит, таяся под плащом.

Он молод, но следы печали,
Тоска и память черных дней
На бледном лике начертали
Клеймо губительных страстей.

И вдруг лампада пламенеет
В убогой келье на окне,
И за решеткою белеет
Подобье тени при огне. —

И долго... Но уж миновала
Ночная мгла, и в небесах

Румяная заря сияла, —
Исчезли призраки и страх.

И виден был далеко в море
Корабль, и вдаль он путь стремил,
И уж пловца младого горе
Лишь воздух влажный разносил.

<1835>

ВИТЯЗЬ

My good, my guilt, my well, my woe,
My hope on high, my all below.
Byron[1]

Скажи мне, витязь, что твой лик
Весною дней темнее ночи?
Ты вне себя, главой поник,
Твои тревожно блещут очи,
Твой пылкий дух мрачит тоска.
Откуда ты? — «Издалека».

О, вижу я, младая кровь
Кипит, волнуема отравой;
Крушит ли тайная любовь?
Вражда ль изменою лукавой?
Черна бедами жизнь твоя?
Кто твой злодей? — «Злодей мой — я».

И дико витязь кинул взор
На тмой покрытую долину;
Мятежной совести укор
Стеснял душу его кручиной;
Он изумлялся; мнилось, он
Какой-то видит грозный сон.

И вдруг он молвил: «В небесах
Страшнее волн клубятся тучи,

[1] Мое добро, моя вина, мое благо, моя скорбь, моя надежда на небесах, моя вся жизнь на земле. *Байрон* (англ.). — *Ред.*

И с мертвецами в облаках
Ужасно воет вихрь летучий;
Как сердце с язвою любви —
Взгляни — меж них луна в крови!

И буря носит дальний звон
И веет мне напев унылый.
Склонись к траве: подземный стон,
Увы, не заглушен могилой!
И тень ее во мгле ночной
Летит под белой пеленой.

О Вамба! ты была моей,
Цвела в любви, краса младая,
Но буйный пыл, но яд страстей,
Но жизни тайна роковая,
Ревнивый мой, безумный жар —
Свершили пагубный удар.

И с ней не разлучаюсь я.
Недавно мчался я горою,
Где замок, колыбель моя,
С своей зубчатою стеною...
Он освещен, она в окне,
Она рукой манила мне.

Вчера я, грешный, в божий храм
Вошел, ищу в тоске отрады.
И близ иконы вижу там
При тусклом зареве лампады:
Она, колена преклоня,
Стоит и молит за меня.

Горит война в святых местах.
Хочу не славы — покаянья!
Я с *ней* в нетленных небесах
Хочу последнего свиданья.
Она простит...» И свой кинжал
К устам он в бешенстве прижал.

Он шлем надел, схватил он щит,
На борзого коня садится,

И чудный взор к звездам стремит,
И вдаль на бой кровавый мчится;
Но с боя из земли святой
Не возвратился в край родной.

<1836>

ТАЙНА

Баллада

В лесу прибит на дубе вековом
Булатный щит, свидетель грозных сеч;
На том щите видна звезда с крестом,
А близ щита сверкает острый меч.

И свежую могилу осеняет
Тенистый дуб, и тайны роковой
Ужасен мрак: никто, никто не знает,
Кто погребен в лесу при тме ночной.

Промчался день, опять порой урочной
Ночь темная дубраву облегла;
Безмолвно всё, и медь уж час полночный
На башне бьет соседнего села.

И никогда страшнее не темнела
Осення ночь: она сырою мглой
Дремучий лес, реку и холм одела —
Везде покров чернеет гробовой.

Но меж дерев багровый блеск мелькает,
И хрупкий лист шумит невдалеке,
И факел уж вблизи дуб озаряет:
Его чернец в дрожащей нес руке.

К могиле шел отшельник престарелый,
И вместе с ним безвестно кто, в слезах,
Идет, бледней своей одежды белой;
Печаль любви горит в ее очах.

И пел чернец по мертвом панихиду,
Но кто он был — чернец не поминал;

Отпел, вдали сокрылся он из виду,
Но факел всё в тени густой мерцал.

На свежий дерн прекрасная упала
И, белую откинув пелену,
Потоки слез по мертвом проливала,
Могильную тревожа тишину;

И, вне себя, вдруг очи голубые
На щит она внезапно подняла
И, локоны отрезав золотые,
Кровавый меч их шелком обвила;

Безумья яд зажегся в мутном взоре,
Сердечный вопль немеет на устах.
Она ушла, и лишь в дремучем боре
Таинственный один остался страх;

И меж дерев уж факел не мерцает,
Не шепчет лист, и тайны роковой
Ужасен мрак: никто, никто не знает,
Кто погребен в лесу при тме ночной.

<1836>

ДУБ

Краса родной горы, с тенистыми ветвями,
И крепок и высок являлся юный дуб;
Зеленые кусты с душистыми цветами
Кругом его растут.

Игривый ручеек отрадной свежей влагой,
Струяся близ него, приветливо шумел,
И мощный сын дубрав с какою-то отвагой
Чрез поле вдаль смотрел.

И, младостью цветя, грозы он не боялся —
От гроз живей весна, меж туч ясней лазурь —
Сверканьем молнии и громом любовался,
Дышал под свистом бурь.

Любили юноши и сельские девицы
Под тень его ходить; и сладко там певал
Полночный соловей, и алый блеск денницы
Их в неге заставал.

И, видя вкруг себя во всем красу природы,
Он думал, что ему она не изменит,
И дерзостно мечтал, что ветер непогоды
К нему не долетит.

Но вдруг небесный свод оделся черной тучей,
И ливнем хлынул дождь, и буйный ураган,
Клубяся, налетел, взвивая прах летучий,
И дол покрыл туман.

Зеленые кусты с душистыми цветами
Он с корнем вырывал, и светлый ручеек
Закидан был землей, каменьями и пнями, —
Исчез отрадный ток.

Гром грянул, молния дуб крепкий опалила;
Дуб треснул, но грозой он не был сокрушен:
Еще осталась в нем стесненной жизни сила,
Хоть вянуть обречен.

Отрадной влаги нет, и нет земли родимой,
Где буйно вырос он, красуясь меж долин;
На голой уж горе теперь, судьбой гонимый,
Остался он один.

Увы, надежды нет, и стрелы роковые
Бедой отравлены, всё рушат и мертвят;
Одни лишь небеса, как прежде голубые,
Над гибнущим блестят.

И начал сохнуть дуб; но, к долу не склоненный,
Он, ветви вознося, казал их облакам,
Как будто бы своей вершиной опаленной
Стремился к небесам.

<1836>

ЖНЕЦЫ

Однажды вечерел прекрасный летний день,
Дышала негою зеленых рощей тень.
Я там бродил один, где синими волнами
От Кунцевских холмов, струяся под Филями,
Шумит Москва-река; и дух пленялся мой
Занятья сельского священной простотой,
Богатой жатвою в душистом тихом поле
И песнями жнецов, счастливых в бедной доле..
Их острые серпы меж нив везде блестят,
Колосья желтые под ними вкруг лежат,
И, собраны жнецов женами молодыми,
Они уж связаны снопами золотыми;
И труд полезный всем, далекий от тревог,
Улыбкою отца благословляет бог.

Уж солнце гаснуло, багровый блеск бросая;
На жниве кончилась работа полевая,
Радушные жнецы идут уже домой.
Один, во цвете лет, стоял передо мной.
Его жена мой взор красою удивляла;
С младенцем радостным счастливая играла
И в кудри темные вплетала васильки,
Колосья желтые и алые цветки.
А жнец на них смотрел, и вид его веселый
Являл, что жар любви живит удел тяжелый;
В отрадный свой приют уже сбирался он...
С кладбища сельского летит вечерний звон, —
И к тихим небесам взор пылкий устремился:
Отец и муж, душой за милых он молился,
Колена преклонив. Дум набожных полна,
Младенца ясного взяла его жена,
Ручонки на груди крестом ему сложила,
И, мнилось, благодать их свыше осенила.

Но дремлет всё кругом; серебряный туман
Таинственной луной рассыпан по снопам,
Горит небесный свод нетленными звездами, —
Час тайный на полях, час тайный над волнами.
И я под ивою сидел обворожен,
И думал: в жатве той я видел райский сон.

И много с той поры, лет много миновало,
Затмилась жизнь моя, — но чувство не увяло.
Томленьем сокрушен, в суровой тме ночей,
То поле, те жнецы — всегда в душе моей;
И я, лишенный ног, и я, покинут зреньем, —
Я сердцем к ним стремлюсь, лечу воображеньем,
Моленье слышу их, — и сельская чета
Раздумья моего любимая мечта.

<1836>

ВЫБОР

Фантазия

Кн. П. Г. Гагарину

У девы милой и прелестной,
Невинной радости ясней,
Морей восточных перл чудесный
Блестит один среди кудрей;
Всех роз свежее, роза нежно
Припала к груди белоснежной;
И, чистою пленен красой,
Вблизи, с улыбкой неземной,
Чело увенчано звездами, —
Хранитель ангел предстоял
И тихо белыми крылами
Младую деву осенял.

«Когда с непостижимой силой, —
Мне молвила она, — о милый!
Ты мог бы сделаться другим
Восточным перлом, розой алой
Иль светлым ангелом моим;
Но, полон всё любви бывалой,
В чьем виде, избранном тобой,
Явился б ты передо мной?»

— «Я был бы ангел твой хранитель!
Но, может быть, небесный житель
За негу чувств, за нрав живой

С тобою ссорится порой, —
То пусть я розою душистой,
Пока цветку не увядать;
Потом хочу как перл огнистый
На девственном челе сиять.
О, будь лишь мне дано судьбою
Всё быть твоим, всё быть с тобою!»

Но вдруг той нет, с кем сердцем жил, —
Красу и счастье гроб схватил.
Мой дух крушим, убит мученьем,
Безумье мрачное зажглось,
Затмились думы искушеньем:
Увы, что с ней теперь сбылось?..
И слезы с пламенной мольбою
Я лил денной, ночной порою.
И раз, едва алел восток,
Явился белый голубок;
За ним от радужного мира
Летит ко мне струя эфира, —
И сердцу весть была дана,
Что выше звезд уже она.
О ты, страдающих спаситель,
Возьми меня, возьми скорей!
Подруги радостной моей
Да буду ангел я хранитель!
Святи любовь младых сердец
В любви твоей, любви творец!

<1836>

ПОЭТ И БУРЯ

(Из поэмы «Jocelyn»[1] Ламартина)

О дивный Оссиан! мечтая о туманах,
Об Инисторовых таинственных курганах,
И песнь твоя в душе, и с арфою в руках
Когда зимой бродил в дремучих я лесах,
Где буря и метель, бушуя, слух страшили

[1] «Жослен» (франц.). — *Ред.*

И, словно мертвецы, в поляне темной выли;
Где, волосы мои вздымая, вихрь шумел,
Над бездной водопад от ужаса ревел
И, сверженный с небес над длинными скалами,
Бил пеной мне чело и вопль бросал струями;
Где сосны, сыпля снег, дрожали, как тростник,
И ворон подымал над их снегами крик,
И мерзлый где туман с утеса веял мглою,
И, как Морвена сын, я был одет грозою, —
Там, если молния разрежет вдруг туман
Иль солнце мне блеснет украдкой меж полян
И влажный луч его, в усильях исчезая,
Откроет ужас мне, пространство озаряя, —
То, им оживлена, и дикостью степной,
И свежим воздухом, и святостью ночной,
И сокрушенных сосн глухим под бурю треском,
И на главе моей мороза снежным блеском, —
Органа звонкого душа была звучней.
И было всё восторг и упоенье в ней;
И сердце, сжатое в груди для чувства тесной,
Дрожало вновь, и слез источник был небесный.
И робко слушал я, и руки простирал,
И, как безумный, я бор темный пробегал,
Мечтая вне себя, во тме грозы летучей,
Что сам Иегова несется в бурной туче,
Что слышу глас его в тревоге громовой,
Который мчит в хаос грозы протяжный вой.
Я облит радостью, любовью пламенею
И, чтоб природу знать, живой сливаюсь с нею;
Я душу новую, я чувств хочу других
Для новой прелести восторгов неземных!

<1836>

ЭРМИНИЯ НА БЕРЕГАХ ИОРДАНА

(Из «Освобожденного Иерусалима»)

...Эрминия под тень густую
В дремучий бор стремилась на коне;
Он мчал ее едва полуживую,
Уж править им нет сил в ее руке:

То в сторону, то вдруг опять в другую
Метался с ней он в мрачной тишине.
И наконец из глаз она сокрылась,
И тщетная погоня прекратилась.

Как, травлею измучась, стая псов
Идет назад, смутна и задыхаясь,
Тогда как зверь с поляны и лугов
Сокрылся вдруг, в дубраву удаляясь, —
Так ехали обратно меж шатров
И витязи, стыдом своим смущаясь.
Но гонится ль погоня ей вослед, —
У трепетной взглянуть отваги нет.

Она всю ночь, она весь день скакала,
Теряяся одна в глуши лесной,
И только то, как плакала, стенала,
Там слышала и зрела в тме ночной;
Но в час, когда заря уже мерцала
И солнца луч тонул в глуби морской,
Сошла с коня на отдых меж кустами,
Где Иордан в красе блестит волнами.

В смущеньи дум ей пища не нужна, —
Лишь слезы лить несчастная желает;
Но сладкий сон, которому дана
Над горем власть, — кто смертных услаждает
Забвеньем бед, как грудь ни стеснена,
Уже крыла над нею простирает;
Но и во сне любовь своей мечтой
Тревожит сон страдалицы младой.

Пробуждена была она зарею,
Как пташки петь уж стали на древах,
Кусты шуметь над светлою рекою,
А ветерок резвиться на цветах;
Проснулася — и томный взор с тоскою
Бродил кругом на сельских шалашах,
И голоса сквозь зелень к ней несутся
С журчаньем волн, — и снова слезы льются.

Но их поток внезапный звук рожка
Остановил: пастушескому пенью

Подобное летит издалека.
Вот, следуя невольному влеченью,
Она идет, задумчива, робка,
И старца зрит близ стада, он под тенью
Заботится вязанием сетей,
И слушает он пенье трех детей.

Увидя вдруг доспехи боевые,
Они бегут к их диким шалашам;
Но нежный взор и кудри золотые
Прекрасная являет их очам
И молвила: «О вы, сердца простые!
Ваш труд и вы приятны небесам;
Да не прервет в полях мое явленье
Их тишины, ни сладостного пенья».

<1836>

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

(Из Байрона)

Когда в нетленном мире том,
Который блещет нам звездами,
Сердца горят любви огнем
И взор не сокрушен слезами, —
Тогда — сфер тайных край святой! —
Нам в радость жизни скоротечность;
Утратить сладко мрак земной
И страх: в твоем сияньи — вечность!

И будет так! Робеем мы
Не за себя перед могилой,
Стремясь над бездной грозной тмы
Еще к бытью с истлевшей силой.
О, там — пребудем в вере той —
Уже сердцам не разлучаться
И, где бессмертья ток живой,
Душе с душою наслаждаться.

<1836>

КАСАТКА

(Из «Марко Висконти»)

Касатка из земли чужой!
Что ты, румяною зарею
Взлетая здесь на терем мой,
Что в песне, полною тоскою,
Томясь в далекой стороне, —
Что ты поешь, касатка, мне?

В разлуке с тем, кто мил тебе,
Одна, залетною, забвенной,
Ты плачешь о моей судьбе,
Сама сироткой сокрушенной;
Тоскуй со мной наедине,
Тужи, касатка, обо мне!

Но ты в уделе роковом
Меня счастливей, — ты летаешь
Вдоль озера и над холмом
И воздух воплем наполняешь;
Ты песнями зовешь его,
Касатка, — друга своего!

О, если б мне! .. но для меня
Преградой свод, угрюмый, тесный,
Где не блеснет сиянье дня,
Не оживит эфир небесный!
Едва твой голос в тишине,
Моя касатка, слышен мне!

Уж дни метелям преданы,
И ты меня покинешь вскоре,
Увидишь дальние страны, —
И горы новые, и море
Поздравишь песнию живой,
Касатка, друг залетный мой!

А я... я с каждою зарей
На токи слез открою очи,
Мечтая слышать голос твой
И в снежном дне и в мраке ночи, —

Что в песнях ты на вышине,
Касатка, плачешь обо мне!

Весной найдешь ты дерн с крестом
В пределах мне родного края;
Касатка! под вечер на нем,
Воздушный путь остановляя,
Скажи мне песнию святой,
Скажи, касатка: «Мир с тобой!»

<1836>

СИЯНА

Сияна! есть одна лишь радость, —
И радость та в любви одной;
Она печальной жизни сладость,
Хотя крушит сердец покой;
Она лелеет нашу младость
Надежды светлою мечтой.

Как солнце яркими лучами,
Так ты блестишь красой своей,
Но чувства жар был небесами
В отраду дан судьбе моей;
Ты рождена играть сердцами,
А я любить. — Мой дар святей!

Гордяся тишиной беспечной,
Младая жизнь твоя бледна,
Моя — тревогою сердечной
Бывает часто смущена;
Но вслед за бурей скоротечной
Душа надеждою ясна.

Без чувства ты бросаешь взоры
На милый край страны родной,
А я в нем вижу рощи, горы,
Где жду, встречаюся с тобой;
Стеснив в груди моей укоры, —
Мне сладко жить, где ты со мной,

В тени, вечернею порою,
Ты любишь трели соловья;
Пленяет песнь его тоскою,
То песнь любви — она моя.
Но как холодною душою
Найти в ней то, что слышу я?

На пляску ль хоровод сберется —
Смеешься ты, и взор твой жив,
И дух забавам предается;
Но, в чувство игры обратив,
Я подле той, кем сердце бьется!
Ты весела — а я счастлив!

И ночь моя полна Сияной;
Мой сон мечтами осеня,
Заря чуть блещет над поляной, —
Любовь к тебе манит меня.
Но ты скажи: в заре румяной
Что видишь ты? — Начало дня!

<1836>

РУССКАЯ ПЕВИЦА

Когда ты нежностью своей
Лелеяла мое томленье
И слушал я душой моей
Твое пленительное пенье, —
О! как всё то, чем жизнь цвела,
Чем юность бурная мила,
В груди кипело и теснилось!
Но вдруг мечтанье изменилось, —
И ты в мир тайный увлекла
Дум пылких рой непостижимый —
В чудесный мир, душою зримый.
Я в неге счастья, я в слезах,
Мое упорно сердце бьется
И, сжатое земным, несется
Дышать любовью в небесах.

С какою ты волшебной силой
Играешь пламенной душой,
Когда любви напев унылый
Пленяет сладкою тоской!
Как может быть прекрасней море
В тревоге мрачных синих волн, —
Так наша жизнь звучнее в горе;
Хотя кружится бедный челн, —
Пловец смеется над грозою,
Ведом мелькающей звездою;
Печаль росит душевный цвет,
Не будь ее — надежды нет!

Но томное любви роптанье
Уже не слышно; голос твой
Пылает, льет очарованье
Напевом радости живой.
Он веет светлыми мечтами,
Подругами веселых дней,
И обольстительными снами
Невольно милых нам страстей;
И веет тайной дум высоких,
И упоеньем чувств младых,
И прелестью певиц далеких,
И песнями долин родных;
Он дивной, зыбкою стрелою
Летит сквозь радужный эфир,
Небесною блестит красою.
В нем жизнь сердец — в нем целый мир.

16 февраля 1836

ПЕСНЬ О МАРКО ВИСКОНТИ

Посвящена другу Жуковскому

Кровь! кровь! Чей с башнею зубчатой
Я вижу зáмок? Мрачный вход
В струях крови еще дымится;
Вокруг него толпа теснится,
Кипит на площади народ.

Несчастные! Иль заблужденье?..
О нет! — На шлеме, на щитах
Вот змей, — он знак любви народной;
Мне вид знаком ваш благородный,
Миланцы... Что за вопль и страх?

Толпа, волнуясь, раздается.
Мне ратник молча указал,
Закрыв лицо в тревожном страхе,
Что воин полумертвый в прахе,
Весь облит кровью, трепетал.

То Марко, в битвах громовержец,
Ум светлый, — он, кто гвельфов кровь,
От бед Италию спасая,
Так часто лил; звезда родная,
Ломбардов слава и любовь.

О, плачьте! тмится яркий пламень
Во взоре гаснущих очей,
Как солнце тмится в мраке тучи;
Но всё в нем дышит дух могучий
Его погибших славных дней.

Стыд вечный!.. Повесть роковая
Звучит злодейством вкруг меня:
Сын брата, ближние восстали;
Измену тайну ухищряли
С его убийцами родня...

Ты, друг его! открой мне тайну:
То правда ль, что в нем гордый дух,
Невольно увлечен красою,
Пленен был девой молодою,
Как здесь носился чудный слух?

И ратник из толпы выходит;
На одного коня со мной
В слезах безмолвно он садится,
И конь дремучим бором мчится —
И видим зáмок пред собой,

Ворота настежь, мост подъемный
Дрожит, нагнулся и падет,
Скрыпят колеса с их цепями, —
Затворы рухнули пред нами;
Но встретить нас никто нейдет.

Ни на дворе, ни в переходах,
Ни в цветниках — нигде кругом
Не видно тени, всё томится;
Нет в замке жизни, даже мнится,
Что воздух без движенья в нем.

Сиянье томное
В час вечера блещет
И, в стеклах раскрашенных
Мелькая, трепещет,
За дымными сводами
Теряясь вдали.

И блеск тот от факела
Гробницы безвестной,
Где тихо покоится
Прах девы прелестной, —
Сиянье, незримое
Жильцами земли.

Склонясь к изголовию
В мечтаньи чудесном,
Она, роза белая,
Лежит в гробе тесном,
Почти оживленная
Любовью святой.

На перси лилейные
Спадая волною,
Ее как шелк волосы
Всё тело собою
Одели и кажутся —
Покров золотой.

Улыбка небесная
От уст ее веет;

Фиялка стыдливая
Так в поле светлеет
Росою жемчужною,
Дрожащей на ней.

И взор ее девственный
Смежен тенью мирной,
Как взор сонных ангелов
В их неге эфирной,
И как бы желающий
Опять прежних дней.

О! если, дух избранный,
Слетишь ты из рая
В свое тело нежное,
Любовью пылая,
. . . .
. . . .

Но что за томный звук летит
Печального, святого пенья
И, вея к нам из отдаленья,
В унылом воздухе дрожит?

Всё ближе, ближе; ходят, ждут
Уже пришельцы под стенами,
Уж мост звучит под их стопами, —
Всё ближе, вот! идут, идут!

При тусклом факелов огне,
В их клобуках, в одежде черной,
Рядами и походкой ровной
Идут монахи в тишине.

За ними в эпанчах златых
Вот шесть вельмож, несущих тело
Вождя, чье имя так гремело, —
И мертвый в латах боевых.

В безмолвии они несли
Вождя под мрачный свод могильный;

Она прекрасная, он сильный —
Навеки в гроб один легли.

Забрало подняли, и он
Как будто ожил дивной силой,
И лик могучего близ милой
Был вдруг улыбкой озарен.

22 декабря 1836

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

Ты вдруг блеснула мне звездой,
Ко мне влетела вдохновеньем,
Пленила пламенной душой,
Зажгла мне сердце сладким пеньем;
Сказала мне, что будешь ты
Мне другом верным, другом милым, —
И тихо светлые мечты
Уж веют над певцом унылым.
Привет надежд в твоих речах;
Исчезнет в радужных струях
Томленье мрачного тумана, —
В душевных звуках нет обмана!

О! мне известно: небеса
Любовью дышат над тобою,
Взлелеяна твоя краса
Весельем, негой золотою;
И прелесть роз, и блеск лилей —
Подруги младости твоей;
И ты, блаженства зная сладость,
Всегда, везде встречаешь радость.
Но, к чувствам бед душой близка,
Сердечною святою думой
Ты заглянула в бор угрюмый,
Где бродят горе и тоска.

Недавний друг, но сердцу милый!
Отрада есть в печальной мгле,
И есть две тайны, коих силой

Цветет страданье на земле,
Обняв душою упованье.
Одна из них — в любви святой:
Любить, чем мил нам мир земной,
Для сердца райское мечтанье.
Другая тайна гонит страх:
Терпенье — благодать в бедах;
Она сменяет в жизни новой
Венком из роз венец терновый;
Светла нетленною красой,
Небесный вестник — ангел нежный —
Утешил ею дух мятежный;
И ангел мне — предстал тобой.

<1837>

ЭЛЕГИЯ

Зачем весенний ветерок
Так надо мной любовно веет,
Шумит игривый ручеек
И роза нежная алеет?
Душа тревогам предана, —
Не уловить мне наслажденья:
В чаду томительного сна
Мне радость — будет искушенье!

Смотреть, в уделе роковом.
На мир, красой одушевленный,
И знать, что я уж в мире том
Жилец напрасный и забвенный —
О нет! без веры, в тме страстей,
Душа невольно бы молила,
Чтоб расступилася скорей
Моя холодная могила!

Дрожу ль я, оживлен мечтой, —
Но правда дух мертвит бедами;
Хочу ль я петь — но голос мой
Внезапно подавлен слезами.
И жизнь, объемлющая тень,

Везде, во всем страшней, страшнее;
Как черен был вчерашний день!..
Проснулся — день еще чернее!

Но вдруг из туч мне блещет свет,
Душе какой-то слышен голос;
Он в те минуты мне привет,
Когда от страха дыбом волос!
И мнится: он небесный звук,
И на устах замрет роптанье,
И мило мне томленье мук, —
В них есть свое очарованье!

О, сердца пылкого любовь!
Отрада ты моя святая!..
И если б жизнь я начал вновь,
То снова, крест мой обнимая,
Благословясь, пошел бы я,
Не устрашен былой тревогой,
Долиной той и той дорогой,
Где горе встретило меня!

<1837>

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Стансы

Блажен, кто мирно обитает
В заветном прадедов селе
И от проезжих только знает
О белокаменной Москве.

Не вдаль стремится он мечтою,
Не к морю мысль его летит, —
Доволен речкой небольшою:
Она светла, она шумит.

Не изменяясь в тихой доле,
Благословляя небеса,
Он всё на то же смотрит поле,
На те же нивы и леса.

Он сердцем чист, он прав душою;
Без дум высоких он умел
Одной вседневной добротою
Украсить бедный свой удел.

Ему страстей волненья чужды,
Не прерван ими сладкий сон,
Живет без прихотей, без нужды, —
И черных дней не знает он.

Вот дом уютный меж холмами,
В тени берез вот божий храм,
И вот погост с его крестами,
Где меж родных он ляжет сам.

И жив священник тот безвестный,
Который здесь его крестил,
Венцом с подругою прелестной
На радость жить благословил.

И радость с ними, — и всечасно
Она ему милей, милей,
И жизнь он тратит не напрасно
В земном раю семьи своей.

Привычка наслаждений мирных,
Веселые заботы дня,
Забавный страх рассказов дивных
Кругом вечернего огня, —

О вы, обычаи святые!
Любовь домашнего быту!
Отрады ваши золотые
Лелеют жизни суету.

Преданья прежнего, родного
Душе пленительно хранить,
Блаженства сердцу нет другого,
Как жить одним, одно любить.

<1837>

СТАНСЫ

(Из «Морского разбойника» лорда Байрона)

Глубоко в тишине, предав навек безмолвью,
Я тайну нежную храню в груди моей,
И сердце томное, к тебе дрожа любовью,
Вверяет лишь ее одной любви твоей.

Под сводом тихая лампада гробовая
Бросает вечный свой никем не зримый свет,
Не тмит ее тоска, во мраке унывая,
Хотя напрасен блеск, как будто вовсе нет.

О, не забудь меня и близ моей могилы!
Увы, когда пройдешь, то вспомни милый прах;
Один удар убьет мои душевны силы, —
Забвенья твоего ужасен сердцу страх.

Будь тронут пламенной, нежнейшею мольбою
О тех, кого уж нет: печаль есть долг святой;
Обрадуй тень мою сердечною слезою —
Наградой за любовь, последнею, одной.

<1837>

К ЛЕОПОЛЬДУ МЕЙЕРУ

Когда задумал, друг мой милый,
Заботясь нежностью живой,
Развеселить мой дух унылый
Твоей волшебною игрой;
И ты внезапным вдохновеньем
В фантазьях дивных запылал
И романтизма упоеньем
Тревожил сердце и пленял, —
Казалось мне, что слышу пенье
Небесных дев — эдемских роз,
Иль моря бурного волненье
И треск и свист шумящих гроз.
То сердца, облитого кровью,
Ко мне носился томный звук,
То — услажденного любовью,

Уже не помня прежних мук.
О! ты чудесною игрою
Умел меня очаровать,
Ты овладел моей душою:
Нельзя ей радость забывать.
И, вдаль стремленьем чувств летая,
Твоей игрой утешусь я.
Так в зимний мрак, весну мечтая,
Нам мнится: слышим соловья.

21 апреля 1837

МИЛОЙ ДОЧЕРИ ГРАФИНИ ФИКЕЛЬМОН

Цвети, лилея молодая,
И прелесть будь родной земли,
Сияй, невинностью пленяя,
Звездой надежды и любви.
О! будь твоя святая младость
Семьи благословенной радость;
Обворожай у всех сердца,
Блистая чистотой небесной.
Но не забудь того певца,
Чей пылкий дух в тиши безвестной,
Чья песнь и днем, и в тме ночей
Летает пламенной мольбою:
Чтоб ты была красой-душою
Подобна матери твоей!

О! знаю я: для душ высоких
Отрада есть добро творить
И в чувствах нежных и глубоких
Блаженство жизни находить.
Но быть печальных упованье,
Не изменяясь никогда;
Сиять на мрачное страданье,
Как беззакатная звезда;
Сживаться с ними в тяжкой доле,
Их услаждать день каждый боле,
Лелеять скорбь, и не устать
Как божество лить благодать;
Всегда быть набожно готовой

Им облегчить венец терновый, —
Вот сердце той... Но, как она,
Ты чувств святых уже полна!
Когда ты в наш приют унылый
Слетишь ко мне, мой ангел милый,
То детскою рукой сильней
От сердца руку мне сжимаешь,
И робкий голос твой нежней,
Когда страдальца ты ласкаешь.
О! будь, любимое дитя,
Твоя благословенна младость,
И будь, невинностью цветя,
Родным, друзьям, чужим на радость!
Да сбудется любви моей
Молитва вечная с тобою,
И будешь ты красой-душою
Подобна матери твоей!

23 апреля 1837

ДРУГУ ВЕСНЫ МОЕЙ ПОСЛЕ ДОЛГОЙ, ДОЛГОЙ РАЗЛУКИ

О, удались!.. полуживого
В томленьи горестном забудь;
Ты острым пламенем былого
Зажгла встревоженную грудь.
Оставь меня!.. О нет... побудь,
Побудь со мною, друг бесценный,
Пожми, как прежде, руку мне,
И сердца жизнью незабвенной
Лелей меня в печальном сне.
Уж речь твоя мой дух крушимый
Живит мечтами юных дней, —
Родимых песен звук любимый
В чужбине дикой не милей;
И рой знакомых впечатлений,
Тоску любовью осеня,
Как мир таинственных видений,
Мелькает, вьется вкруг меня.
Привет надежд, судьбы угрозы,

Волненье чувств, веселье, слезы,
Сердечной бездны глубина,
Всё то, чем жизнь мрачна, ясна
И не сказать чего словами,
Что блещет радуги огнями,
Тревоги, нега, пыл страстей —
Воскресло всё в душе моей.

И мнится, снова видят взоры
Прелестный край, где начал жить,
Дербент и Воробьевы горы,
Где часто я любил бродить,
Обворожало где раздумье
Мое сердечное безумье,
Где жизнь лишь тем хотел ценить,
Чтоб быть любиму и любить.
Москва-река, моя родная!
Ты помнишь, в час вечерний дня,
Бывало, мир в одно сливая,
Сижу, к тебе мой взор склоня;
Мой дух кипит в тревожной доле,
Люблю, любить хочу я боле.
Но звон несется к небесам,
И я стремлюся в божий храм;
И чувство нежное, святое,
Прижав к плитам чело младое,
Пред ликом девы пресвятой
Молитва пламенной душой
В небесном упованьи льется;
И уж отрадней сердце бьется, —
Звезда надежды зажжена.
Сбылись, сбылись мечты младые, —
И мне мелькнули дни златые,
И радость мне была дана!..

О ты, мне верная в печали,
Участница моей весны!
Всегда ли дни твои сияли
Влияньем светлой тишины?
Ты кудри темные венчала
Всегда ль венком из алых роз?
Скажи, ужель ты проливала

Во тме ночей потоки слез?
Сама не зная дум мятежных,
Ты знала в цвете ранних дней
Очарованье взглядов нежных
И обольстительных речей.
В груди, мечтами упоенной,
Недолго счастью обитать;
Но дум высоких жар священный —
Поверь — святая благодать!

Мой друг! быть может, мрак унылый,
Который жизнь мою затмил,
Тебя страшит, — но тайной силой
Мою он душу озарил.
Не вовсе я убит судьбою, —
Несокрушимое со мною:
Мне мил печальный мой удел,
Поладить с горем я умел;
Страданье чувство освятило, —
Его бедам не отравить.
Всё сердце любит, что любило,
Всё так же, тем же хочет жить,
И необманчивой надежде
Оно вверяется, как прежде.
Любовь вдали земных тревог —
Краса блаженств, — в любви сам бог.

<1838>

К П. Ф. БАЛК-ПОЛЕВУ

Надолго увлечен неверною судьбой,
Быть может навсегда расстался ты со мной;
Но где бы ни был ты, доколе жив я буду,
Поверь, бесценный друг, тебя я не забуду.
Мне часто вспоминать о наших вечерах,
Когда глубокий ум ты в пламенных речах
Обильно изливал душою непритворной,
И как мои мечты и бред мой стихотворный
С улыбкой слушал ты, и дружно руку жал,
Когда, встревоженный, о том я тосковал,

Чего давно уж нет, навек что миновало
И только у меня лишь в сердце не увяло.

Итак, увидишь ты те дальние края,
Где светлою стезей летела жизнь твоя, —
Блестящий тот Париж, где вскоре над тобой
Завьется, зашумит воспоминаний рой,
Со всею полнотой бессмертных впечатлений,
Со всею легкостью минутных наслаждений.
В раздумье, может быть, опять ты бросишь взгляд
На тот дворец тревог, на тот веселый сад,
Где часто сравнивал в прогулках одиноких
Столицу чувств живых с столицей дум глубоких.
Но зданий и садов, мой друг, знакомый вид
Внезапной мрачностью невольно дух стеснит;

Ты будешь окружен заветными местами, —
Но встретишься ли в них ты с прежними друзьями?
Увы! о скольких ты сердечно воздохнешь
И станешь их искать, хотя уж не найдешь!
Где та волшебница, чьей пламенной душою
Был обнят тайный мир, чьей милой остротою
Пленялись, чье перо, чей вдохновенный дар
Прекрасного в сердца вливал священный жар?
О! где Монморанси? Умел он, благородный,
Престол, законы чтить — и дух хранить свободный;
Он витязь прежних дней был нашею порой,
И жизнь свою венчал кончиною святой.
Но ту, с кем их сердца все думы разделяли,
Кто дружбы ангелом являлась в дни печали,
Ее увидишь ты, — в убежище своем
Прелестная цветет и сердцем, и умом.

Но полно горевать; и я от дум тяжелых
Отраду нахожу в рассказах тех веселых,
Как прежде ты живал. И взгляд стремлю я вдруг
На твой блистательный, разнообразный круг:
Там речь ведет Saint-Pierre, а здесь поет Грассини,
Мечтает Benjamin, танцует Биготини;
Я вижу, как идут на лакомый обед
Мерсье, l'abbé Boulogne. Но бешеный Гамлет,
Мятежник Манлий где? — Простяся с здешним миром,
Быть может, он теперь беседует с Шекспиром

Иль спорит с Гарриком. Но знай, ни Альбион,
Который мудрою свободой просвещен,
Ни даже та страна, где огненные горы
Под небом голубым твои встречали взоры —
Священных древностей чудесная земля,
Край песен и любви, — не так манят меня,
Как дарданелльские пленительные волны.
О друг, какая ночь! блестят, мелькают челны,
И веет музыка с стамбульских берегов,
Роскошной Азии ты слышишь соловьев;
С кинжалами, в чалмах вот турки удалые,
Вот пляшут сладостно гречанки молодые,
Нежнее роз своих, — и яркая луна
Ночною прелестью сама удивлена.
Еще люблю мечтать, как, путь оконча трудный,
Пленялся ты красой Бразильи изумрудной,
Где вечной радугой играет свод небес
И блеском дивных птиц пестреет темный лес,
Огнистый ананас в открытом поле рдеет
И пальма над волной, как радость, зеленеет;
Из дерева ее корабль сооружен,
Из листьев паруса, и в путь он нагружен
Ее же сладкими, душистыми плодами.
Так дружба твердостью, советами, делами
От бед спасает нас, в опасности хранит
И нежной ласкою нам душу веселит.

Из детства обречен и вьюгам и туману;
По бесконечному, как вечность, океану,
Мой друг, я не плывал. — Но что ж? В Руси святой
Мне сладостен и мил дым хижины родной:
Я взрос, я цвел душой, любил, страдал в отчизне,
И в ней хочу я ждать конца мятежной жизни.
Но если уж с тобой здесь не видаться мне, —
Тогда, как будешь ты в родимой стороне,
Тень друга навести вечернею зарею:
У храма сельского, под ивою густою,
В кустах шиповника, дубовый крест простой
Надеждой озарит подземный ужас мой, —
И там я буду спать до вечного свиданья
В безоблачном краю любви и упованья.

<*1838*>

К***

Что я во цвете юных дней
Был навсегда убит страданьем, —
В том дива нет: огонь страстей
Своим губительным дыханьем
Меня крушил, меня он жег
В мечтах, в тоске, в пылу тревог.
Что я в борьбе с моей душою
Внезапно схвачен был грозою;
Что опален надежды цвет,
Истлела жизнь, — в том дива нет.
Но ты, прекрасная, чья младость
Цвела, невинности полна,
Кто взору и сердцам на радость
Улыбкою небес дана, —
О милый друг! какой судьбою
Страданье встретилось с тобою
И муки бренные земли
С эфирным ангелом любви?
Иль ждет нас всех печаль и горе,
Как ждет пловца ветр буйный в море?
Ужели та должна страдать,
В чьем сердце дышит благодать?
Но не страшись: опять день ясный
Проглянет после тмы ненастной!
Ах, об тебе и день, и ночь
В молитве муж, и мать, и дочь!
Твое пролетное мученье
Не есть беда, но искушенье!
И мрак, летящий над тобой,
Нам веет тайною святой.
Тебя лелеет искупитель! —
Томленье мук пройдет как сон,
Твоя душа — его обитель,
Везде, всегда с тобою он!

<1838>

ПЕСНЯ

Солнце красное, о прекрасное,
Что ты тратишь блеск в глубине лесов?
Месяц, дум святых полунощный друг,
Что играешь ты над пучиною?
Ах! уж нет того, чем душа цвела,
Миновало всё — всё тоска взяла!

Ветры буйные — морю синему,
Росы свежие — полевым цветам,
Горе тайное — сердцу бедному!

Песни слышу я удалых жнецов,
Невеселые, всё унывные;
Пляски вижу я молодых красот, —
Со слезой в очах улыбаются.
И у всех у нас что-то дух крушит
И тоска свинцом на сердцах лежит.

Ветры буйные — морю синему,
Росы свежие — полевым цветам,
Горе тайное — сердцу бедному!

Загорелась вдруг в небе звездочка, —
Тихо веет нам весть родимая.
Вот в той звездочке — радость светлая:
Неизвестное там узнáется;
Но святой красы в небесах полна,
Между волн во тме здесь дрожит она.

Ветры буйные — морю синему,
Росы свежие — полевым цветам,
Горе тайное — сердцу бедному!

<1838>

ИЗ ДЖИЯУРА

(Подражательный перевод)

Блестя на пурпурных крылах,
В зеленых Индии полях,
Дыша восточною весной,
Царевной воздуха живой,
Подруга мотылька летит,
Младенца за собой манит,
Пред ним порхает на цветах
И, вдруг теряясь в облаках,
Мелькая, вьется; утомлен,
Почти в слезах вздыхает он, —
Так юношу краса манит,
И так легка и так блестит;
Надежду в нем тревожит страх,
Безумье кончит он в слезах.
Удастся ль, — горе и тоска
Ждут и красу, и мотылька:
Покоя, счастья лишены,
Они бедам обречены:
Один — младенческой игрой,
А та — любовью роковой.
Едва желанное сбылось
И рьяной воле удалось
Достать пленительный предмет, —
Уж в нем очарованья нет:
Прикосновеньем каждым он
Сиянья прежнего лишен,
И цвет, и прелесть потерял,
Забыт и брошен — и увял.
Без крыльев и томясь тоской,
Двум жертвам где найти покой?
Ах, мотылек уж не блестит,
С тюльпана к розе не летит!
Красе, которой нежный цвет
Увянет вмиг, — блаженства нет.
Где мотылек полуживой?
Не вьется их веселый рой;

И те, кто их милей, — и те
Без чувств к виновной красоте;
И, всякой тронуты бедой, —
Подруге не простят одной.

<1838>

ВСТРЕЧА

Баллада

«Ты знаешь над Днепром-рекой
Утес, где вся в цветах
Икона девы пресвятой
От сердца гонит страх?»

— «Видал я над рекой Днепром
Тот сумрачный утес,
И мать Спасителя на нем
В венке из белых роз».

— «Скажи скорей, видал ли ты,
Как раннею зарей
Людмила, ангел красоты,
Туда идет с тоской?

Видал ли ты, — когда луна
Сребрит лазурный свод,
Как пред иконою она
О друге слезы льет?

И как огонь любви младой
В очах ее горит? —
О, скоро ль нас венец святой
Навек соединит!»

— «В полночный час вчера Днепром
К утесу путь стремя,
Могилу свежую с крестом
Одну лишь видел я».

<1838>

ИДИЛЛИЯ

(Из Андрея Шенье)

Стремятся не ко мне с любовью и хвалами,
И много от сестры отстала я годами.
Душистый ли цветок мне юноша дарит,
Он мне его дает, а на сестру глядит;
Любуется ль моей младенческой красою,
Всегда примолвит он: как сходна я с сестрою.
Увы! двенадцать раз лишь мне весна цвела;
Мне в песнях не поют, что я сердцам мила,
Что я плененных мной изменой убиваю.
Но что же, подождем, — мою красу я знаю;
Я знаю, у меня, во блеске молодом,
Есть алые уста с их ровным жемчугом,
И розы на щеках, и кудри золотые,
Ресницы черные, и очи голубые...

<1838>

СТАНСЫ

Вчера я, мраком окруженный,
На ложе, сон забыв, мечтал;
Безмолвно жар, мне вдохновенный,
В груди стихами уж пылал.

Меж тем в эфирной тме сбиралась
Гроза, — из туч сверкнул огонь,
И молния струей промчалась,
Как буйный бледно-гривый конь.

И треск воздушной колесницы
На всё бросал священный страх,
И звери прятались, и птицы,
Дрожа в берлогах и гнездах.

А я... мой дух к творцу летает,
Пылая молнии огнем,
И ум встревоженный мечтает
Вольней, когда ударит гром.

Восторгом оживлен небесным,
Я был не раб земных оков, —
Органом звонким и чудесным
В огромной стройности миров.

И бог сильней вещает мною
И в думах пламенных моих,
Чем вкруг шумящею грозою
И в дивных ужасах ночных.

<1838>

КНЯГИНЕ З. А. ВОЛКОНСКОЙ

(В ОТВЕТ НА ЕЕ ПОСЛАНИЕ)

Я арфа тревоги, ты — арфа любви
И радости мирной, небесной;
Звучу я напевом мятежной тоски, —
Мил сердцу твой голос чудесный.

Я здесь омрачаюсь земною судьбой,
Мечтами страстей сокрушенный, —
А ты горишь в небе прекрасной звездой,
Как ангел прекрасный, нетленный!

<1838>

ГРАФИНЕ ЛАВАЛЬ

В ДЕНЬ ЕЕ РОЖДЕНИЯ

Полночная редеет тень,
И, озарив твое рожденье,
Уже летит прекрасный день
Семье, друзьям на утешенье.

Твое рожденье — праздник тех,
Кто любит и живет душою,
Веселья, горя, — праздник всех,
Кто в жизни встретился с тобою.

Как дружбы пламенной твоей
Верна безоблачная святость!
С тобой всегда в сердцах друзей
Ясней печаль, нежнее радость!

И жарко я, поверь, молю
Того, чье царство над звездами,
Чтобы во всем он жизнь твою
Осыпал райскими цветами;

Чтобы священные мечты
Отрадно сердце сохраняло
И чтобы всё, что любишь ты,
Твою любовь благословляло.

<1839>

ГИМН ОРФЕЯ

Когда целуете прелестные уста
И сердце тает негой наслажденья,
Вам шепчутся и ласки и моленья,
И безгранично своевольствует мечта...
    Тогда, любовью пламенея,
    Вы слушаете *страстный* гимн Орфея.

Когда душа тоскою сражена,
Нет слез от полноты томленья,
И меркнет свет, и мысли без движенья,
И волны времени без цели и без дна...
    Тогда, от горя каменея,
    Вам чудится *плачевный* гимн Орфея.

Когда к творцу миров возносите мольбы
И тонет взор в безбрежности творенья,
Молчат уста в избытке умиленья,
Вы доверяетесь влечению судьбы...
    Тогда, вам благодатью вея,
    Весь мир гремит *священный* гимн Орфея!

Когда поэт на языке земном
Передает пророческим пером
Таинственные вдохновенья
И осветлит души виденья
Поэзии огнем, —
Венчает мир, исполнен удивленья,
Чело певца бессмертия венком.

<1839>

МОЛИТВА

Прости мне, боже, прегрешенья
И дух мой томный обнови,
Дай мне терпеть мои мученья
В надежде, вере и любви.

Не страшны мне мои страданья:
Они залог любви святой;
Но дай, чтоб пламенной душой
Я мог лить слезы покаянья.

Взгляни на сердца нищету,
Дай Магдалины жар священный,
Дай Иоанна чистоту;

Дай мне донесть венец мой тленный
Под игом тяжкого креста
К ногам Спасителя Христа.

3 декабря 1839

ЛЕГЕНДА

Меж африканских диких гор,
Над средиземными волнами,
Святая обитель влечет к себе взор
В лесу, с блестящими крестами.
В ней иноки молят весь день и всю ночь,
Земная забота бежит от них прочь;

Одно у них в думах, одно в их сердцах —
Чтоб дал им спаситель свой мир в небесах!

Обители тихой игумен святой
Давно в ней спасался, с страстями в борьбе;
Отшельников прежних он образ живой,
Ко всем был радушен, но строг сам к себе.
И нищ он был духом, и чист сердцем был,
Любил страстно бога и ближних любил,
Творя в умиленьи, под сенью креста,
И заповедь божью, и волю Христа.

Один инок бедный меж иноков всех,
Божественной верой сгорая,
Был всех их моложе, усерднее всех:
Он жил, для себя умирая.
Зари луч огнистый едва заблестит,
А он уж в пустыню молитвой летит,
И, в Фивы стремяся в порыве святом, —
Он Павел Фивейский в цвету молодом.

И слух об обители всюду гремел,
И бедные братья смутились, —
Так был им по сердцу их тихий удел,
Они в нем измены страшились.
Один португалец весенней порой
Приехал в обитель с прелестной женой.
О, может лишь сердце одно обуздать,
Одно, что не наше, — его благодать!

И только что инок Инесу узрел,
В нем дух взбунтовался и сердце кипит;
Уж думать святое он, грешник, не смел,
И пагубной страстью безумец горит;
Ее похищает, в Дамасский предел
С собою увозит, где скрыться хотел;
И веру забыл он, и, в пагубной тме,
Меж турок живет он и ходит в чалме.

Семь лет миновало, — уж совесть не спит;
Спешит он к евангельской сени,

В раскаяньи сердца к игумну бежит
И пал перед ним на колени.
И тот отвечает: «Толь страшным грехам
Простить не могу я; но плачь, молись сам:
Как грех ни ужасен, но огнь роковой
Раскаянье тушит одною слезой!

А я сберу братьев, и в храм мы пойдем
Три дня и три ночи молиться;
Быть может, прощенье у бога найдем —
Спасителя воля явится».
И молятся братья; их слезы текли
За грешного брата в святой их любви.
Но ах! ни днем светлым, ни в мраке ночей
Христос не являет им воли своей!

И братьев усталых отец распустил,
И в прахе один пред престолом
Он плакал, молился и в грудь себе бил,
Терзаясь грехом столь тяжелым.
«Прости, милосердый отец мой, прости!
Кто может безгрешно крест тяжкий нести!
Да праведный гнев твой падет на меня,
Да буду я жертвой, — один, один я!»

Едва он молитву в слезах сотворил,
Чудесно престол озарился,
И волю святую спаситель явил —
В лучах милосердый явился.
«О старец! молитва святая твоя
Мне в сердце проникла, в ней заповедь вся;
И ею подобен ты мне самому, —
Любовью твоею прощаю ему!»

Конец декабря 1839 — начало января 1840

СТИХИ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

СТАНСЫ

Вольное подражание сонету Петрарки

Quel rosignuol.[1]

Тоскуя о подруге милой
Иль, может быть, лишен детей,
Осиротелый и унылый,
Поет и стонет соловей.

И песнию своей кручины
В воздушной тме он сладость льет,
Пленяет тихие долины
И будто для меня поет.

И всю он ночь как бы со мною
Горюет вместе, и своей
Напоминает мне тоскою
О бедной участи моей.

Но мне за мой удел несчастный
Себя лишь должно обвинять;
Я думал: смерти не подвластны...
Нельзя прекрасным умирать.

И я узнал, тоской сердечной
Когда вся жизнь отравлена, —
Как всё, что мило, скоротечно,
Что радость — молния одна.

---

[1] Какой соловей (итал.). — *Ред.*

СТИХИ АНДРЕЯ ШЕНЬЕ НА ПРЕБЫВАНИЕ ЕГО В АНГЛИИ

Вольное подражание

Простясь с родными и друзьями,
Лишен всего, что мило мне,
Живу я, брошенный волнами,
В туманной дикой стороне.
Один, тоскою здесь томимый,
Сижу у мрачного огня, —
И память родины любимой
В уме и сердце у меня;
Ее я в думах обнимаю,
Стремлюсь туда перелететь,
Минуты горестно считаю,
Давно хотел бы умереть.
И что ж? в уделе мне враждебном
Здесь нет со мною никого,
Кто б, на лице заметя бледном
Тревогу сердца моего
И слезы, — сам моей тоскою
Душевно тронутый, сказал:
«Что, друг мой милый, что с тобою?»
И руку мне приветно сжал.

ДРУЖБА

Святее дружбы чувства нет.
И тот, кто жертвою чудесной
Спасает мир и льет нам свет,
Дает тому пример небесный.

Он исцелял, благотворил
И, бог, изведал сердца нужды;
Но величайшее — для дружбы
Свое он чудо сотворил.

СТИХИ ДЛЯ КОНЦЕРТА

Сиротка

Я слышу, сиротам
Внезапно веет благость,
Что легче будет нам
Печальной жизни тягость.
Уж дан приют, — но я
Бежать туда не смею:
Мой путь страшит меня,
Идти одна робею.

Ангел

Не бойся, я с тобой,
Невинных я хранитель,
И благости святой
Известна мне обитель;
Отрада в том моя,
Что всех от бед спасаю,
И вот слепого я
Путь мрачный услаждаю.

Слепец

О верь, малютка, мне:
Вожатый он чудесный,
В земном тревожном сне
Блестя мечтой небесной.
Святую тайну знай:
Недаром сердце стонет;
Молись и уповай, —
Челнок твой не потонет.

Все трое вместе

Как сладостно любить
Тебя, о провиденье!
В тебе себя забыть,
Душой обнять терпенье!
О дай же нам, творец,
В счастливой, тяжкой доле
Направить пыл сердец
К твоей священной воле!

Воздушная песнь

Бог неба — бог земли:
Среди высот надзвездных
Хранит в своей любви
Печальных, безнадежных;
Он к ним стремит свой взор;
Их не глушат моленья,
Ни сфер небесных хор,
Ни серафимов пенье.

ПОЭМЫ

ЧЕРНЕЦ

Киевская повесть

Прекрасный друг минувших светлых дней,
Надежный друг дней мрачных и тяжелых,
Вина всех дум, и грустных и веселых,
Моя жена и мать моих детей!
Вот песнь моя, которой звук унылый,
Бывало, в час бессонницы ночной,
Какою-то невидимою силой
Меня пленял и дух тревожил мой!
О, сколько раз я плакал над струнами,
Когда я пел страданье Чернеца,
И скорбь души, обманутой мечтами,
И пыл страстей, волнующих сердца!
Моя душа сжилась с его душою:
Я с ним бродил во тме чужих лесов;
С его родных днепровских берегов
Мне веяло знакомою тоскою.
Быть может, мне так сладко не мечтать;
Быть может, мне так стройно не певать! —
Как мой Чернец, все страсти молодые
В груди моей давно я схоронил;
И я, как он, все радости земные
Небесною надеждой заменил.
Не зреть мне дня с зарями золотыми,
Ни роз весны, ни сердцу милых лиц!
И в цвете лет уж я между живыми
Тень хладная бесчувственных гробниц.
Но я стремлю, встревожен тяжкой мглою,

Мятежный рой сердечных дум моих
На двух детей, взлелеянных тобою,
И на тебя, почти милей мне их.
Я в вас живу, — и сладко мне мечтанье!
Всегда со мной мое очарованье.
Так в темну ночь цветок, краса полей,
Свой запах льет, незримый для очей.

17 сентября 1824
Санкт-Петербург

1

За Киевом, где Днепр широкой
В крутых брегах кипит, шумит,
У рощи на горе высокой
Обитель иноков стоит;
Вокруг нее стена с зубцами,
Четыре башни по углам
И посредине божий храм
С позолоченными главами;
Ряд келий, темный переход,
Часовня у святых ворот
С чудотворящею иконой,
И подле ключ воды студеной
Журчит целительной струей
Под тенью липы вековой.

2

Вечерний мрак в туманном поле;
Заря уж гаснет в небесах;
Не слышно песен на лугах;
В долинах стад не видно боле;
Ни рог в лесу не затрубит,
Никто не пройдет, — лишь порою
Чуть колокольчик прозвенит
Вдали дорогой столбовою;
И на Днепре у рыбаков
Уж нет на лодках огоньков;
Взошел и месяц полуночный,

И звезды яркие горят;
Поляны, рощи, вóды спят;
Пробил на башне час урочный;
Обитель в сон погружена;
Повсюду мир и тишина.
В далекой келье луч лампадный
Едва блестит; и в келье той
Кончает век свой безотрадный
Чернец, страдалец молодой.
Утраты, страсти и печали
Свой знак ужасный начертали
На пасмурном его челе;
Гроза в сердечной глубине,
Судьба его покрыта тмою:
Откуда он, и кто такой? —
Не знают. Но, в вражде с собой,
Он мучим тайной роковою.
Раз ночью, в бурю, он пришел;
С тех пор в обители остался,
Жизнь иноков печально вел,
Дичился всех, от всех скрывался;
Его вид чудный всех страшил,
Чернец ни с кем не говорил,
Но в глубине души унылой
Ужасное заметно было.
В торжественный молитвы час
И он певал хвалебный глас...
Но часто вопли тяжкой муки
Святые прерывали звуки!
Бывало, он, то тме ночей,
Покоя в келье не находит,
И в длинной мантии своей
Между могил, как призрак, бродит;
Теперь недвижим, ждет конца:
Недуг терзает Чернеца.

8

Пред ним, со взором умиленья,
Держал игумен крест спасенья, —
И тяжко страждущий вздыхал:

Он пламенел, он трепетал,
Он дважды тихо приподнялся,
Он дважды речь начать старался;
Казалось, некий грозный сон
Воспоминать страшился он,
И робко, дико озирался.
Чернец, Чернец, ужели ты
Всё помнишь прежние мечты!..
Но превозмог он страх могилы,
Зажглися гаснущие силы;
Он старца за руку схватил,
И так страдалец говорил:

4

«Отец! меж вас пришлец угрюмый,
Быть может, я моей тоской
Смущал спасительные думы
И мир обители святой.
Вот тайна: дней моих весною
Уж я всё горе жизни знал;
Я взрос бездомным сиротою,
Родимой ласки не видал;
Веселья детства пролетали,
Едва касаясь до меня:
Когда ровесники играли,
Уже задумывался я;
Огонь и чистый и прекрасный
В груди младой пылал напрасно:
Мне было некого любить!
Увы! я должен был таить,
Страшась холодного презренья,
От неприветливых людей
И сердца пылкого волненья,
И первый жар души моей;
Уныло расцветала младость,
Смотрел я с дикостью на свет,
Не знал я, что такое радость;
От самых отроческих лет
Ни с кем любви не разделяя,
Жил нелюдимо в тишине, —

И жизнь суровая, простая
Отрадною казалась мне.
Любил я по лесам скитаться,
День целый за зверьми гоняться,
Широкий Днепр переплывать,
Любил опасностью играть,
Над жизнью дерзостно смеяться, —
Мне было нечего терять,
Мне было не с кем расставаться.

5

Но вскоре с невских берегов
Покрытый воин сединами
Приехал век дожить меж нами,
Под тенью отческих дубров.
Он жил в селе своем с женою,
И с ними дочь в семнадцать лет...
О старец! гроб передо мною...
Во взорах тмится божий свет!..
Ее давно уж в мире нет...
Но ею всё живу одною...
Она одна в моих мечтах,
И на земле и в небесах!..
Отец святой, теперь напрасно
О ней тебе подробно знать,
Я не хочу ее назвать!..
Молися только о несчастной!
Случайно нас судьба свела;
Ее красы меня пленили;
Она мне сердце отдала, —
И мать с отцом нас обручили.
Уже налой с венцами ждал;
Всё горе прежнее в забвеньи, —
И я в сердечном упоеньи,
Дивясь, творца благословлял.
Давно ль, печально увядая,
Была мне в тягость жизнь младая?
Давно ли дух томился мой,
Убитый хладною тоской?
И вдруг дано мне небесами

И жить, и чувствовать вполне,
И плакать сладкими слезами,
И видеть радость не во сне!
С какой невинностью святою
Она пылающей душою
Лила блаженство на меня!
И кто из смертных под луною
Так мог любить ее, как я?
Сбылося в ней мое мечтанье,
Весь тайный мир души моей, —
И я, любви ее созданье,
И я воскрес любовью к ней!

6

Но снова рок ожесточился;
Я снова обречен бедам.
Какой-то вдруг, на гибель нам,
Далекий родственник явился;
Он польских войск хорунжий был;
Злодей, он чести изменил!
Он прежде сам коварно льстился
С ней в брак насильственно вступить.
Хотел ограбить, притеснить, —
И пре́зрен был, и только мщенья
Искал с улыбкой примиренья.
О мой отец! сердечный жар,
Благих небес высокий дар,
Нет, не горит огонь священный
В душе, пороком омраченной.
Не видно звезд в туманной мгле:
Любовь — святое на земле.
Ему ль любить!.. Но, ах, судьбою
Нам с нашей матерью родною
Была разлука суждена!
Она внезапно сражена
Недугом тяжким... мы рыдали,
Мы одр с молитвой окружали;
Настал неизбежимый час:
Родная скрылася от нас.

Еще теперь перед очами,
Как в страшную разлуки ночь
Теплейшей веры со слезами
Свою рыдающую дочь
Земная мать благословляла
И, взяв дрожащею рукой
Пречистой девы лик святой,
Ее небесной поручала.
С кончиной матери смелей
Стал мстить неистовый злодей;
Он клеветал; уловкой злою
Он слабой овладел душою, —
И старец слову изменил:
Желанный брак разрушен был.
Обманут низкой клеветою,
Он мнил, безжалостный отец,
Что узы пламенных сердец
Мог разорвать; и дочь младая,
Его колена обнимая,
Вотще лила потоки слез;
Но я ни гнева, ни угроз,
Ни мщенья их не убоялся,
Презрел злодея, дочь увез
И с нею тайно обвенчался.

7

Быть может, ты, отец святой,
Меня за дерзость обвиняешь;
Но, старец праведный, не знаешь,
Не знал ты страсти роковой.
Ты видишь сердца трепетанья,
И смертный хлад, и жар дыханья,
И бледный лик, и мутный взор,
Мое безумье, мой позор,
И грех, и кровь, — вот пламень страстный!
Моей любви вот след ужасный!
Но будь мой рок еще страшней:
Она была... была моей!

О, как мы с нею жизнь делили!
Как, утесненные судьбой,
Найдя в себе весь мир земной,
Друг друга пламенно любили!
Живою нежностью мила,
В тоске задумчивой милее,
На радость мне она цвела;
При ней душа была светлее.
Промчался год прелестным сном.
Уж мнил я скоро быть отцом;
Мы сладко в будущем мечтали,
И оба вместе уповали:
Родитель гневный нам простит.
Но злоба алчная не спит:
В опасный час к нам весть несется,
Что вся надежда отнята,
Что дочь отцом уж проклята...
Обман ужасный удается —
Злодей несчастную убил:
Я мать с младенцем схоронил.
И я... творец!.. над той могилой,
Где лег мой сын с подругой милой,
Стоял, — и жив!..
Отец святой!
Как было, что́ потом со мною,
Не знаю: вдруг какой-то тмою
Был омрачен рассудок мой;
Лишь помню, что, большой дорогой
И день и ночь скитаясь, я
Упал; когда ж вошел в себя,
Лежал уж в хижине убогой.
Без чувства бед моих, без сил;
Я жизнь страданьем пережил,
И в сердце замерло волненье;
Не скорбь, но страх и удивленье
Являло томное лицо;
В душе всё прежнее уснуло;
Но невзначай в глаза мелькнуло
Мое венчальное кольцо...
. . . .

8

Я бросил край наш опустелый;
Один, в отчаяньи, в слезах,
Блуждал, с душой осиротелой,
В далеких дебрях и лесах.
Мой стон, мой вопль, мои укоры
Ущелья мрачные и горы
Внимали с ужасом семь лет.
Угрюмый, скорбный, одичалый,
Терзался я мечтой бывалой;
Рыдал о том, чего уж нет.
Ночная тень, поток нагорный,
И бури свист, и ветров вой
Сливались втайне с думой черной,
С неутолимою тоской;
И горе было наслажденьем,
Святым остатком прежних дней;
Казалось мне, моим мученьем
Я не совсем расстался с ней.

9

Где сердце любит, где страдает,
И милосердый бог наш там:
Он крест дает, и он же нам
В кресте надежду посылает.
Чрез семь тяжелых, грозных лет
Блеснул и мне отрадный свет.
Однажды я, ночной порою,
Сидел уныло над рекою;
И неба огнезвездный свод,
И тихое луны мерцанье,
И говор листьев, и плесканье
Луной осеребренных вод —
Невольно душу всё пленяло,
Всё в мир блаженства увлекало
Своей таинственной красой.
Проснулся дух мой сокрушенный:
«Творец всего! младенец мой
С моей подругой незабвенной

Живут в стране твоей святой;
И, может быть, я буду с ними,
И там они навек моими!..»
Любви понятны чудеса:
С каким-то тайным ожиданьем
Дрожало сердце упованьем;
Я поднял взор на небеса,
Дерзал их вопрошать слезами...
И, мнилось, мне в ответ был дан
Сей безмятежный океан
С его нетленными звездами.
С тех пор я в бедствии самом
Нашел, отец мой, утешенье,
И тяжким уповал крестом
С ней выстрадать соединенье.
Еще, бывало, слезы лью,
Но их надежда услаждала,
И горесть тихая сменяла
Печаль суровую мою.
Забыл я, верой пламенея,
Мое несчастье и злодея:
Она с младенцем в небесах
Мечталась сердцу в райских снах.
Я к ней душою возносился, —
И мысль одним была полна:
Желал быть чистым, как она,
И с жизнью радостно простился;
Но умереть хотелось мне
В моей родимой стороне.
Я стал скучать в горах чужбины:
На рощи наши, на долины
Хотел последний бросить взгляд,
Увидеть край, весь ею полный,
И сельский домик наш, и сад,
И синие днепровски волны,
И церковь на холме, где спит
В тени берез их пепел милый,
И как над тихою могилой
Заря вечерняя горит.

10

Ах, что сбылось с моей душою,
Когда в святой красе своей
Вдруг вид открылся предо мною
Родимых киевских полей!
Они, как прежде, зеленели,
Волнами так же Днепр шумел,
Всё тот же лес вдали темнел,
На жнивах те же песни пели,
И так же всё в стране родной,
А нет лишь там ее одной!
Везде знакомые долины,
Ручьи, пригорки и равнины
В прелестной, милой тишине,
Со всех сторон являлись мне
С моими светлыми годами;
Но с отравлённою душой,
На родине пришлец чужой,
Я их приветствовал слезами
И безотрадною тоской.
Я шел; день к вечеру склонялся;
И скоро сельский божий храм
Предстал испуганным очам;
И вне себя я приближался
К могиле той, где сын, жена...
Вся жизнь моя погребена.
Я чуть ступал, как бы страшился
Прервать их непробудный сон;
В груди стеснял мой тяжкий стон,
Чтоб их покой не возмутился;
Страстям встревоженным своим
Не смел вдаваться дух унылый;
Казалось мне, над их могилой
Дышал я воздухом святым.
Творилось дивное со мною,
И я с надеждой неземною
Колена тихо преклонил,
Молился, плакал и любил...
Вдруг слышу шорох за кустами;
Гляжу, что ж взор встречает мой?
Жнеца с подругой молодой,

И воз, накладенный снопами;
И вижу я, между снопов
Сидит в венке из васильков
Младенец с алыми щеками.
Невольно я затрепетал:
«Я всё имел, всё потерял,
Нам не дали жить друг для друга.
В сырой земле моя подруга,
И не в цветах младенец мой —
Его червь точит гробовой».
В слезах тогда к ним на могилу
Без памяти бросаюсь я;
Горело сердце у меня;
Тоска души убила силу.
Целуя дерн, я разрывал
Руками жадными моими
Ту землю, где я лег бы с ними;
В безумстве диком я роптал;
Мне что-то страшное мечталось;
Едва дышал я, в мутной тме
Сливалось всё, как в тяжком сне;
Уж чувство жизни пресекалось,
И я лежал между гробов
Мертвей холодных мертвецов.
Но свежий воздух, влажность ночи
Страдальца вновь животворят;
Вздохнула грудь, открылись очи.
Кругом бродил мой томный взгляд:
Всё было тихо, скрыто мглою,
В тумане месяц чуть светил,
И лишь могильною травою
Полночный ветер шевелил.

11

Я встал и скорыми шагами
Пошел с потупленной главой
Через поляну; за кустами
Вилась дорога под горой;
Почти без памяти, без цели
Я шел куда глаза глядели;

Из-за кустов навстречу мне
Несется кто-то на коне.
Не знаю сам, какой судьбою,
Но вдруг... я вижу пред собою,
При блеске трепетном луны,
Убийцу сына и жены.
Отец, то встреча роковая!
Я шел, весь мир позабывая;
Не думал я его искать,
Я не хотел ему отмщать;
Но он, виновник разлученья,
Он там, где милые в гробах,
Когда еще в моих очах
Дрожали слезы исступленья...
То знает совесть, видит бог:
Хотел простить — простить не мог.
Я изменил святой надежде,
Я вспомнил всё, что было прежде, —
И за узду схватил коня:
«Злодей, узнал ли ты меня?»
Он робко смотрит, он дивится,
Он саблю обнажить стремится;
Увы! со мною был кинжал...
И он в крови с коня упал.

Тогда еще не рассветало;
Я вне себя иду назад;
И рощи и поля молчат,
Перед зарею всё дремало,
Лишь несся гул издалека,
Как конь скакал без седока;
Бесчувственно я удалялся.
Всё, что сбылось, казалось мне
Как что-то страшное во сне.
Вдруг звон к заутрене раздался...
Огнями светлый храм сиял,
А небо — вечными звездами,
И лунный свет осеребрял
Могилы тихие с крестами;
Призывный колокол звенел;
А я стоял, а я смотрел,
Я в светлый храм идти не смел...

«О чем теперь и как молиться?
Чего мне ждать у алтарей?
Мне ль уповать навеки с ней
В святой любви соединиться?
Как непорочность сочетать
Убийцы с буйными страстями?
Как в небе ангела обнять
Окровавленными руками?»

12

В обитель вашу я вступил,
Искал я слез и покаянья;
Увы, я, грешный, погубил
Святые сердца упованья!
Бывало, бедствие мое
Я верой услаждал всечасно;
Теперь — до гроба жить ужасно!
За гробом — вечность без нее!
Я мнил, отец мой, между вами
Небесный гнев смягчать слезами;
Я мнил, что пост, молитва, труд
Вине прощенье обретут;
Но и в обители спасенья
Я слышу бурь знакомый шум;
Проснулись прежние волненья,
И сердце полно прежних дум.
Везде, отчаяньем томимый,
Я вижу лик неотразимый;
Она в уме, она в речах,
Она в моленьи на устах;
К ней сердце пылкое стремится,
Но тень священную боится
На лоне мира возмутить.
О, верь, не обагренный кровью,
Дышал я чистою любовью,
Умел земное позабыть:
Я в небесах с ней думал жить!
Теперь, как гибельным ударом
И там я с нею разлучен,
Опять горю безумным жаром,

Тоскою дикой омрачен.
Здесь, на соломе, в келье хладной,
Не пред крестом я слезы лью;
Я вяну, мучуся, люблю,
В печали сохну безотрадной;
Весь яд, всё бешенство страстей
Кипят опять в груди моей,
И, жертва буйного страданья,
Мои преступные рыданья
Тревожат таинство ночей.

13

Вчера — бьет полночь — страх могилы
Последние разрушил силы,
И пред иконою святой
С непостижимою тоской
Я изливал мои страданья;
Я милосердого молил,
Чтоб грех кровавый мне простил,
Чтоб принял слезы покаянья.
Вдруг что-то, свыше осеня,
Как будто душу озарило
И тайной святостью страшило,
Отец мой, грешного меня.
Лампада луч дрожащий, бледный
Бросала томно в келье бедной.
Покрыта белой пеленой,
Она предстала предо мной,
И черные горели очи
Ярчее звезд осенней ночи.
О нет, то был не призрак сна
И не обман воображенья!
Святой отец, к чему сомненья!
С нее слетела пелена,
И то была, поверь... она!
Она, прелестная, младая!
Ее улыбка неземная!
И кудри темные с чела
На грудь лилейную бежали,
И, мнилось мне, ее уста

Былое, милое шептали;
Всё та ж любовь в ее очах,
И наш младенец на руках.
«Она!.. прощен я небесами!»
И слезы хлынули ручьями.
Я вне себя бросаюсь к ней,
Схватил, прижал к груди моей...
Но сердце у нее не бьется,
Молчит пленительная тень;
Неумолимая несется
Опять в таинственную сень;
И руки жадные дрожали,
И только воздух обнимали;
Мечтой обмануты, они
К груди прижалися одни.
«Ужель отринуты моленья?
Ужель ты вестник отверженья?
Или, в ужасный, смертный час,
Моя всё верная подруга,
Хотела ты в последний раз
Взглянуть на гибнущего друга?..»
И с ложа на колена пал
Чернец, и замер голос муки;
Взор оживился, засверкал;
К чему-то вдруг простер он руки,
Как исступленный закричал:
«Ты здесь опять!.. конец разлуки!
Зовешь!.. моя!.. всегда!.. везде!..
О, как светла!.. к нему!.. к тебе!..»

14

Два дни, две ночи он томился,
И горько плакал, и молился;
На третью ночь отец святой
Обитель мирную сзывает;
Последний час уже летает
Над юной грешною главой.
И в келью брата со свечами
Собором иноки вошли,
И белый саван принесли...

И гроб дощатый за дверями.
Печален был их томный глас,
За упокой души молящих;
Печален вид их черных ряс
При тусклом блеске свеч горящих.
Прочитана святым отцом
Отходная над чернецом.
Когда ж минута роковая
Пресекла горестный удел,
Он, тленный прах благословляя,
Ударить в колокол велел...
И звон трикратно раздается
Над полуночною волной,
И об усопшем весть несется
Далеко зыбкою рекой.
В пещеру вещий звон домчался,
Где схимник праведный спасался:
«Покойник!» — старец прошептал,
Открыл налой и четки взял;
У рыбаков сон безмятежный
Им прерван в хижине прибрежной.
Грудной младенец стал кричать;
Его крестит спросонья мать,
Творить молитву начинает
И тихо колыбель качает, —
И перед тлеющим огнем
Опять уснула крепким сном.
И через поле той порою
Шел путник с милою женою;
Они свой ужас в темну ночь
Веселой песнью гнали прочь;
Они, лишь звоны раздалися, —
Перекрестились, обнялися,
Пошли грустней рука с рукой...
И звук утих во тме ночной.

1824

НЕВЕСТА АБИДОССКАЯ

Турецкая повесть лорда Байрона

Ее императорскому величеству государыне императрице Александре Феодоровне с чувством сердечного благоговения всеподданнейше посвящает

Иван Козлов

Надежда и любовь полуночного края,
Народа древнего царица молодая,
О будь, хранимая всевышнего рукой,
Блаженства русского прекрасною звездой!

Безвестный я певец, забвенный житель мира;
Дубравам и полям моя играет лира,
Задумчиво поет мечты минувших дней,
Порывы бурные и тайный пыл страстей.
Дерзну ли я цветок убогий и смиренный,
Подруга нежная владыки полвселенной,
Дерзну ль тебе принесть? Кипит восторг живой...
А струны робкие немеют пред тобой.
Не сан блистательный, не почести земные,
Но добродетели нетленные, святые
Пленяют дух певца. — Тебя всещедрый бог
России подарил; ты радости залог
И чувств возвышенных пылающей душою,
И сердца нежных дум небесной чистотою.
Порукой прочною блаженства на земли
Святая благодать семейственной любви:
Блажен народ, когда всем правилам священным,

Всем кротким должностям, от века
неизменным,
Творящим жизни путь вернее и светлей,
Он видит образец в душе своих царей!
О час, прекрасный час надежд, очарованья,
Когда, священного полна воспоминанья,
Ты в тайный тот чертог незримая спешишь,
Где образ матери так набожно хранишь,
И, тихо мрамора касаяся устами,
Венчаешь хладный лик душистыми цветами,
Бесценная слеза дрожит в твоих очах,
А незабвенная ликует в небесах!
Но знай, уж небеса тебя благословили;
Четыре ангела тебе уж возвестили
Награду чистую: любовь и благодать;
И набожная дочь — счастливая ты мать.
Пленителен, как ты, и пышно расцветая,
Усердных россиян надежда дорогая,
Порфирородный сын блистает пред тобой
На всё прекрасное готовою душой;
Им чувство новое твой жребий озарило;
Предмет святых забот, забав товарищ милый,
Он радость светлая твоих невинных дней...
Дерзну ль я лирою нескромною моей
Тебе напомянуть о тех минутах ясных,
Когда ты вместе с ним, в тени садов
прекрасных,
Гуляешь, говоришь, и в юный, гибкий ум
Вливаешь доброту и жар высоких дум?
Иль, в час его забав, вечернею порою,
Как волны звучные он детскою рукою
Стремится рассекать сверкающим веслом
И пена белая кипит под челноком,
Ты, спутница его, и вдоль брегов тенистых
Одна по зéркальной равнине вод сребристых
В том легком челноке летаешь вместе с ним:
Прелестен он тобой, а ты прелестна им.

И я не зрел его!.. И, жертва мрачной ночи,
Мои потухшие, увы! не видят очи
Священной красоты царицы молодой,
Ни русского царя, любви земли родной,

Чей первый царства день был днем
бессмертной славы,
Спасеньем алтарей, России и державы,
Кто с братом доблестным пример величья дал,
Какого мир земной не зрел и не слыхал!
Но сердца моего восторг и умиленье
Возносят ко творцу усердное моленье,
Да светлая печать любви его святой
Пребудет навсегда над ним и над тобой!
Да солнце радости блестящими лучами
Над русскою землей, над русскими морями
Взыграет навсегда, — и мир, и тишину
Прольет с высот небес на верную страну!
Да вышний осенит державу Николая,
И солнце вечное, вселенну обтекая,
Не узрит ничего счастливее, славней
Его высоких дел, твоих прекрасных дней!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Кто знает край далекий и прекрасный,
Где кипарис и томный мирт цветут,
И где они как признаки растут
Суровых дел и неги сладострастной,
Где нежность чувств с их буйностью близка,
Вдруг ястреб тих, а горлица дика?
Кто знает край, где небо голубое
Безоблачно, как счастье молодое,
Где кедр шумит и вьется виноград,
Где ветерок, носящий аромат,
Под ношею в эфире утопает,
Во всей красе где роза расцветает,
Где сладостна олива и лимон,
И луг всегда цветами испещрен,
И соловей в лесах не умолкает,
Где дивно всё, вид рощей и полян,
Лазурный свод и радужный туман,
И пурпуром блестящий океан,
И девы там свежее роз душистых,
Разбросанных в их локонах волнистых?

Тот край Восток, то солнца сторона!
В ней всё дышит божественной красою,
Но люди там с безжалостной душою;
Земля как рай. Увы! зачем она —
Прекрасная — злодеям предана!
В их сердце месть; их повести печальны,
Как стон любви, как поцелуй прощальный.

2

Собрав диван, Яфар седой
Сидел угрюмо. — Вкруг стояли
Рабы готовою толпой
И стражей быть, и мчаться в бой.
Но думы мрачные летали
Над престарелою главой.
И, по обычаям Востока,
Хотя поклонники пророка
Скрывают хитро от очей
Порывы бурные страстей —
Всё, кроме спеси их надменной, —
Но взоры пасмурны, смущенны
Являли всем, что втайне он
Каким-то горем угнетен.

3

«Оставьте нас!» — Идут толпою.
«Гаруна верного ко мне!»
И вот Яфар наедине
Остался с сыном. — Пред пашою
Араб стоит. — «Гарун! скорей
Иди за дочерью моей
И приведи ко мне с собою;
Но пережди, чтоб внешний двор
Толпа военных миновала:
Беда тому, чей узрит взор
Ее лицо без покрывала!
Судьба Зюлейки решена;
Но ты ни слова; пусть она

Свой жребий от меня узнает».
— «Что мне паша повелевает,
Исполню я». Других нет слов
Меж властелина и рабов.
И вот уж к башне отдаленной
Начальник евнухов бежит.
Тогда, с покорностью смиренной,
Взяв ласковый и нежный вид,
Умильно сын к отцу подходит,
И, поклонясь, младой Селим
С пашою грозным речь заводит,
С почтеньем стоя перед ним.

«Ты гневен, — но чужой виною,
Отец! сестры не упрекай,
Рабыни черной не карай...
Виновен я перед тобою.
Сегодня раннею зарей
Так солнце весело играло,
Такою светлою красой
Поля и волны озаряло;
Мой сон невольно от очей
Бежал; но грусть меня смущала,
Что тайных чувств души моей
Ничья душа не разделяла;
Я перервал Зюлейки сон, —
И как замки́ сторожевые
Доступны мне в часы ночные,
То мимо усыпленных жен
Тихонько в сад мы убежали;
И рощи, волны, небеса
Как бы для нас цвели, сияли,
И мнилось: наша их краса.
Мы день бы целый были рады
Вдаваться сладостным мечтам,
Межнуна сказки, песни Сади [1]
Еще милей казались нам, —
Как вещий грохот барабана [2]
Мне вдруг напомнил час дивана, —
И во дворец являюсь я:
К тебе мой долг меня приводит.

Но и теперь сестра моя —
Задумчива — по рощам бродит. —
О, не гневись! толпа рабов
Гарем всечасно охраняет,
И в тихий мрак твоих садов
Лукавый взор не проникает».

4

«О сын рабы! — паша вскричал. —
Напрасно я надеждой льстился,
Чтоб ты с годами возмужал.
От нечестивой ты родился!
Иной бы, в цвете юных дней,
То борзых объезжал коней,
То стрелы раннею зарею
Бросал бы меткою рукою.
Но, грек не верой, грек душой,
Ты любишь негу и покой,
Сидишь над светлыми водами
Или пленяешься цветами;
Ах! признаюсь, желал бы я,
Чтоб, взор ленивый веселя,
Хотя б небесное светило
Твой слабый дух воспламенило!
Но — нет! позор земли родной!
О! если бурною рекой
Полки московитян нахлынут,
Стамбула башни в прах низринут
И разорят мечом, огнем
Отцов заветную обитель, —
Ты, грозной сечи вялый зритель,
Ты лен пряди, — а стук мечей
Лишь страх родит в душе твоей;
Но сам ты мчишься за бедою;
Смотри же, чтоб опять с тобою
Зюлейка тайно не ушла...
Не то — вот лук и вот стрела!»

5

Уста Селимовы молчали;
Но взор отцов, отцова речь
Убийственней, чем русский меч,
Младое сердце уязвляли.
«Я сын рабы? я слаб душой!
Кто ж мой отец?.. Давно б иной
Пал мертвый за упрек такой».
Так думы черные рождались,
И очи гневом разгорались,
И гнева скрыть он не хотел.
Яфар на сына посмотрел —
И содрогнулся... Уж являлась
Кичливость юноши пред ним;
Он зрит, как раздражен Селим
И как душа в нем взбунтовалась.
«Что ж ты ни слова мне в ответ?
Я вижу всё — отваги нет, —
Но ты упрям, — а будь ты смелый,
И сильный, и годами зрелый,
То пусть бы ты свое копье
Переломил — хоть о мое».
И взгляд презренья довершает
Паши насмешливый укор;
Но дерзкий вид, обидный взор
Селим бесстрашно возвращает, —
Сам гордо на него глядит,
Гроза в очах его горит,
И старец взоры опускает,
И с тайной злобою молчит.
«Он мне рожден для оскорбленья,
Он мне постыл со дня рожденья.
Но что ж? — его без силы длань
Лишь серну дикую и лань
Разит на ловле безопасной;
Его страшиться мне напрасно.
Ему ли с робкою душой
За честь лететь на смертный бой?
Меня кичливость в нем смущает,
В нем кровь... чья кровь?.. Ужель
он знает?..

В моих очах он как араб,
Как в битвах низкий, подлый раб;
Я усмирю в нем дух мятежный! —
Но чей я слышу голос нежный?..
Не так пленителен напев
Эдемских светлоокких дев.
О дочь! тобою жизнь яснее,
Ты матери своей милее. —
С тобою мне, под сумрак лет,
Одни надежды, горя нет;
Как путника в степи безводной
Живит на солнце ключ холодный,
Так веселит взор жадный мой
Явленье пери молодой.
Какой поклонник в поднебесной
Перед гробницею чудесной,
Пророка пламенней молил?
Кто так за жизнь благодарил,
Как я за дочь, мою отраду,
Его прекрасную награду?
Дитя мое... О, сладко мне
Благословенье дать тебе!»

6

Пленительна, светла, как та мечта живая,
Которая с собой несет виденья рая
Страдальца горестным, призраков полным снам,
И радует тоску, что встреча есть сердцам,
Что в небе отдана утрата нам земная,
Мила, как память той, чей свят бесценный прах,
Чиста, как у детей молитва на устах,
Была Яфара дочь. — Заплакал вождь угрюмый,
Когда она вошла, и не от мрачной думы.
Кто сам не испытал, что слов на свете нет
Могущей красоты изобразить сиянье?
Предстанет ли пред кем? В душе очарованье,
Бледнеет, и в очах затмится божий свет,
И, сладостно томясь, веселый и унылый,
Он сердцем признает всю власть чудесной силы.
Зюлейка так блестит той прелестью младой,

Которой имя нет, безвестной ей одной,
Невинностью цветет, любовью пламенеет,
И музыка у ней с лица как будто веет,[3]
И сердце нежное льет жизнь ее красам.
А взор? о! этот взор — он был душою сам!

Она вошла — главу склонила
И руки белые крестом
На перси чистые сложила, —
И перед сумрачным отцом
С улыбкою смиренной стала,
И на плечо к нему припала,
И белоснежною рукой
Приветно старца обнимала.
Лаская дочь, Яфар немой,
Унылый, — дело начатое
Уже готов был отменить;
Яфар боялся погубить
Ее веселье молодое;
Он чувством был прикован к ней;
Но гордость в нем всех чувств сильней.

7

«Зюлейка — сердца утешенье!
Тебе сей день докажет вновь
Мою отцовскую любовь;
С тобой мне тяжко разлученье;
Но я, забыв печаль мою,
Тебя в замужство отдаю;
Жених твой славен, — меж военных
Он всех храбрей; Осман рожден
От древних, доблестных племен,
От Тимарьетов неизменных,[4]
Никем, нигде не побежденных;
И словом, я тебе скажу,
Он родственник Пасван-Оглу.
До лет его какое дело!
Не юноши искал я сам;
Тебе ж приданое я дам,
Которым ты гордися смело.

Когда ж всё будет свершено,
И наши силы заодно, —
То посмеемся мы с Османом
Над жизнь отъемлющим фирманом;
Лишь головы́ не сбережет,[5]
Кто в дар снурок к нам привезет.
Теперь, моей внимая воле,
Послушна мне, ему верна,
Уже ты с ним искать должна
Любви и счастья в новой доле».

8

И дева юною главой
Безмолвно, робкая, поникла,
И весть разящею стрелой,
Казалось, грудь ее проникла.
В смятеньи тяжком и немом
И чувствам воли дать не смея,
Она стояла пред отцом
Бледна, как ранняя лилея;
Но вздох прокрался, — на щеках
Зарделись девственные розы,
И на потупленных очах
Невольно навернулись слезы.
Что может, что с твоей красой,
Румянец девственный, равняться!
И жалость нежная тобой
Всегда готова любоваться!
И что, что может так пленять,
Как слезы красоты стыдливой!
Их жаль самой любви счастливой
Лобзаньем страстным осушать!
Но уж о том, как с ней одною
Селим в саду гулял зарею,
Иль не хотел, иль позабыл,
Яфар совсем не говорил. —
Он трижды хлопает руками,[6]
Чубук в алмазах с янтарями[7]
Рабам вошедшим отдает;
Уж конь его арабский ждет,

Он бодро на него садится
И в поле чистое летит —
Смотреть воинственный джирид;
Пред ним, за ним несется, мчится
Дельгисов, мамелюков рой [8]
И черных мавров легкий строй;
Готовы дротики тупые,
Кинжалы, сабли уж блестят;
Туда все скачут, все летят,
Лишь у ворот неподкупные
Татары на часах стоят.

9

И, подгорюнясь, думы полный,
На синие морские волны
Угрюмый юноша взирал:
Меж Дарданелл они сверкали,
Струились тихо и плескали
В излучинах прибрежных скал.
Но он, унылый, не видал
Ни моря с синими волнами,
Ни поля с дальними холмами,
Ни чалмоносцев удалых,
Стремящихся перед пашою
Шум грозный сечей роковых
Представить бранною игрою;
Не видит он, как к облакам
Их кони вихрем прах взвевают,
Как сабли острые мелькают,
И как с размаха пополам
Чалмы двойные рассекают; [9]
Не слышит он, как громкий крик
За свистом дротиков несется
И как в долине раздается:
Олах! Олах! — их дикий клик; [10]
Душа полна мечтой одною —
Яфара дочерью младою.

10

Задумчиво сидел Селим,
Печален, бледен, недвижим,
И сквозь решетки он безмолвно
Взор мрачный в поле устремлял. —
Вздохнула дева, вздох невольно
Ее все думы рассказал.
Такой внезапною грозою
Душа Зюлейки смущена;
Ах! разной с ним — но и она
Уже волнуется тоскою
В любви младенческой, живой:
У ней так нежно сердце билось;
Но вдруг теперь в груди младой
Невнятно что-то пробудилось,
Какой-то стыд, какой-то страх,
И речь немеет на устах;
И можно ль долго ей таиться?
И как начать? и в чем открыться?
«Что может так его томить?
Зачем ему меня чуждаться?
Не так мы с ним привыкли жить,
Не так нам должно расставаться!»
И вот нарочно вкруг него
Прекрасная в раздумье ходит;
А он и взора своего
Уже на деву не возводит.
Но что ж — кувшин в углу блестит
С персидской, розовой водою;
Она к ней весело летит
И плещет легкою рукою
На стены мраморны с резьбою,
На златотканые ковры,
Восточной роскоши дары;
Потом на милого взглянула,
К нему бросается стрелой, —
И вдруг душистою водой,
Резвясь, на юношу плеснула;
Но он не слышит, не глядит,
И под одеждой парчевою
Вода душистая бежит

Студеною по нем струею,
А он не чувствует. — Селим
Сидит, как мрамор, недвижим.
«Он всё молчит, тоской томимый;
Но разгоню его мечты...
Бывало, он любил цветы,
И я ему цветок любимый
Сама сорву, сама подам»,
И дева кинулась к цветам,
Весельем детским оживилась;
И роза мигом сорвана —
И вот бежит, и вот она
У ног Селима очутилась.

«Любовник розы — соловей[11]
Прислал тебе цветок свой милый;
Он станет песнию своей
Всю ночь пленять твой дух унылый.

Он любит петь во тме ночей,
И песнь его дышит тоскою;
Но с обнадеженной мечтою,
Споет он песню веселей.

И с думой тайною моей
Тебя коснется пенья сладость,
И напоет на сердце радость
Любовник розы — соловей.

11

Но ты цветка не принимаешь,
И гнев на горестном челе, —
Уж ты со мною не играешь!
Скажи, кому ж ты мил, как мне?
О мой Селим! о сердцу милый!
Меня страшит твой взор унылый,
Ужель меня ты разлюбил?
Ах! если выдумкой напрасной
Твоей тоски не усладил
И соловей мой сладкогласный, —

На грудь ко мне склонись, склонись.
Вот поцелуй — развеселись!
Родитель грозный мой с тобою,
Я знаю, и суров, и строг;
Но ты к нему привыкнуть мог,
И как за то любим ты мною!
Увы! не то ль крушит тебя,
Что замуж выдают меня?
Осман, жених мой нареченный,
Он, может быть, он недруг твой?
Клянусь же Меккою святой,
Клянусь любовью неизменной,
Когда не ты велишь мне сам,
Султану я руки не дам!
Ужель, Селим, тебя лишиться
И сердцем мне с другим делиться?
О! если б что, какой судьбой,
Меня с тобою разлучило, —
Кто будет друг-хранитель мой
И быть кому твоею милой?
Не бил и не пробьет для нас
Ужасный расставанья час!
Сам Азраил, явясь пред нами, [12]
С колчаном смерти за плечами,
Стрелой однюю нас сразит
И в прах один соединит!»

12

Он ожил — дышит — зрит — внимает,
Он деву тихо поднимает,
Печали нет, исчез укор,
И вся душа в очах сверкает,
И думы тайной полон взор.

Как спертый дубами
Поток, разъярясь,
Бушует волнами,
В долину стремясь;
Как ночью зарницы
Из тучи блестят, —

Сквозь темны ресницы
Так очи горят.
Ни конь, оживленный
Военной трубой,
Ни лев, уязвленный
Внезапной стрелой,
Ни варвар, смятенный
Полночной порой,
Страшней не трепещет,
Когда вдруг заблещет
Кинжал роковой,

Как он, в пылу любви мятежной,
Дрожал при клятве девы нежной
И всё, что думал, что таил,
В порыве пламенном открыл:
«Моя, и будешь ты моею!
Моя и здесь, моя и там!
Мы клятвой связаны твоею,
Она свята обоим нам;
Ту клятву, верь, ее внушила
Тебе таинственно любовь.
Не знаешь ты, какую кровь
Она одна остановила!
Но не бледней — тобой, в тебе
Всё мило, всё священно мне.
Я всех сокровищ драгоценных,
У Истакара сокровенных,
В пещерах глубоко в земле,[13]
За кудри не возьму младые,
Небрежно в кольца завитые
На девственном твоем челе.
Как страшно тучи надо мною
Сегодня грянули грозою...
Мне смел сказать родитель твой,
Что вял и робок я душой,
Что будто я рожден рабой...
Теперь узнает он, надменный,
Кто сын рабы его презренной!..
Увидит он, таков ли я,
Чтоб мог он устрашить меня!

И по тебе, быть может, снова
Я назову его отцом.
Но о сердечном, о святом
Обете нашем ты ни слова.
Известен мне коварный бей...
Он смел искать руки твоей!
Его чины, его именье,
Плоды неправды, ухищренья,
Он с Негропонтских берегов, [14]
Не лучше родом он жидов.
Но знай, судьба не так сурова,
Лишь тайной клятвы не открой,
А спор ему иметь со мной!
Уж месть на черный день готова —
Есть и кинжалы, и друзья...
И ты не ведаешь, кто я».

13

— «Кто ты? О! что ж ты изменился?
Давно ль румяная заря
Веселым видела тебя,
И вдруг тоскою омрачился;
Ты знал, нельзя любви моей
Ни охладеть, ни быть живей;
Дышу надеждою одною —
Твой взгляд, улыбку, речь ловить,
Тобою сердце веселить,
И жить, и умереть с тобою.
И, может быть, ночную тень
За то одно я ненавижу,
Что лишь когда сияет день,
Селима я свободно вижу!
Целуй меня, целуй, целуй
В уста, и в очи, и в ланиты!
Но, ах! он жжет — твой поцелуй,
Пылает в нем огонь сокрытый;
Уж и меня объемлет страх,
Я вся дрожу и пламенею,
И стелется туман в очах,
И чувствую, что я краснею.

Хочу я нежностью живой
Лелеять милого покой,
С ним разделять и жизнь, и сладость,
И бедность весело сносить...
С тобой во всем найду я радость,
Лишь бы тебя не пережить...
О нет! нельзя желать Селиму
Еще нежнее быть любиму.
Любить нежней могу ли я?
Но ты и взором и речами
Наводишь ужас на меня!
Что за кинжалы, за друзья?
Какая тайна между нами?
И клятву наших двух сердец
Хотя б узнал Яфар угрюмый,
Уж над моей сердечной думой
Не властен грозный мой отец.
Но верь, Селим, моей надежде —
Не приневолит он меня!
Могу ль я не любить тебя,
Тебя, кого любила прежде?
С тобою вместе детских дней
Часы веселые летели,
С тобой играла в колыбели, —
Ты спутник младости моей.
Что ж хочешь ты — чтоб мы таились
В любви прекрасной и святой,
Невинной нашею мечтой,
Которой прежде мы гордились?
Законы наши, вера, бог
Велят нам жить безвестно в свете;
Но для меня ль пророк был строг
В своем таинственном завете?
В уделе, сердцу дорогом,
Он всё мне дал в тебе одном.
Ах! и меня печаль терзала! —
Как руку незнакомцу дать?
Отцу я всё бы рассказала;
Но ты, Селим, велишь молчать.
С душой неопытной, простою,
Ужасен мне обмана вид,
И что-то всё, грозя бедою,

Как тяжкий грех, меня страшит.
Но вот уж кончился джирид,
И чекодар летит обратно,[15]
И вот отец с забавы ратной!
Боюсь взглянуть я на него...
Селим, скажи мне, отчего?»

14

«Зюлейка, ты спеши укрыться
В высоком тереме своем,
Я должен, я могу явиться
Перед разгневанным отцом.
Внезапно с берегов Дуная
К нам весть примчалась роковая.
Визирь писал, что враг разбит,
А сам от яуров бежит;
Но подвигам вождя такого
И у султана мзда готова.
Когда же барабанный бой
Военным ужин и покой
С вечерней возвестит зарею,
Тогда во тме, никем не зрим,
В гарем прокрадется Селим,—
И мы уйдем порой ночною
Чрез сад,— на берегу морском,
Уединенном и крутом,
В тиши беседовать с тобою.
Не бойся, будут нас стеречь
И темна ночь, и острый меч.
Гарун за нас, и в час урочный...
Решись, Зюлейка, не робей!»
— «Робеть с тобой!..»
— «Иди ж скорей,
Гарема ключ в руке моей;
Узнаешь ты во тме полночной
Мой рок, мой страх, мои мечты,
И я не то, что мнила ты».

1

Над Геллеспонтом ветер дует,
Клубит волнами и бушует,
Как бушевал перед грозой,
Когда погиб в ночи ужасной
Тот юный, смелый и прекрасный,
Что был единственной мечтой
Сестоса девы молодой.
Бывало — только тень сгустится
И вещий факел загорится, —
Тогда хоть ветер и шумит,
Хоть море гневное кипит
И с пеной к берегу несется,
И небо тмится черной мглой,
И птиц морских станица вьется,
Перекликаясь пред грозой;
Но он смотреть, внимать не хочет,
Как небо тмится — вал грохочет,
Всё факел светится в очах,
Звездой любви на небесах;
Не шум грозы, но томной девы
Всё слышатся ему напевы:
«Неси, волна, в полночной тме
Скорее милого ко мне!»
Вот старина, — и нам дивиться
Не должно ей, — быть может, вновь
Пылать сердцам велит любовь,
И эта быль возобновится.

2

Над Геллеспонтом ветр шумит;
Он, волны черные вздымая,
Их в море бурное клубит;
И, расстилаясь, тень ночная,
На поле том уже легла,
Где так напрасно кровь текла;
Скрывают мрачные туманы

Ту степь, где царствовал Приам;
На ней заметны, здесь и там,
Одни могильные курганы.
Ни ужас битв, ни блеск венца,
Ничто б от мрака не спаслося
Без песен нищего слепца
С холмов кремнистого Хиоса.

3

И я был там! и видел я
Тот брег, мечты священной полный;
И я был там!.. там и меня
Кипучие носили волны.
Певец! когда ж удастся мне,
В твоей минувшего стране,
Томиму думою высокой,
Бродить опять по тем полям,
Где дивное понятно нам,
Где каждый холмик одинокой
Останки славные хранит,
И где, как прежде, всё шумит,
Шумит твой Геллеспонт широкой;[16]
И беден, беден тот душой,
Кто пред заветной их красою,
Певец, рассказ чудесный твой
Считает выдумкой одною!

4

Оделись волны черной мглой;
И с мраком ужас ночь наводит,
А над туманною горой
Желанный месяц не восходит.
О Ида! он с твоих высот,
Бывало, свет дрожащий льет
На поле битв; но смолкло поле —
И нет на нем тех ратных боле,
Которым часто в тме ночей
Был в гибель блеск его лучей.

Лишь пастухи, в их мирной доле,
Когда он светит веселей,
Пасут стада вокруг могилы
Того, кто, славный и младой,
Сражен дарданскою стрелой.
Здесь возвышался холм унылый,
Здесь сын Аммона горделивый,[17]
Свершая тризну, пировал.
Сей холм народы воздвигали,
Цари могучие венчали;
Но сам курган надменный пал
И в безымянной здесь пустыне
Почти от взоров скрылся ныне.
О ты, жилец его былой!
Как тесен дом подземный твой!
Пришлец один на нем мечтает
О том, кого и в гробе нет,
И свой задумчивый привет
Пустынным ветрам поверяет.
Наш прах как бы живет в гробах;
Но твой — исчез и самый прах.

5

Взойдет, взойдет в свой час урочный
Сребристый рог луны полночной,
Утешит мирных пастухов
И страх отгонит от пловцов;
Но до луны всё тма скрывает;
Маяк на взморье не пылает,
И в мгле туманной легкий челн
Ныряет робко между волн.
Везде, вдоль берега морского,
В домах светилися огни, —
Но вот, один после другого,
Уже потухнули они;
Лишь только в башне одинокой
Младой Зюлейки свет блестит, —
Лишь у нее, в ночи глубокой,
Лампада поздняя горит,
И тускло светит пламень томный

В диванной, тихой и укромной,
Блестя на тканях золотых
Ее подушек парчевых.
На них из янтарей душистых
Вот чётки девы молодой,
Которые, в молитвах чистых,
Она лилейною рукой
Так набожно перебирает, — [18]
И в изумрудах вот сияет
С словами Курзи талисман;
Ах, что ж она его забыла!
В нем тайная хранится сила,
И ей он матерью был дан; [19]
И с комболойё вот Коран, [20]
Раскрашен яркими цветами;
А подле — с пестрыми каймами
Тетради песен и стихов
Счастливой Персии певцов,
И лютня, бывшая подруга
Ее веселого досуга;
И вкруг лампады золотой
Цветут цветы, благоухая,
В фарфоре расписном Китая
И дышат свежею весной!
И пышные ковры Ирана,
И ароматы Шелистана,
И всё здесь дивною красой
И взор, и чувство услаждает.
Но что-то тайною тоской
Невольно сердце замирает.
Сама где пери? — где ж она? —
И воет ветр, и ночь темна.

6

Под соболем пушистым, черным,
Сокрыв от вьюги нежну грудь,
Она, не смея и дохнуть,
С проводником своим безмолвным,
Проходит трепетной стопой
Кустарник дикий и густой.

Когда ж в поляне вихрь промчится
И вдруг завоет, засвистит, —
То дева бедная дрожит, —
Назад хотела б возвратиться,
Но от Селима как отстать,
Как на любезного роптать?

7

И вот стезей уединенной
Пришли к пещере отдаленной,
Где часто с лютнею в руках
По вечерам она певала
И набожно Коран читала,
Носясь в младенческих мечтах
Девичьей думой в небесах.
Что будет с женскими душами, —
Пророк ни слова не сказал,
Но ясными везде чертами
Селиму вечность обещал.
«Ах! и в тени садов чудесных,
И в светлых радостях небесных
Селим встоскуется по мне,
Ему так милой на земле.
О нет! возможно ль, чтоб иная
Так нежно с ним умела жить,
И будто может дева рая
Страстней меня его любить?»

8

Но вид пещера изменила
С тех пор, когда в последний раз
Зюлейка там досужный час
В сердечных думах проводила.
Быть может то, что мрак ночной
Давал пещере вид иной,
Где пламень синеватый, бледный
Едва пылал в лампаде медной.
Но что в лучах его блестит?

Что чудное в углу лежит?
То были сабли и кинжалы;
Но с таковыми в бой летит
Не грозный обожатель Аллы,
А носит рать чужой земли.
И вот один кинжал в крови!..
Не льется кровь без злодеянья...
И тут же чаша ликованья,
И не шербет был в чаше той.
Она глядит, не понимает, —
На друга робко взор бросает:
«Селим! Ах! ты ли предо мной?»

9

И он пред ней в одежде новой:
Исчезла гордая чалма,
И шалью обвита пунцовой
Его младая голова;
Нет камней радужного цвета;
Кинжал не блещет жемчугом,
Но два чеканных пистолета
За пестрым, шитым кушаком,
И сабля легкая звенела,
И тонкий стан его одела,
Небрежно сброшена с плеча,
Из белой ткани епанча,
Какую носят кандиоты,
Пускаясь в буйные налеты;
Не панцирь грудь его хранит, —
Она под сеткой золотою;
И обувь странная гремит
Серебряною чешуею;
Но чин высокий он являл
Осанкой гордою своею,
Хотя казалось, что стоял
Галионджи простой пред нею.[21]

10

«Ты видишь правду тайных слов:
Что я — кто я — никто не знает;
Мой рок мрачнее страшных снов
И многим горе предвещает.
Но как молчать, стерпеть ли мне,
Чтоб мужем был Осман тебе?
Доколе мне тоской мятежной
Ты не явила страсти нежной, —
Я должен был, я сам хотел
Таить мой бедственный удел;
Не пламенной моей любовью
Теперь я стану убеждать:
Любовь я должен доказать
Годами, верностью и кровью;
Но ты не будь ничьей женой,
И я не брат, Зюлейка, твой».

11

«Не брат? и мне тебя чуждаться?
Творец! роптать я не должна.
Но, ах! ужель я рождена
Безродной по земле скитаться,
Без милого на свете жить?
Меня не будешь ты любить!
И я увяну сиротою.
Но знай: и в горести моей
Останусь другом я — сестрою —
Зюлейкой прежнею твоей!
Быть может, жаль тебе решиться
Младую жизнь мою пресечь,
А должен мстить; возьми же меч —
Вот грудь моя! чего страшиться?
Сноснее тлеть в земле сырой,
Чем жить и быть тебе чужой.
Судьбы жестокого удара
Теперь причину вижу я —
Яфар... Он вечно гнал тебя

А я, увы! я дочь Яфара!
Спаси меня!.. хоть не сестрой,
Пусть буду я твоей рабой».

12

«Зюлейка! ты моей рабою?..
Пророком я клянусь! Селим
Всегда, везде, навек твоим!
Счастлива нежною мечтой,
Ты слез не лей передо мною. —
Взгляни на меч заветный мой,
Корана с надписью святой![22]
Пускай сей меч в день шумной брани
Позором ослабелой длани
Не защитит в бою меня,
Когда обет нарушу я!
Прелестный друг — души отрада —
Соединимся мы тесней!
Теперь исчезла нам преграда,
Хоть лично мне Яфар злодей. —
Ему был братом — мой родитель;
Он тайно брата умертвил;
Но однокровного губитель
Меня, младенца, пощадил;
И сироту — он, Каин новый,[23]
Хотел себе поработить,
Как львенка, думал заключить
Обманом в тяжкие оковы
И тщился строго наблюдать,
Чтоб я цепей не смел порвать;
Его обид я не забуду;
Кипит во мне отцова кровь;
Но в том порукою любовь,
Что для тебя — я мстить не буду.
Однако ж ведай, как Яфар
Свершил злодейский свой удар!

13

Как ярость братьев раздраженных
Вспылала гибельной грозой,
Любовь иль честь тому виной, —
Не знаю я, в душах надменных
Обид малейших даже вид
Вражду смертельную родит.
Отец мой, Абдала́, всех боле
Врагам был страшен в ратном поле.
Еще поднесь его дела
Боснийцы в песнях величают,
И ратники Пасвана знают,[24]
Каков был смелый Абдала.
Я расскажу Зюлейке ныне
О горестной его кончине,
Как он коварства жертвой пал
И, о моей узнав судьбине,
Как я навек свободным стал.

14

Когда Пасван в стенах Виддина
Уже не жизнь одну спасал,
А сам султану угрожал,
Тогда паши вкруг властелина
Стеклись, раздор забыли свой —
И двинулись с мятежным в бой.
Два брата сабли обнажают,
При каждом верные полки,
Раскинут стан, и бунчуки
В полях Софийских развевают.
Но Абдалы надежный меч
Напрасно ждал кровавых сеч.
Он мнил, что с братом примирился, —
И в небеса переселился,
Родным злодеем отравлен.
Однажды, бывши утомлен
Звериной ловлею и жаром,
Вкушал в купальне он покой,
И раб, подкупленный Яфаром,

Ему напиток роковой[25]
Поднес; он взял без подозренья,—
И смерть!.. не верь моим словам,
Гарун решит твои сомненья,
Спроси его, Гарун был там.

15

Удар свершен. Пасван надменный,
Разбитый, но не побежденный,
Войну пресек,— родитель твой
Берет неправедною мздой
Удел и сан высокий брата;
Так подлой наглостью своей
В диване всё, ценою злата,
Искатель низкий и злодей
Достанет: наши земли, правы,
Его измены плод кровавый,
Он получил.— Нет нужды в том,
Что в дар богатство расточает,—
Утрату новым грабежом
Яфар обильно заменяет.
Ты спросишь: как?— Взгляни сама
На сел, полей опустошенья
И под жестокостью ярма
Рабов несчастных изнуренья.
Спроси, как вымученный пот
Ему сокровища дает.
Почто ж младенец безнадежный
Спасен от смерти неизбежной?
Зачем суровый твой отец
Его приемлет в свой дворец?
Не знаю; стыд, иль сожаленье,
Иль детской слабости презренье,
Иль, без сынов, он, может быть,
Хотел меня усыновить,
Иль замысл непонятный, тайный
Тому причиною случайной.
Но нам ли вместе можно жить?
В обоих гнев нетерпеливый

Всечасно разгорался вновь;
Его страшил мой дух кичливый;
Я зрел на нем отцову кровь.

16

Враги Яфаровы таятся;
Не всяк тот верность сохранит,
Кого он кормит и поит.
Когда б они могли дознаться,
Что было с Абдалой, кто я, —
Тогда б ему не жить и дня.
Они лишь ждут, чтоб сердцем смелый
Их вел на дерзостное дело;
Глядят, чтоб буйною рукой
Им знак был подан роковой.
Но тма судьбу мою скрывает;
Один Гарун всю тайну знает.
При Абдале воспитан он
И стражем был отцовых жен,
Он видел страшную кончину;
Но что невольник мог начать?
Владыки смерть ему ль отмщать?
Он жизнь спасти решился сыну.
Гарун меня, младенца, взял,
И в день, когда в чаду киченья
Губитель гордый пировал, —
Осиротелый, без призренья
Я у ворот его стоял.
Гарун молил — и не напрасно —
Об участи моей несчастной.
Яфар велел таить, кто я,
От всех, — но боле от меня;
И в Азию с брегов Дуная,
Далёко от Румельских стран,
Свое злодейство скрыть желая,
Уехал сумрачный тиран;
Но мне Гарун открыл обман.
Узнал наперсник боязливый
Весь ужас тайны злочестивой;
Он изменить стремился ей;

Так Алла злобных наказует;
Он им сообщников дарует,
Но не дарует им друзей.

17

Мой рок невольно устрашает;
Но правды я не утаю,
Хотя рассказ мой и смущает
Невинность робкую твою;
Заметил я, как ты дрожала,
Когда Селима узнавала
В одежде странной; но уж я
Ее носил — она моя:
Твой юный друг, с которым вечно
Ты клятвой связана сердечной,
Начальник шайки удалой;
Нам жизнь, закон — один разбой.
И если б ты узнала боле
Об нашей в море буйной доле,
Тогда б еще удвоил страх
Лилеи на твоих щеках. —
Вот эта сбруя боевая
Моей толпой принесена;
Вблизи скрывается она;
Когда же чаша круговая
В пиру морском осушена,
То удальцы мои суровы
На всё летят, на всё готовы;
Пророк наш должен им простить
Веселый грех — вино любить.

18

Что было делать? жить в презреньи?
Дышать свободой в заточеньи?
Яфар боялся уж меня,
И ни кинжала, ни коня
Мне дать не смел, а пред диваном
Он правду затмевал обманом,

Что будто в поле страшно мне
Лететь с кинжалом на коне;
Пророк то знает — в бой кровавый
Спешит один злодей лукавый,
А я в гареме между жен
И без надежды, и без славы
Томлюсь, Гаруну поручен;
Тогда ты ласкою бесценной
Меня утешить не могла;
Устрашена грозой военной,
В далеком замке ты жила.
Я тяжкой праздностью томился,
Но волю мне на время дать
Гарун из жалости решился,
Лишь я был должен обещать
Явиться прежде к нам в обитель,
Чем с поля брани твой родитель.
О нет! сказать не в силах я,
Как сердце билось у меня,
Когда свободными очами
Узрел я вдруг и темный лес,
И синю даль, и блеск небес,
И море с яркими волнами.
В пучины моря — в небеса,
Казалось, дух мой проникает;
Казалось мне, он постигает
Все тайны их, все чудеса.
С тем чувством новым — я свободен! —
Восторг мой был с безумьем сходен.
Тогда я розно был с тобой;
И не грустил — я той порой
Владел и небом и землей.

19

Простясь с печальными брегами,
Я с маврским опытным пловцом
Стремил мой бег меж островами,
Блестящими над влажным дном
Жемчужно-пурпурным венцом
Святого старца Океана.

Я видел их. — Но жребий мой
Где свел нас с буйною толпой,
Как власть дана мне атамана
И как навеки решено,
Что жизнь и смерть нам заодно, —
Я рассказать тебе успею
Тогда, как будет свершено,
Что тайно в думе я имею.

20

То правда, в шайке удалой
Кипит дух буйный, нрав крутой;
Все разных званий, разной веры;
Им чужды общие примеры;
Но простота, без лести речь,
Покорность власти, верный меч,
Душа, которая стремится
Бесстрашно с гибелью сразиться,
Их братство, дикая их честь
И вечная за падших месть, —
Всё мне порукою надежной,
Что должен я искать меж них
Оплота в участи мятежной,
Удачи в замыслах моих. —
Уже я главным в шайке смелой,
Но франк один преклонных лет
При мне, и юности незрелой
Дает свой опытный совет.
Меж ними много душ высоких
И много замыслов глубоких;
Здесь, вольностью оживлены,
Забывши бедствия былые,
Друзья Ламброса удалые,[26]
Отчизны верные сыны,
В пещерах часто ночью темной
При ярком зареве огней
Своих Раяс мечтой огромной
Уже спасают от цепей;
Им думать весело о воле,
О равных пра́вах, мирной доле;

Их нет нигде, им быть нельзя,
Но их мечтой пленен и я.
Я рад нестись шумящими зыбями,
Скитаться рад в кибитке кочевой,[27]
Мне душно жить за пышными стенами;
Люблю шатер, люблю челнок простой.
О милый друг! всегда, везде со мною,
И на коне мне спутница в степях,
И по волнам на легких парусах;
Ты правь конем, ты правь моей ладьею,
Ты будь моей надежною звездою!..
Ты освятишь мой жребий роковой,
Мне принесешь небес благословенья.
Лети, лети в ковчег мятежный мой
Как благодать, как голубь примиренья;
Иль в страшный час, во мраке бурных дней,
Будь радугой прекрасною моей;
Зажгись зарей вечерней над холмами,
Пророческим огнем меж облаками.
Свята — как свят муйцинов Мекки глас
Поклонникам молитвы в тихий час,
Пленительна — как песни звук любимой
В мечтах младых тоской неизъяснимой;
Мила — как мил напев земли родной
Изгнаннику в стране, ему чужой;
Так будет мне отрадою бесценной
Речь нежная подруги несравненной.
Приют, как рай в час юности своей,
На островах, цветущих красотою,
С моей рукой, с любовию моей
Тебе готов; там дышит всё тобою,
Там сотнями мечи уже блестят,
Они спасут, и грянут, и сразят.
С тобою я, — а шайка удалая
Вдоль пó морю помчится разъезжать
И для тебя, подруга молодая,
Чужих земель наряды отбивать.
В гареме жизнь скучна, как плен тяжелый, —
У нас светла беспечностью веселой.
Я знаю, рок грознее с каждым днем
Несется вслед за дерзким кораблем;
Но пусть беда отважных настигает,

Судьба теснит и дружба изменяет;
Всё усладит любовь твоя одна.
Прелестный друг! с той думою сердечной,
Что ты моя, что ты верна мне вечно,
Печаль летит — и гибель не страшна.
Равна любовь, равно к бедам презренье,
С тобой во всем найдется наслажденье;
Заботы, грусть и радость пополам;
Всё ты — всё я — и нет разлуки нам.
Свободные, с товарищами смело
Опять в морях начнем мы наше дело.
Так свет идет; дух жизни боевой
Дается всем природою самой.
Где льется кровь — где стран опустошенье,
Ужасна брань, и ложно примиренье;
И я горю воинственным огнем,
Но я хочу владеть одним мечом.
На распре власть престол свой утвердила,
И властвует им хитрость или сила;
Пускай же меч блестит в моих руках,
А хитрость пусть гнездится в городах;
Там негою те души развратились,
Которые б и бед не устрашились;
Там без подпор, без друга красоте
Цвести нельзя в невинной чистоте.
Но за тебя страшиться мне напрасно;
Как ангел, ты светла душою ясной.
Как знать судьбу! Но нам в родной стране
Спасенья нет, а горести одне.
Мою любовь разлука ужасает:
Яфаром ты Осману отдана;
Беги со мной! и страх мой исчезает;
Попутен ветр, ночь тихая темна.
Чета любви ненастья не робеет,
В опасной тме над нею радость веет.
Бежим, бежим, о милая! С тобой
Отрадно всё — и дышат красотой
Моря и степь; в тебе весь мир земной!
Пусть ветр шумит страшнее и страшнее,
Прижмешься ты к груди моей теснее! —
Не ужаснет час гибельный меня!
Лишь о тебе молиться буду я.

Что буйный ветр? что бездны океана?
Страшись, любовь, коварства и обмана!
Нас гибель ждет в гареме, не в морях,
Там миг один, а здесь вся жизнь в бедах.
Но — прочь от нас тяжелых дум волненья!
Решись скорей! настал уже для нас
Иль час беды, или свободы час.
Мы жертва здесь и гордости, и мщенья.
Яфар мне враг! и хочет дерзкий бей
Нас разлучить, — тебе Осман злодей!

21

Гарун от казни и упрека
Избавлен мной; в сераль до срока
Я прибыл, — здесь не каждый знал,
Как я по островам скитался;
Кто тайну ведал — умолчал, —
И я начальником остался
На всё готовых смельчаков;
Решитель дерзостных трудов,
Я их в разъезды рассылаю,
Меж них добычи разделяю;
И жалко мне, что редко сам
Пускаюсь с ними по волнам.
Но уж пора! во тме глубокой
Всё тихо! челн мой недалеко;
Уж ветер вьется в парусах;
Бежим! оставим гнев и страх
На здешних мрачных берегах!
Осман пусть явится с зарею,
А ты свободна — ты со мною!
И если этот гордый бей
Жить должен, — и отца родного
Спасти от часа рокового
Ты хочешь, — о, беги скорей!
Беги! Когда ж судьбы моей
Узнав всю тайну без обмана,
И клятву сердца, и мечты
Любви младой забыла ты, —

Я остаюсь, я жду Османа!
Тебе не быть его женой,
Не быть, что б ни было со мной!!»

22

И неподвижная, немая
Стояла дева молодая.
Так нам резец изобразил,
Как мать в печали безотрадной
Вдруг обратилась в камень хладный.
Лишенная и чувств, и сил,
Очам она являла то же;
Лишь, бедная, была моложе;
Но, страха тайного полна,
Едва опомнилась она, —
Как видит: у ворот садовых
Вдруг блещет факел роковой...
Блеснул один, блеснул другой,
И много, — и огней багровых
Свет яркий озаряет сад.
«Беги!.. ты больше мне, чем брат!»
И в красном зареве с мечами
Злодеи видны меж кустами.
Они бегут, они летят,
По рощам, в просеках мелькают;
Кинжалы, факелы сверкают.
Страшнее всех Яфар бежит,
Бежит к пещере отдаленной,
И машет саблей обнаженной,
И гневом бешенства кипит.
Селим! ужель судьба решила,
Чтоб здесь была твоя могила?

23

Отважный смотрит: «Бил мой час —
Зюлейка! скоро всё свершится!
Целуй меня в последний раз.
Но близко наши, — к ним домчится
Призывный звук, — узрят они

В кустах багровые огни;
Их мало... но — чего страшиться!»
Вдруг из пещеры он стрелой,
Чеканный пистолет хватает:
Раздался выстрел вестовой, —
И дева в горести немой
Без слез от страха обмирает.
«Не слышно... что ж!.. и приплывут,
Но уж Селима не найдут.
На выстрел мой бегут толпою
Злодеи ближнею тропою, —
Так обнажись, отцовский меч!
Ты не видал подобных сеч.
О друг! прости! чрез рощу тайно
Иди с надеждой во дворец.
Тебе разгневанный отец
Простит. Но, ах! чтобы случайно
Свинец вблизи не просвистал,
Чтоб в очи не блеснул кинжал.
Иди... Не бойся за Яфара;
Пусть яд был дан его рукой,
Пусть скажет: робок я душой;
Не дам ему — не дам удара;
Но их — я рад, готов разить;
Меня ль убийцам устрашить!»

24

И он как вихрь на склон прибрежный
Стремится, выхватив свой меч;
Вот первый из толпы мятежной —
Его глава скатилась с плеч.
Вот и другой; меч снова блещет —
И труп у ног его трепещет.
Но уж он сам со всех сторон
Толпою буйной окружен.
Селим сечет их, колет, рубит;
Достиг до волн береговых —
И видит в море удалых.
Ужели рок его погубит!
К нему бесстрашные в боях
Летят на белых парусах;

О! дуй сильнее, ветр попутный!
Они спешат, — они гребут,
И с лодки в море — и плывут,
И сабли блещут в пене мутной;
Их дикий взор как жар горит,
С одежд, с кудрей вода бежит, —
Вскочили... вскрикнули... сразились;
Кипит в саду шумящий бой;
Но где ж Зюлейки друг младой;
Чьей кровью волны обагрились?

25

От вражьих стрел, от их мечей
Неуязвленный, невредимый,
Толпой неистовых теснимый,
Уж он на взморье, меж друзей;
Уж верная ладья манила
Его к приветным островам;
Уже рука его врагам
Удар последний наносила,
В тот самый миг... увы! зачем
Ты медлишь, юноша несчастный!
Что оглянулся на гарем,
Где не видать тебе прекрасной?
Ни тяжкий плен, ни смертный страх,
Она одна, одна в очах,
Он в ней живет — и в час напасти
Надежда льстит безумной страсти;
В тот миг свинец летит, свистит:
«Вот как Яфар врагов казнит!»
Чей слышен голос? кто свершитель
Удара мести в тме ночной?
Кто злобною вблизи рукой,
Кто метил выстрел роковой?
Чей карабин?.. он твой, губитель!
Ты ядом брата отравил,
Ты ж сироту его убил!..
И хлещет кровь его струею
Над ясной влагою морскою,
И бурных волн прибрежных шум
Уносит ропот тайных дум.

26

Уже рассвет; клубятся тучи,
В туман одет небесный свод;
Полночный бой у шумных вод
Давно замолк; но брег зыбучий
Явил с печальною зарей
Следы тревоги боевой,
Обломки сабли притупленной
И меч, еще окровавленный.
Заметно было на песке,
Как буйные его топтали,
Как руки, роясь, замирали,
И под кустом невдалеке
Курился факел обгорелый.
Вот опрокинутый челнок
Волною брошен на песок,
И епанча из ткани белой
В крови, пробитая свинцом,
Висит на тростнике морском,
И быстрый плеск волны упорной
Отмыть не может крови черной;
Но где же тот, с чьего плеча
В крови упала епанча?
О! если б сердце чье хотело
Оплакать горестное тело, —
Пускай его, пусть ищет там,
Где море и кипит, и блещет,
И под скалой Сигейской плещет,
Стремясь к Лемносским берегам;
Над ним морские птицы вьются,
Уж хладный труп клевать несутся,
И он бесчувственный плывет
По произволу бурных вод
И, колыхаяся с волною,
Качает юной головою,
Всплывает, тонет и порой
Как бы грозит еще рукой.
И пусть клюют морские птицы
Его, лишенного гробницы;
Иль дикий крик и клёв страшней
Тлетворных гробовых червей?

Был друг один, был ангел милый,
Прекрасный спутник прежних дней;
Она одна душой унылой
Грустила б над его могилой
И столб с надгробною чалмой[28]
Кропила верною слезой;
Но светлый взор ее затмился, —
И пламень жизни в ней погас
Тогда, как рок его свершился,
Как бил ему последний час.

27

Над Геллеспонтом вопль и стоны!
Уныли мужи — плачут жены;
Звезда любви, Яфара дочь,
Последняя семьи надменной!
Спешил — скакал и день и ночь,
Но опоздал твой обрученный;
Не зреть ему красы твоей,
Не для его она очей.
И *Вулвулла* к нему порою[29]
Несется с вестью гробовою.
Плач громкий на твоем крыльце
Подруг, бледнеющих в лице;
Рабов безмолвных вид печальный,
Корана песни погребальной
Протяжный хор, стенанья, вой
Ему расскажут жребий твой.
Селима падшим ты не зрела;
Когда в ночи на страшный бой
Твой друг пошел, ты обомлела;
Он был надеждой светлых дней,
Любовью, радостью твоей.
Ты видишь — смерть неизбежима,
Уж не спасти тебе Селима!
И сердце кровью облилось,
Впоследнее затрепетало,
Вдруг дикий вопль... разорвалось,
И разом биться перестало,
И тихо всё — всё тихо стало.
Мир сердцу твоему! и мир

Над девственной твоей могилой!
Ты счастлива — любви кумир
Тебя пленял мечтою милой;
Один удар тебя сразил;
Он вдруг мечты твои убил,
Но веры к ним не погубил.
Ты жизнь так радостно встречала;
Ты не боялась, ты не знала
Разлуки, ссоры роковой,
Стесненной гордости позора,
И злобы с тайной клеветой,
И мрачной совести укора,
Ни язвы той... О! черных дней,
Ночей ужасных плод унылый
Безумства дикого страшней.
Она как червь — жилец могилы —
Не утихает, не уснет;
И этот червь в душе гнездится,
Не терпит света, тмы страшится;
Он сердце точит, сердце рвет
И всё мертвит, а сам не мрет.
Беда тебе! свершитель злодеянья!
Напрасно ты главу опепелил
И слезы льешь в одежде покаянья!
Кто Абдалу, Селима кто убил?
Ты назвал дочь невестою Османа...
Та, чья краса пленила б и султана,
Отрада, честь твоих преклонных лет...
О! рви власы, злодей! ее уж нет,
И нет тебя, уж нет, звезда младая!
Родимых волн и прелесть, и любовь,
Твой блеск погас, его затмила кровь.
Злодей! страшись, та кровь была родная;
Терзайся век, ищи ее везде:
«Где дочь моя?» и отзыв скажет: *где?* [30]

28

В долине, меж кустов блистая,
Могильных камней виден ряд;
И кипарисы там шумят,
Не вянет зелень их густая;

Но ветви, темные листы
Печальны, как любовь младая
Без упованья и мечты.
В долине той есть холм унылый,
Одет муравчатым ковром,
И роза белая на нем
Одна над тихою могилой
Цветет, — но так нежна, бледна,
Как бы тоской посажена.
Она сама грустит, томится,
И чуть повеет ветерок, —
Уже и страшно за цветок.
Но что ж! и буйный вихрь промчится,
И грянет гром, и дождь польет,
А роза всё цветет, цветет;
И если кто грозы вреднее
Ее сорвет, — свежей, милее
Она с румяною зарей
Опять над мягкой муравой.
Иль гений тайный, но чудесный
Кропит ее росой небесной,
И пестун розы молодой?
Меж дев Эллады слух несется,
Что роза не цветок земной,
Когда ни дождь, ни ветр, ни зной,
Ничто до розы не коснется;
Не нужен ей весенний луч,
Не страшен мрак осенних туч, —
Над нею птичка, гость эфирный,
Незримая в долине мирной,
Поет одна в тиши ночей,
И райской арфы сладкогласной
Дивней напев ее прекрасный;
То не иранский соловей;
Такой живой, сердечной муки
Его не выражают звуки. —
Зайдет ли кто, — уж он всю ночь
От птички не отходит прочь,
И слушает в раздумье пенье
И плачет, — и в душе волненье,
Как бы в груди проснулась вновь
Тоской убитая любовь.

Но так отрадно слезы льются,
Часы так сладостно несутся
И так не тягостна печаль,
Что сердцу горестному жаль,
Как вдруг пленительное диво
Расцвет огнистый прекратит
И невидимка замолчит.
Иным в тоске мечталось живо;
Но кто жестокий упрекнет,
Что в песни жалкой и любимой,
Почти всегда певец незримый
Зюлейки имя намекнет? [31]
Над ней тот кипарис надгробный,
Где влажный звук, словам подобный,
Звенит и тает в тме ночной;
Тот мягкий дерн над девой чистой,
Где вдруг расцвел цветок душистый
Неувядаемой красой.
Здесь был вечернею зарею
Могильный мрамор положен;
Наутро камня нет, — и он
Ужели смертною рукою
На дальний берег унесен?
И нам гласит рассказ восточный:
Когда, сраженный злобой мочной,
Селим был шумною волной
Лишен святыни гробовой,
Тогда вблизи крутого ската
На взморье камень был найден,
И этот камень наречен
Подушкой мертвого пирата.
На нем пловцы в полночной тме
Видают голову в чалме;
А роза всё не увядает,
Томится, снова расцветает;
Прекрасна и бледна под чистою росой,
Как щеки красоты при вести роковой.

<1826>

Примечания

[1] *Межнун и Лейла* — восточные Ромео и Юлия. Сади — нравоучительный персидский поэт.

[2] У турок бьют в барабан при восхождении солнца, в полдень и в сумерки.

[3] Это выражение находили странным: я не стану ссылаться на *«того, кто не имеет музыки в душе»*, а только попрошу читателя припомнить в течение десяти секунд черты женщины, которую он почитает прекраснейшею; ежели он и тогда совершенно не поймет того, что слабо выражено в этом стихе, то я жалею о нас обоих.

О соотношении и непосредственном сравнении, происходящем от сего соотношения: *музыки с живописью,* можно прочесть красноречивый отрывок в книге «О Германии», — творении, написанном женщиною, которой гений превзошел дарования женщин всех времен («De l'Allemagne», vol. III, chap. 10). Не гораздо ли сильнее сия связь с подлинником, нежели с копиею? с красками природы, нежели с красками искусства? Одним словом, это легче чувствовать, нежели описать; однако ж я думаю, что будут люди, которые поймут сие выражение, или по крайней мере поняли бы, ежели б они видели лицо, которого говорящая гармония внушила сию мысль: в самом деле, мысль сия произведена не воображением моим, но я нашел ее в моем воспоминании, этом зеркале, которое печаль разбивает, бросая на землю, но, глядя на обломки, видит только умноженное отражение.

[4] Карасман-Оглу, или Кара-Осман-Оглу, есть богатейший помещик в Турции; он управляет городом Магнезиею; тимарьетами называют тех, которые владеют землею, вроде феодального права, с обязанностью служить; они служат как спаги его, соответственно пространству участков их, и приводят с собою в поле известное число конных воинов.

[5] Когда паша столь силен, что может противиться, то повелевает удавить посланного, возвещающего ему смертную казнь; иногда таким образом умерщвляют пятерых или шестерых посланных одного за другим, по приказанию возмутившегося паши. Напротив того, ежели он слаб или послушен, то он преклоняется, целует подпись султана и с подобострастием позволяет себя удавить. В 1810 году выставлены были на вратах сераля головы многих пашей, понесших подобную участь, и между прочими голова багдадского паши, храброго молодого человека, отчаянно сопротивлявшегося, но умерщвленного изменою.

[6] Хлопая в ладони, кличут слуг. Турки не любят тратить слова и не имеют колокольчиков.

[7] Богачи в Турции имеют чубуки с муштуками, а иногда и самые трубки, украшенные дорогими каменьями.

[8] Делгисы, удалые всадники, всегда бросающиеся в первый огонь и начинающие сражение.

[9] Турки для упражнения в искусстве рубить саблею употребляют сверток войлока; мало кто, кроме мусульман, в состоянии перерубить его одним ударом; часто употребляют для подобного же испытания самую жесткую чалму. Джарид есть игра тупыми копьями, которая очень приятна для глаз необыкновенною живостью.

[10] Олла, Алла-ил-Аллаг — восклицание, называемое испанскими

поэтами Лейла. По-настоящему выговаривается Оллах; молчаливые турки довольно расточительны на сие восклицание, особенно во время охоты, игры джиридом, а всего более в сражениях. Их живость в битвах представляет разительную противоположность с их важностию в комнатах, когда они курят трубку и перебирают зерна комболойё.

[11] Много рассуждали о том, почитать ли веселым или печальным пение сего любителя роз; примечания Фокса дали повод ко многим ученым спорам против мнения древних о сем предмете. Я не смею сделать тут никакого решительного заключения, хотя готов разделять заблуждения г. Фокса.

[12] Азраил — ангел смерти.

[13] Сокровища султанов, которые, по нелепому мнению турок, были до Адама. Смотри у d'Herbelot слово: *Истакар.*

[14] Есть пословица, что турки из Негропонта, жиды из Салоники и греки из Афин хуже всех других из их почтенного народа.

[15] Чекодар — служитель, предшествующий знатной особе.

[16] Много было споров о том, что выражает эпитет: широкий Геллеспонт. При мне спорили об этом однажды на месте; не предвидя скорого окончания сего спора, я вздумал переплыть его между тем, и, верно, еще раз переплыву, пока это решат. Известно, что спор о сем начинается с времен Троянских: всё затруднение представляется в слове ἄπειρος.[1] Может быть, поэт имел такое ж понятие о расстоянии, какое кокетки имеют о времени, и, говоря о широком, подразумевают не более полумили; таким же образом кокетки, говоря *о вечной* их привязанности, подразумевают не более трех недель.

[17] Александр Македонский, прежде наступления на Персию, почтил гробницу Ахилла и увенчал алтарь лаврами и проч. Впоследствии сделал то же в подражание ему Каракалла. Полагают, что Каракалла умертвил своего друга, по имени Фестуса, отравою для того только, чтобы найти причину учредить новые игры, подобно бывшим в память Патрокла. Я видел стада овец, пасущихся на гробницах Есиетеса и Антилоха; гробница первого в средине долины.

[18] Янтарь при трении издает слабый, но приятный запах.

[19] На Востоке еще и теперь все суеверные верят могуществу талисманов, вырезанных на драгоценных камнях или помещенных в золотых коробочках. Талисманы составляются из нескольких стихов Корана, и носят их на шее или привязывают к руке, в виде браслета. Стихи из Курзи (престол) во второй главе Корана составляют талисманы, имеющие наиболее силы; почему набожные мусульмане и носят их начертание на драгоценных камнях как высочайшее из всех познаний.

[20] Четки мусульман называются комболойё. Восточные и, в особенности, персидские рукописи украшены с большою роскошью. Гречанки вообще не имеют никакого просвещения, но многие молодые мусульманки получают хорошее воспитание, которое, впрочем, не доставило бы им блеску в обществе европейцев.

[21] Галионджи или галиондже, то есть турецкий матрос; на

---

[1] Безграничный, беспредельный (греч.). — *Ред.*

кораблях сего народа матросы суть греки, а солдаты — мусульмане. Одежда галионджи весьма красива. Я часто видал капитана-пашу в сей одежде, когда он хотел не быть узнанным. Сии галионджи обыкновенно ходят с босыми ногами; описание обуви, которую я придал Селиму, сделано с обуви одного из бывших прежде в числе морских разбойников, у которого я жил, близ Гальмона, в Морее; она составлена из чешуек, лежащих одна на другой, как на армадилле.

[22] На лезвии турецких сабель бывает начертано название завода, на котором они сделаны, но чаще бывает начертано золотыми буквами несколько стихов из Корана. Между восточными саблями, которые имею я, есть одна, которой лезвие имеет необыкновенный вид. Оно очень широко и с острого края представляет изгибы наподобие волн или наподобие пламени. Я спрашивал у албанца, который мне продал сию саблю, какую выгоду может принести такой вид оружия? Он отвечал по-итальянски, что не знает того, но что мусульмане думают, что таковые оружия наносят опаснейшие раны, и предпочитают их по той причине, что они жесточе. Я не удивлялся объясненной им причине, но купил сию саблю по ее странному наружному виду.

[23] Турки неосновательно думают, будто предания о Каине, о ковчеге и все повествования Ветхого завета им столько же известны, сколько и евреям. Они даже тщеславятся знанием самых мелочных обстоятельств из жизни патриархов с большею подробностию, нежели означены оные в св. писании, и, не довольствуясь повествованиями от Адама, первого человека, имеют ложные жизнеописания до времен Адамовых. С такою же неосновательностию почитают они Соломона царем некромантии, а своего Магомета осмеливаются сравнивать с Моисеем, истинным пророком. Зюлейкою, по-персидски, называется жена Пентефрия, и любовь ее к Иосифу дала предмет к сочинению одной из прекраснейших восточных поэм. Итак, не удивительно, когда мусульманин говорит о Каине и Ное.

[24] Пасван-Оглу — возмутившийся паша Виддинский, который в последние годы своей жизни поколебал могущество Оттоманской Порты.

[25] Яфар, паша Аргирокастронский или Скутарский (не могу вспомнить, которого из сих двух городов), был отравлен албанским пашою Алием, тем же самым образом, как я предполагал, что Абдала сие сделал. Между тем как я еще там находился, Али-паша женился на дочери отравленного им чрез несколько месяцев после сего убийства, которое совершилось в одной из андрианопольских или софийских бань. Яд был примешан в чашку кофе, который всегда пьют прежде шербета, подаваемого восточным жителям при выходе их из бани.

[26] Грек Ламбро Канцани в 1789 и 90 годах силился избавить отечество свое от турецкого владычества; но, быв оставлен Россиею, не успел в своем предприятии и сделался морским разбойником, избрав театром нападений своих Архипелагские острова. Говорят, что он еще жив и поселился в Петербурге. Ламбро и Рига занимают, без сомнения, первое место между защитниками независимости своего народа.

[27] Кочующая жизнь арабов, татар и туркменцев описана всеми путешественниками в Левант. Нельзя не сказать, чтобы они не находили в ней особенной прелести. Один молодой француз, отступивший от христианства, рассказывал Шатобриану, что всегда, когда он мчался на коне, в степи, он испытывал неописанное чувство, приближавшее к восторгу.

[28] Чалма высекается из камня на гробницах одних мужчин.

[29] Это надгробная песнь по усопшим женщинам в Турции. Тамошняя благопристойность не позволяет, чтобы невольница могла публично изъявлять свою горесть.

[30] «Я пришел в мою отчизну и вскричал: «Где друзья моей юности? где они?» — и эхо отвечало: *„Где они?"» — Отрывок из арабской рукописи.*

[31] Не нужно ехать на Восток, чтоб найти людей, верящих переселению душ в птиц. История привидения лорда Литтльтона, герцогиня Кендаль, которая уверяла себя, что Георг I прилетал на ее окно в виде ворона (см. Воспоминания Орфорда), и многие другие примеры доказывают, что сие суеверие было не чуждо и Европе. Самый чрезвычайный пример есть суеверие одной госпожи из Ворчестера, которая, вообразив, что ее покойная дочь приняла вид певчей птички, велела поместить на своем месте, которое она имела в соборной церкви, несколько клеток с птицами сего рода. Сия дама была богата и украшала церковь своими приношениями, почему и не воспротивились этому сумасбродству. Сей анекдот упоминается в письмах Орфорда.

<1826>

КНЯГИНЯ НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА ДОЛГОРУКАЯ

Посвящено
Василию Андреевичу Жуковскому

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Nessun maggior dolore,
Che ricor darsi del tempo felice
Nella miseria.

Dante, V.[1]

1

Большой Владимирской дорогой,
В одежде сельской и убогой,
С грудным младенцем на руках,
Шла тихо путница младая;
В усталом взоре тайный страх.
«Как быть? Москва в семи верстах;
Дорога меж холмов лесная;
А в поле дымном тень ночная
Уж скоро ляжет; и луна
Лишь в полночь нá небе видна».

[1] О, нет мученья боле,
Как вспоминать дни счастья в тяжкой доле.
Данте, 5-я песнь (итал.).

2

Она идет, и сердце бьется;
Поляна с рощей перед ней,
И вот в село тропинка вьется:
Она туда дойдет скорей;
Ночлег радушный там найдется.
Уже, пылая между туч,
Зари багровой гаснет луч;
Уже пред ночью, к буре склонной,
Поднялся ветер, бор шумит;
Ее младенец полусонный
Озяб, и плачет, и дрожит.
Она спешит в приют укромный,
Подходит скоро к роще темной.
Но, чем-то вдруг поражена,
Стоит уныла и бледна.
В ее очах недоуменье,
Ей будто страшно то селенье;
Нейдет в него, нейдет назад,
Кругом обводит робкий взгляд.
«О, если там!.. А мне таиться
Велит судьба... быть может... нет!
Кому узнать!.. и сколько лет!
Забыто всё; но вечер тмится,
Пора!» И к роще с быстротой
Приблизилась, остановилась,
Подумала, перекрестилась,
Потом пошла, махнув рукой, —
И скрылася в тени густой.

3

За рощей темною в долине,
При зеркальной пруда равнине,
Вельможи знатного село
Красой приветною цвело;
Высоких лип в тени зеленой
Хоромы барские стоят;
Они вид древности хранят;
В гербе под графскою короной

Щит красный в поле золотом,
Лавровым окружен венком
С двумя блестящими крестами,
А в поле светлом меч с копьем
И полумесяц вверх рогами.
Но сад, и воды, и мосты,
И роз душистые кусты
В забвеньи долгом сиротели.
Хозяин, честь страны родной,
Давно лежит в земле сырой;
Его хоромы опустели,
Широкий двор зарос травой.
Простясь с родимою Москвою,
В столице пышной над Невою
Живет наследник молодой;
А здесь одни воспоминанья
Во мраке сельской тишины
И рода знатного преданья...
Священный отзыв старины.

4

У церкви сельской за оградой,
В уютном домике своем,
В кругу семьи, пред тихим сном,
Дыша вечернею прохладой,
Священник у окна сидел;
Он в думе набожной смотрел,
Как, на закате догорая,
Багряный блеск сменялся тмой:
Так ясно жизнь его святая
Клонилась к сени гробовой.
Давно украшен сединами,
Небесный житель на земле,
У Шереметева в селе
Он сердцем, словом и делами
Творцу и ближнему служил;
Ум здравый с детской простотою
Был светел праведной душою;
Покойный граф его любил;
И прах владельца незабвенный

Был свят душе его смиренной;
Для старца граф не умирал.
Он часто, часто поминал
Его богатство, знатность рода,
Как он со шведом воевал
И, после шумного похода,
В тиши села у них живал.

5

Но, полон важности старинной,
Святого старца кроток вид;
На нем подрясник объяринный,
И катаур ширский шит
Узорно яркими шелками,
И на груди его висит
Из кипариса крест с мощами,
Хранитель верный с давних пор:
Один монах, с Афонских гор,
Тот крест принес. Его обитель
Была убога и скромна
И, как ее радушный житель,
Какой-то святости полна;
В углу, в серебряном окладе,
Икона Спасова блестит,
И перед ней огонь горит
В хрустальной на цепях лампаде;
На полке ряд церковных книг,
Бумага, перья подле них;
У зеркала часы стенные,
Портрет, задернутый тафтой,
Две канарейки выписные,
И полотенце с бахромой
Висит на вербе восковой.

6

Уже готов идти молиться,
Да снидет тих грядущий сон,
Беседы Златоуста он
Хотел закрыть; но вдруг стучится

Легонько кто-то у ворот,
И кто-то на крыльцо идет,
И дверь шатнулась: у порога
С младенцем путница стоит,
И голос жалобный дрожит,
Прося ночлега ради бога.

7

«Войди под мой убогий кров
(Сказал он ей): пора ночная,
Кругом всё лес, ночлег готов,
И есть у нас хлеб-соль простая;
Переночуй, ты с новым днем
Пойдешь опять своим путем».
И старец мать благословляет,
Младенца сонного крестит,
И к огоньку ее сажает,
И с ней приветно говорит;
Но, и бледна и боязлива,
Она сидела молчалива;
На речь приветную его
Полусловами отвечала
И лишь младенца своего
Со вздохом к сердцу прижимала;
Украдкою бросая взгляд
На барский дом, на темный сад,
Как будто узнавала что-то,
Как бы искала там кого-то;
И — вдруг то пламень на щеках,
То слезы крупные в очах.

8

Души встревоженной волненье,
Порывы томные страстей,
Ее печаль, ее смятенье
Заметил он; и старца в ней
Дивило всё. «Не та осанка,
Не те ухватки в деревнях;

Видна не грубая крестьянка
В ее застенчивых речах;
В ней горесть тихая приятна,
И хоть бедна, но как опрятна
Одежда путницы простой!
На пальце перстень золотой...
Куда ж теперь не в час урочный
Одна дорогою большой?..
Ах, нет, как ангел непорочный
Она глядит, и за нее
Порукой сердце мне мое!»

9

И чувствам тяжким и мятежным
Он мнил преграду положить,
И с горем, в жизни неизбежным,
Ее невольно помирить;
Он, как родной, ее ласкает,
И веселит, и начинает
Рассказ любимый старины;
Но сердце, полное волнений,
Чуждалось новых впечатлений,
И думы, грустью стеснены,
Далёко мрачные летали
И меж сомнений замирали.
Священник речь свою прервал,
И вдруг, с душой отца во взоре,
Вздохнувши сам, он ей сказал:
«Что так задумалась? Ты в горе?»

Путница

Я, мой отец?..

Священник

Твоя тоска,
Поверь, к душе моей близка;
В том нужды нет, что я не знаю,
Кто ты; мой долг того любить,
Кто в горе.

Путница

Ах, мне тяжко жить!
Я день без радости встречаю,
Я плачу ночь.

Священник

Лукавый свет
Обманчив, друг!

Путница

И сколько бед
Уже сбылось, и скольких снова
Должна я ждать, и как сурова...

Священник

Так бог велел; пред ним смирись,
Прими с любовью крест тяжелый,
Терпи, надейся и молись;
Он сам носил венец терновый;
Не унывай, не смей роптать,
Терпи — в страданьи благодать!

Путница

Отец ты мой! В ужасной доле
Кто ропот слышал от меня?
Теперь дрожу не за себя,
И слезы льются поневоле.

Священник

Не бойся воли дать слезам;
Но только, слезы проливая,
Стреми взор грустный к небесам;
Кто плачет здесь, утешен там,
Сказал господь.

Путница

О речь святая!
Отрадна ты.

Священник

И где же тот,
Кто жизнь без горя проживет!
Твои, мой друг, младые годы

Не расцвели от непогоды;
Но ты, как видно, рождена
В семье безвестной; ты бедна:
Тебя судьба не баловала,
К веселой участи она
Ничем тебя не приучала;
А часто гибельный удар
Надежды знатных разрушает...
О нашем графе кто не знает?
Он был — боярин меж бояр,
Петровой правою рукою,
И прямо русскою душою
Отчизну и царя любил;
Был славен; в золоте ходил.
И что же? Дочь его родная
Не знает радости земной,
И гибнет в буре роковой,
Как гибнет травка полевая...
Суди ж, дивна ль судьба твоя?
Она была не ты.

Путница

Не я!

Священник

Давно от нас она уж скрылась,
Но всё живет в душе моей.
Я расскажу тебе о ней:
Почти при мне она родилась,
Я на руках ее носил,
Ребенком грамоте учил,
И здесь, куда, мой друг, ни взглянешь,
Везде о ней, везде помянешь.
Вот там, в тени густых берез,
Ты видишь куст махровых роз:
Она сама его садила;
Они цветут... ее одну
Печаль так рано сокрушила,
Она одна свою весну
От них далёко погубила.
Теперь я вижу, есть у нас
Какой-то в сердце вещий глас:

Она, забавы убегая,
В шуму роскошного села
Тиха, задумчива росла,
Как будто горя ожидая,
Покорна будущей судьбе.
Могу ль я выразить тебе
Весь жар усердия святого
Сыскать, утешить нищету?
В слезах ли видит сироту —
Родная бедствия чужого,
Она отдать готова ей
Свои сережки из ушей,
И, сверх подарка дорогого,
Бывало, плачет вместе с ней.
С невинной, нежною тоскою
В ее пленительных чертах
Сливался непонятный страх,
И что-то схожее с тобою
В ней было: так, лицо твое
Напоминает мне ее;
Ресницы, как у ней, густые,
И очи темно-голубые,
И цвет каштановых волос;
Она была тебя стройнее
И воска ярого белее;
Не диво: солнце и мороз
Ее в полях не заставали,
Полоть и жать не посылали,
И одевал красивый стан
Не твой кумачный сарафан».

10

И дружно путнице смятенной
Священник руку протянул,
И ярко взор его блеснул,
Воспоминаньем оживленный.
Он рассказал о той поре,
Когда ей радость ложно снилась,
И как звездою при дворе
В семнадцать лет она явилась.

Тогда чинами и красой,
Невесты царской брат родной,
Сиял надменный Долгорукой;
Он меж бояр и меж князей
Ее очам был всех милей.
С ним брак надежною порукой
Казался всем, что вечно ей
Не знать ни слез, ни скорбных дней.
Невольно старец вздох тяжелый
Стеснил, и с важностью веселой
Завел он речь про их сговор,
Как духовенство, пышный двор
Бояр вельможных посетили,
Как царь приехал, как при нем
Чету младую обручили
И как восточным жемчугом
Невесту милую дарили;
Меж тем, прелестная, она
Стыдливо с женихом сидела
И, тихой радости полна,
То улыбалась, то краснела,
А, друг веселости живой,
Кругом шел кубок золотой
В беседе шумной и приветной,
И щит зажегся разноцветный,
И хор гремел, и до утра
Народ, толпясь, кричал: ура!

11

«И кто бы, кто подумал прежде, —
Так продолжал, вздохнувши, он, —
Что радость изменит надежде,
Что счастье их минутный сон!
Неумолимая гробница
Схватила юного царя
От двух венцов, от алтаря;
Напрасно блещет багряница
И ждет княжна: всему конец!..
Жених и царь уже мертвец!
Затмились вдруг мечты златые,

И Долгорукого семья
Погибла с ним; чины, друзья
Исчезли; степи ледяные,
Изгнанья горестный предел —
Любимца падшего удел;
Но, жизни узнавая цену,
Когда во всем он зрел измену,
Невеста юная одна
Ему осталася верна;
Его подругою, душою
С ним в ссылке целых восемь лет
Она жила; но и с женою
Он разлучен...»

Путница

И слуха нет
О нем?

Священник

Я помню, как родные
Тогда давали ей совет
Расторгнуть узы роковые,
Покинуть друга своего.
И при дворе нетрудно б снова
Найти ей жениха другого.
«Нет, не покину я его, —
Она в слезах им говорила, —
Я счастливым его любила,
Он и в несчастьи всё мне мил:
Сам бог меня с ним обручил».
Но ты, я вижу, улыбнулась;
Так, верь не верь, ни вечных слез,
Ни гордой мести, ни угроз
Ее любовь не ужаснулась.
На всё с ним вместе решена,
И в даль и в хлад...

Путница

Она любила!
Не ссылка бедную убила;
Была разлука ей страшна!..
Скажи, где он?

Священник

Как ты бледна!
Ты плачешь?

Путница

Плачу!.. Ах, она
О том лишь небо умоляла,
Чтоб в нищете, в глуши степной,
Но вместе жизнь их протекала,
Чтоб счастье их!..

Священник

О, сон пустой!
Им счастье, там?

Путница

Отец святой,
Не страшно с другом заточенье:
С ним есть и в горе наслажденье.

Священник

В степях лишь тот привыкнет жить,
Кому здесь не о чем тужить;
Но ей, взлелеянной на радость,
Откинуть светлые мечты,
Губить красу свою и младость
Под кровом душной нищеты!
Ей счастье?.. нет!

Путница

Чем жертва боле,
Тем пламенной душе милей
Сердечный спутник грустных дней:
И меж снегов, и в низкой доле,
Когда в их юрте кедр пылал
И друг ей молча руку жал,
Когда детей она ласкала,
От их младенческой игры
Когда душа в ней расцветала,
Ужель она не забывала
Москву и царские пиры
И всех забав очарованья?

Священник

Тебе как знать?

Путница

Где он? Что с ним?
Иль ждать за гробом ей свиданья
И в небесах назвать своим!

Священник

Мы здесь в тиши уединенья
И за нее и за него
Льем к небу жаркие моленья,
Но мы не знаем ничего.

Путница

И не нашлося никого,
Кто б защитил?

Священник

Где правый сильный,
Кто б за несчастье грудью стал?
О, если б, сон прервав могильный,
Боярин Шереметев встал!
Он злобу с хитрой клеветою
Сразил бы истиной святою;
Он мог изгнаннику помочь,
Он спас бы гибнущую дочь;
Но знай, и ты, ему чужая,
И ты, о путница младая,
Когда б он был еще в живых,
Недаром здесь бы ночевала,
Поверь, горючих слез твоих
При нем бы ты не проливала,
И в путь не нищею пошла
Из Шереметева села!

12

Он говорил, она дрожала,
Сказала что-то, замолчала,
Во взоре тмился божий свет;
Но старец кажет на портрет,

Который в раме золоченой
Задернут был тафтой зеленой;
Он снял тафту и молвил ей:
«Вот он, взгляни и пожалей!»
Написан кистью мастерскою,
За шпагу ухватясь рукою,
В мундире, в ленте голубой,
Фельдмаршал смотрит как живой.
Ей мнится, давняя могила
Подпору бедной возвратила;
В смятеньи робком перед ним
Она колена преклоняет,
Зовет его отцом своим,
К нему младенца поднимает;
Казалось, взор ее молил,
Чтоб сына он благословил.
Ей мнится, будто к ней несется
Привет любви издалека.
Но вдруг мятежная тоска
С порывом новым в душу льется.
Волнуясь грозною мечтой,
Она свой перстень золотой
К устам, рыдая, прижимала
И распущённою косой
Лазурны очи отирала;
Невольный трепет, дикий взгляд
О чем-то страшном говорят.
Безмолвно старец изумленный
Молил творца о сокрушенной;
Он понял, что единый бог
Ее печаль утешить мог;
И старца важное молчанье,
Его встревоженный покой,
И незнакомки молодой
Неукротимое страданье —
Гласило всё о черных днях,
О днях, отравленных бедою,
И безнадежностью земною
В священный приводило страх.
Один, тревогам непричастный,
Младенец тихий и прекрасный,
Не зная, что и жизнь и рок,

Грозой не тронутый цветок,
С улыбкой, с ясными очами,
На грудь родимую припал
И влажными от слез кудрями,
Беспечный, весело играл.

13

Но скоро стон ее мятежный
Умолк и грустью безнадежной
Залег в сердечной глубине;
И, при печальной тишине,
Уже невольно час полночи
Сомкнул у всех усталы очи.
Младая путница одна
Рассвета ждет, не зная сна;
Стремится думою далёко,
Но что готовит рок жестокой?
Какую весть она найдет?
Нет силы ждать: она встает,
Младенца будит поцелуем:
«Когда б ты знал, где мы ночуем,
Дитя мое!..» И в томну грудь
Желанье новое теснится,
И перед тем как удалиться,
Еще ей хочется взглянуть
На то село, где ночевала,
Село... И тихо, тихо встала,
И начала сбираться в путь:
Иконе Спаса помолилась
И низко старцу поклонилась,
Который долго не смыкал
И сам очей, но пред зарею,
Склоняся на плечо главою,
В широких креслах почивал;
И вот стопою торопливой
В тенистый сад она спешит,
И взор ее нетерпеливый
Живее, пламенней горит.

14

Чуть видная меж облаками,
Луна последними лучами
Светила с пасмурных высот;
Березы над прудом дремали,
И тени шаткие дрожали
На зыбком лоне сонных вод.
О, как у бедной сердце билось!
В каких терялося мечтах!
Но хоть страданьем утомилось,
Хоть очи грустные в слезах,
А всё улыбка на устах.
Казалось, будто ей знакомы
Пустые, мрачные хоромы,
Что этот луг, что этот сад
Не в первый раз встречает взгляд;
С прудом, деревьями, цветами,
Минувшим вдруг оживлена,
Как с незабытыми друзьями,
Опять увиделась она.
Хоть всё печальней, всё небрежней,
Но дышит всё порою прежней,
Здесь всё к себе ее манит;
Привет немой во всем находит;
Родную тень лесок наводит,
Ручей знакомое журчит.
На барский двор она бежит
И на крыльцо легонько входит,
В покои темные глядит;
Они стоят давно пустые;
Но лишь в окно луна блеснет,
И так как будто что мелькнет, —
То мнится ей, в часы ночные
Там бродят призраки родные,
Там дышит то, чего уж нет:
И всё, чем сердце расцветало,
И что сбылось, и что пропало,
Что обещал и не дал свет,
Что было, есть, любовь, страданья,
Безвестность, ужас ожиданья —

Всё разом гибельной стрелой
В душевны раны проникает,
И жжет, и холод гробовой
В убитом сердце разливает.
Без сил, к столбу прислонена,
Уж не тоскуя, не мечтая,
Сама в себе погребена,
Она стоит полуживая...
Но святость горя и любви
Сильнее бедствия земного.
Струя румяная вдали,
Предтеча утра молодого,
Уже зажглась, и с нею вновь
Решимость, горе и любовь
В душе томящейся проснулись;
Все думы разом встрепенулись.
«Пора, пора! Идем, идем!
Я там проведаю о нем».
И, за дубовые перила
Хватаясь трепетной рукой,
В тенистый сад она сходила:
Уже тропинкой луговой
Бежит, влекомая мечтой;
В порывах быстрого движенья
Заметны тайные волненья;
Садовник, спящий у ворот,
Ее спросонья окликает;
Она ответа не дает,
Прощальный взор назад бросает
И в поле темное спешит,
Где путь проселочный лежит
К Москве, и страшной и желанной,
И уж теряется в кустах
С младенцем милым на руках,
И не видна в дали туманной;
Но долго быть о ней молве
У Шереметева в селе...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

...The lost on earth revived in heaven.
Lord Byron[1]

1

Восток алея пламенеет,
И день заботливый светлеет;
Проснулись пташки; в тихий бор
Уж дровосек несет топор;
Колосья в поле под серпами
Ложатся желтыми рядами;
Заутрень сельских дальний звон
По роще ветром разнесен;
Скрыпит под сеном воз тяжелый,
И заиграл рожок веселый.
О, если б ты, прекрасный день,
Гнал мрачные души волненья,
Как гонишь ты ночную тень
И снов обманчивых виденья!
Зачем ты в блеске молодом
Лелеешь каждою зарею
И вишню солнечным лучом
И ландыш утренней росою,
Но сердца, полного тоской,
Не освежишь своей красой?

2

Клубятся в полдень черны тучи
По раскаленным небесам,
И вихрь несет песок горючий
С дороги пыльной по холмам;
В томленьи душном жнец ленивый
Лежит в тени, оставя нивы;

---

[1] Погибшее на земле ожило на небесах. *Лорд Байрон* (англ.). — *Ред.*

Пастух со стадом в лес бежит;
Бор темный шепчет и дрожит;
Сожженный лист о стебель бьется;
Всё притаилось, всё молчит...
И вдруг огонь по тучам вьется,
Грохочет гром, с ним дождь и град
В полях встревоженных шумят.

3

В приюте сторожа лесного
С младенцем путница ждала,
Чтоб туча бурная прошла.
Теперь до города родного
Уж недалёко; путь свершен:
Там всех увидит, всё узнает;
Но сердце больше замирает.
Теперь ей снится грозный сон,
Но как-то и надежда снится;
А завтра... завтра всё решится,
Быть может, завтра будет ей
День страшный, всех страшнее дней;
Быть может, завтра в наслажденье
Ей было б мрачное сомненье.

4

Утихла буря; свод небес
Меж дымных туч уже синеет,
И ароматом дышит лес,
И как свежо с поляны веет!
Цветы, омытые дождем,
Блестят под влажным жемчугом,
И солнце вечера спокойно
Бросает ярко луч незнойный.
Одна дорогою большой,
В прекрасном мире сиротой,
Молитвой ужас отгоняя,
Идет страдалица младая;
Почти ей жаль, что кончен путь;

К ней в душу страшно заглянуть:
Прошла пора искать, как прежде,
Минутной радости в надежде;
Зияет рок... Но вот она
Стоит, дрожит: Москва видна...
«Хранитель-ангел, дай мне силу!
Веди меня... не на могилу!»
И вне себя она глядит,
А перед нею боле, боле
Москва видна в широком поле,
И уж вдали заметен вид
Стрелецкой башни полудикой,
Уже в очах Иван Великой,
Как жар, венец его горит;
Глядит — и в сердце онемели
Тоска и страх: чему нет слов,
Что дышит тайностью гробов,
Напевом детской колыбели —
Прокралось в грудь; и трижды в прах
Перед Москвой она склонилась,
И с мрачным пламенем в очах
К заставе близко торопилась;
Но уж опять в душе у ней
Волненье прежнее страстей.
Взгляните, как она уныло
То чуть ступает, то бежит
И сколько в грусти боязливой
Неизъяснимого таит!
Нет, гордый ум не разгадает,
Что сердце робкое мечтает:
Любовью созданный в бедах,
Ее волнует новый страх.
Чья жизнь в других, тот поневоле
Приметам верит в темной доле:
Она боится, чтоб монах
Ей не был встречею печальной,
Чтоб черный гроб в дыму свечей
При звуках песни погребальной
Не испугал ее очей;
И голос милый, но прощальный,
Везде, во всем несется к ней.

5

Заря давно уж догорела,
Когда, печальных дум полна,
В родимый Кремль вошла она;
Кругом лишь в сумраке белела
Его зубчатая стена,
И крест на башне Годуновой
Сиял во тме звездою новой.
Идет... и в сердце, и в мечтах
Нетленных раки, царский прах;
Уже встречают томны взоры
И златоглавые соборы,
И древний княжеский дворец:
Здесь, друг Петра, ее отец
Делил с ним мудрые беседы
И праздновал свои победы;
Там мать ее, в тиши ночей,
За дочь молилась у мощей;
А там, невестой молодою,
Была она двора красою;
Тогда жених... и вдруг у ней
Ручьями слезы из очей.

6

Безмолвно бедная молилась,
Душой вверяясь небесам;
И теплой верой оживилась,
Спешит в заветный Спасов храм:
Нерукотворная икона —
От бед страдальцам оборона...
Шагами робкими идет
Чрез темный звучный переход
За ту решетку золотую,
Где при заботливых отцах
Таили жизнь свою младую
Царевны в светлых теремах;
И вот повергнулась в слезах
Перед иконою чудесной:

«Спаси его, отец небесный,
Спаси его, а мне дай знать,
Что с ним и как его искать!»
И, мнилось, ангелы внимали
Ее таинственной печали.

7

В Кремле святая тишина;
В Москве на стогнах сон глубокий;
Уже над башнею высокой,
В дыму, туманна и красна,
Взошла полночная луна;
Но алый пар пред ней редеет
На темно-синей высоте;
Луна полночная светлеет
Во всей обычной красоте;
Сиянье томное трепещет
На белокаменных стенах,
И на соборах, на дворцах
Струями пламенными блещет;
Оно сребристой пеленой
Лежит на гладкой мостовой,
Бросает в стекла искры злата,
И Грановитая палата,
Как бы внутри освещена,
Чего-то дивного полна;
И ярко светятся лампады
Сквозь окна узкие церквей,
И чуть заметно вдоль ограды
Мерцанье тусклых фонарей;
Всё тихо, всё святыней дышит;
Травою воздух не колышет,
Лишь одинокий часовой
Прохожих глухо окликает,
И только меди вещий бой
Молчанье ночи прерывает;
Но мир ее не возмущен;
Он свят, как праведников сон.

8

Уныло путница младая,
Младенца к персям прижимая,
Сходила с Красного крыльца,
Дрожала, плакала, бледнела
И, робкая, на камень села
У озаренного дворца.
Невольно душу волновали
И блеск минутный юных дней
И те святые дни печали,
Которых память нам милей...
В грозе, ничем не отразимой,
Темницу друга разделять,
С ним вместе плакать, с ним страдать —
Ее надеждою любимой.
Но сердце, сжатое тоской,
Тонуло в думе роковой:
Навек ли небо омрачилось?
Где он? что с ним? Уже ль свершилось?
И, в нем забыв людей и свет,
С душой, усталою от бед,
Она сидела, чуть дышала,
Одну мечту другой сменяла...
Томяся в смутной тишине
Не наяву и не во сне...
К ней что-то льнет, к ней что-то вьется:
Она вздрогнула; сердце бьется;
По жилам холод пробежал,
Сквозь сон младенец закричал;
И что-то будто бы мелькнуло,
Пошевелилось и вздохнуло...
«Ты здесь? Творец!.. какой судьбой?
О! ты ли, друг, опять со мной?»
И прежних дней товарищ милый
Пред ней, встревоженной, унылый
На светлой площади стоит;
Он к ней нейдет, не говорит
И зорко на нее глядит;
Он завернулся в плащ широкой;
Он в думе мрачной и глубокой,

И чуден блеск его очей,
И бледен лик, и вид смущенный,
И кольца черные кудрей
Не вьются к шее обнаженной.
Сковал ее внезапный страх;
Встает — нет сил; на камень пала
И вне себя ему в слезах
Младенца сонного казала.
Как будто содрогнулся он,
Как будто непонятный стон
В устах сомкнутых раздавался;
Недвижим, к ней он приближался,
Ужасным чем-то омрачен.
Она глядит, дохнуть не смеет;
А полная луна светлеет;
И плащ откинулся слегка,
Выходит медленно рука;
Грудь обнажилась, кровь чернеет
Рубашки белой на краю;
Он тихо стал перед женою
И, волосы собрав рукою,
С плеч поднял голову свою:
И, ярко озарен луною,
На шее признак роковой
Темнел багровой полосой.

9

Творец судил: навек страданье
Ее уделом, розно с ним;
Ее земное упованье
Навек под камнем гробовым.
С несчастным страшною разлукой
Печальной жизни цвет убит;
Один удар из двух мертвит:
И слез Натальи Долгорукой
Никто ничем не усладит!
Одна ужасная подруга
И в темну ночь и в ясный день
Его страдальческая тень,
Тень мрачная младого друга,

Не отразимая в очах:
В ней жизнь и смерть, любовь и страх;
И слух ее тревожат звуки
Прощальных стонов, вопля муки,
И ужасают томный взор
Оковы, плаха и топор;
Его кровавая могила,
Страша, к себе ее манила;
И долг святой велит терпеть:
Нельзя ни жить, ни умереть;
Она окована судьбою
Меж мертвецом и сиротою.

10

Промчались годы, но они
Душевной скорби не умчали,
И в горе чувства замирали.
Ах, есть еще страшнее дни
Дней первых пламенной печали!
Мятежной горести полна,
Как бы сражаяся с судьбою,
Душа терзанью предана,
Живет утратою самою;
Но есть пора: в томленьи бед
Ни сил, ни дум, ни чувства нет;
Без слез крушит воспоминанье;
Без пламя едкого страданья
Лишь раны сердца всё хранят
Свой тайный, свой холодный яд.
Но долг заветный совершился:
Младенец взрос; свободна мать.
Что делать ей? Как доживать
Печальный век, который тмился
Суровой мглой? И где искать
Приюта в скорби одинокой?
Один есть путь... Она летит
Внушеньем веры в град далекой,
Где под Печерской Днепр широкой
Волной священною шумит;
Там, горе жизни вероломной

Стеснив трудами и мольбой,
Она запрется в келье темной
До мирной сени гробовой.

11

Чей скорбный дух воспрянет к богу,
Кто веры пламенник зажжет
И бездны скользкую дорогу
С крестом спасителя пройдет, —
В пучине зол тот не погибнет.
Но, ах, когда в груди у ней,
Когда остынет пыл страстей,
Гроза сердечная утихнет!
То робкой думой в небесах,
То, лишь отраду зря в слезах,
Она, в борьбе сама с собою,
Дрожит пред клятвою святою.
Не страшен ей терновый путь —
Ей страшно небо обмануть.
Где светлый мир без разрушенья,
Там живо всё, там нет забвенья:
Душа на вечность создана;
Любовь бессмертна, как она.
Дух полон веры; он стремится
До гроба сердце умертвить, —
Земной ли жертвы ей страшиться?
Но как ей друга позабыть?

12

Настала ночь. Горой крутою
Кто легкой тенью меж кустов,
Кто сходит позднею порою
На склон песчаных берегов?
Она... Зачем ей, одинокой,
Идти на Днепр в ночи глубокой?
Бушуют волны на реке,
Зарница блещет вдалеке,
И тучи месяц застилают,

И на туманных небесах,
Как бы забыты в облаках,
Две только звездочки мелькают.
Увы, душа ее мрачней
Осенних бурь и мглы ночей!
Она у волн в раздумье села,
Склонила на руку лицо,
На Днепр, вздохнувши, посмотрела,
Сняла венчальное кольцо:
«Свершилось всё, навек свершилось!
И страшной клятвой, с новым днем,
Я поклянусь пред алтарем
Забыть всё то, чем сердце билось.
Кольцо мое... залог живой
Меж праха милого и мной,
Тебя ждала моя могила!
В тебе страдальца я любила,
И небесам (творец, прости!)
Кольца печали и любви
В безумстве я б не уступила;
Но он, он сам в чудесном сне,
Он в эту ночь являлся мне;
Он мне сказал: «Покинь земное!
В любви есть тайное, святое,
Ей нет конца; и там я твой!»
То был не сон. И томны очи
Искали небо в мраке ночи
С надеждой, страхом и тоской;
И было всё покрыто мглой.
Но вдруг из облака густого
Над рощей месяц засиял;
Он так светил, он так играл,
Как радость сердца молодого;
И мрак ночной пред ним исчез,
И на краю родных небес
Опять две звездочки мелькнули —
И в ярком свете утонули.
«О, так и мы, душа с душой,
Утонем в радости святой!»
И верой грудь ее дышала,
И жертва тайная в мечтах...
Она кольцо к устам прижала...

Оно блестит, оно в волнах...
В волнах! Но что ж? Рукой дрожащей
В порывах сердца своего
Она из-под волны шумящей
Хотела выхватить его;
Уже рука меж вод скользила;
Но руку, тихо заструясь,
Волна холодная отбила,
И, может быть, в последний раз,
Но слезы хлынули из глаз...
И меж кустов тропинкой мшистой
Она пошла к горе крутой
И скрылась вдруг в дали тенистой,
Как некий призрак гробовой.

13

Звон громкий, ветром разносимый,
Сзывает киевлян во храм:
Навек сегодня в жертве зримой
Земное горе честной схимой
Передается небесам.
И стар и млад с душой смятенной
Идут смотреть обряд священный;
Все разом набожной толпой
Теснятся в монастырь святой.
Как на стенах его высоких,
На мхом подернутых зубцах,
На переходах, на столбах
Видна печать времен далеких!
Века исчезли, храм стоит,
Стоит незыблемый, огромный,
И сам, как вечность, тайный, темный.
Граненый ряд чугунных плит,
Под коим тлеет прах могильный;
Старинной живописи вид,
И тусклый свет паникадильный
Во мраке сводов вековых,
И будто теней гробовых
В одежде черной хор умильный
Поющих инокинь святых —

Во всем понятен глас пророчий
Последней нашей длинной ночи.
Одни как в радужных лучах
Иконы светлые с мощами:
Их ризы блещут жемчугами;
Алмазы, яхонты в венцах;
И, сыпля жар, скользит струями
Огонь лампад сквозь тонкий дым
По их окладам золотым.
Но уж возносится моленье;
Начнется скоро постриженье;
Владыка здесь, готово всё,
Уже во храм ведут ее;
Уже звучит по мертвых пенье;
В кадилах пышет аромат;
Ведут... и в храме на налое
Крест и Евангелье святое
Перед иконою лежат,
Под ними ножницы блестят.

14

Одета длинной власяницей,
И лик под черной пеленой,
Она вошла; уже гробницей
Взята от прелести мирской;
Стремяся к жертве невозвратно,
Посту, трудам обречена,
Перед налоем троекратно
Распростиралася она;
Но, искушая страшной долей,
Ее спросил святой отец,
Стяжает волей иль неволей
Суровый инокинь венец;
Он рек, да сердца правотою
Отвергнет яд лукавых стрел,
Что вечный огнь ей будет мздою
Иль светлый ангельский удел;
И за нее святые девы
Молитвы теплые творят;

Уже раскаянья напевы
К судье доступному летят.

Что я? Кто я? Изгнанник рая.
В греховной бездне утопая,
Что жизнь, и разум, и краса?
Цветок увядший, дым, роса.
Но он своей щедроты бездной,
Он, милосердый царь надзвездный,
Услышит вопль мой; он меня
Спасет от вечного огня.

Но вот и ножницы блеснули,
Невольно в храме все вздрогнули;
И старец их пред ней держал.
«Возьми и даждь ми», — он сказал.
Она свой взор на них склонила,
Взяла и старцу возвратила;
В другой раз тоже, в третий раз...
Вдруг стон... И в храме раздалась
Толпа — и отрок неизвестный,
Дрожащий, как она прелестный,
Не смея воли дать словам,
Бежит... упал к ее ногам,
Целует, облил их слезами...
Увы, что с ней! Кто зрит сердца,
Тот видел всё; она очами
Искала образа; с лица
Холодный пот, как град, катился;
Но взор на образ устремился:
Безмолвно отрока она,
Душой молясь, благословляет
И старцу ножницы вручает.
Он взял, — и жертва свершена;
И кудри темные, густые
Летят на плиты гробовые;
И пояс крепкий правоты,
И риза дивная нетленья,
И покрывало чистоты,
И знак блестящий искупленья —
Ей всё дано; она вняла,
Что мудрость вечная рекла:

«Кто хочет царствия Христова,
Блаженства отрекись земного,
И чрез долину слез и бед
С крестом гряди ему вослед!»
Сей путь ее: и, ангел новый,
На небеса уже готовый,
Она стоит пред алтарем
В руке с таинственным крестом.

В житейском море зря волненье,
От бури гибельных страстей
Я притекла искать спасенья
У тихой пристани твоей.

И ты, о свет незаходимый,
Божественный, непостижимый,
Отрада чистая сердец,
Небесный страждущих отец!
Привлек ты к пристани надежной
Разбитый челн грозой мятежной;
Ты отдал жизнь, ты усладил,
Мечтанье правдой озарил;
И днесь в восторге упоенья,
Благословляя дни мученья,
К блаженству расцветая вновь,
Она уж там, где нет страданья,
Где брошен якорь упованья,
Где ты, и вечность, и любовь!

15

Летая думой вдохновенной
В заветный мрак минувших дней,
Опять узнал мой дух смятенный
Тревогу томную страстей.
Хоть светлый призрак жизни юной
Печаль и годы унесли, —
Но сердце, но мечты, но струны?
Они во мне, со мной, мои.
Я вспомнил ночь, когда, томимый
Тоской, ничем не отразимой,

В Печерской лавре я сидел
Над той спокойною могилой,
Надеждам страшной, сердцу милой,
В которой прах священный тлел;
Она душе была порукой
Неверной радости земной, —
И тень Натальи Долгорукой
Во тме носилась надо мной...

1827

Примечание: Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая была дочь фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева, знаменитого полководца во времена Петра I. Судьба князей Долгоруких, пользовавшихся необыкновенною доверенностию императора Петра II, известна из Российской истории.

БЕЗУМНАЯ

Русская повесть

Москва, Москва, где радости и горе
Мой юный дух, пылая, обнимал, —
Где жизнь мою, как в непогоду море,
Мятеж страстей так часто волновал!
Ты — колыбель моих воспоминаний,
Сердечных дум и дерзких упований!
О, сколько их увяло, не сбылось!
Но хоть тогда и много туч неслось, —
Отважный взор не устрашен был мглою,
И вдалеке мелькающей звездою
Пленялся я: во тме — она одна
Светила мне; но так мила, ясна,
Она меж туч так радостно играла,
Надеждою, любовью мне сияла!
Шуми же ветр, тмись небо, вой гроза:
В очах, в душе — звезды моей краса!

И мой удел, с надеждами, с мечтами,
С веселыми и горестными днями,
По сердцу мне; он мне не утаил
Душевных тайн, и я недаром жил.
Туч грозных мрак, румяной блеск денницы
Знакомы мне, и отзыв их живой
То ужас льет, как в ночь протяжный вой
Далеких бурь, то нежный звук цевницы
Пред ним ничто. Я снова, если б мог,
Искать бы стал тех пламенных тревог,

В которых всё земное нам милее,
Небесное и ближе, и святее!
Стремлю назад, вздыхая, томный взор,
Но в нем Москва — привет, а не укор.

Бывало, я в лесу уединенном,
Где Кунцово на холме возвышенном
Задумчивой пленяет красотой,
Брожу один вечернею зарей;
Москва-река там с синими волнами,
В тени берез, меж дикими кустами,
Шумя, блестит, и прихотей полна:
То скрылась вдруг, то вдруг опять видна;
Зеленый луг и роща за рекою;
Вдали вид сел, полуодетых тмою,
Манили взор, — и сладостной мечте
Вдавался я в сердечной простоте:
«О, если б здесь она, мой друг прелестный,
Кем для меня всё дышит в поднебесной,
Таясь от всех в беспечной тишине,
Прекрасный сон! была подругой мне!
Деревня, сад, любовь, уединенье
И божье с ней и в ней благословенье —
Во всем она!» — И месяц уж всходил,
А я в лесу, забыв часы, бродил,
И с ним тогда прощался поневоле,
Как мрак ночной ложился в тихом поле.
Иду — ко мне из сел летит порой
То звук рожка, то песни плясовой:
Я оживлен веселыми мечтами!
Но, проходя кладбище под Филями,
Случалось мне — внезапно я смущен.
Над свежею могилой слышу стон, —
И я, крестясь, задумаюсь уныло...
И пламенней люблю что сердцу мило!

Но уж прошел я поле и погост,
Дрожит вдали Дорогомилов мост,
Бегу к нему, надеждою томимый;
Спешу пройти по улице любимой:
Там, может быть, теперь пред тихим сном
Она сидит, в раздумье, под окном.

Но хоть один огонь меж ставней блещет, -
Всё счастлив я, — и сердце затрепещет!
Нет! тайну чувств, несметных сердца дум,
Их чудный мир постичь не может ум.

Мечта сбылась. Меня любила радость,
Священный жар мою лелеял младость;
Хоть жизнь моя утрачена в страстях
И божий свет померк в моих очах,
Но я стеснен, а не убит судьбою —
Моя жена, и сын, и дочь со мною!
Мой дух кипит, моя не стынет кровь,
По-прежнему я верую в любовь...
Так видим мы: покинув мать родную,
Мечтатель-сын летит в страну чужую,
Где буря ждет, печаль, тоска крушат —
Быть может, сам он, дерзкий, виноват,
Но он — ее; то ж сердце в нем пылает,
И мать в слезах страдальца обнимает.
Москва! с тобой давно расстался я,
Но я твой сын — родная ты моя!

30 сентября 1830
Санкт-Петербург

1

Когда дорогою большою
Проезжий встретится со мною
И колокольчик прозвенит,
Всегда в мое воображенье
Он бросит тайное смущенье
И как-то сердце мне стеснит.
Напоминают эти звуки
Обман надежд, печаль разлуки:
Быть может, страждущую мать
Любимый сын спешит обнять —
Увы! застанет ли родную?
Платя, быть может, чести дань,
Жену покинув молодую,
Влюбленный муж летит на брань;

Сомненье дух его волнует —
Кто любит страстно, тот ревнует.

Так, углублен в моих мечтах,
Под буркой я лежал в санях;
И, снег копытами взвевая,
Неслася тройка удалая,
И мой ямщик уныво пел,
И колокольчик мой звенел.

2

Уж ночь морозная настала;
Ямщик коней легонько гнал,
И подрезь пó снегу визжала,
А я под песнею дремал.
Вдруг бег коней остановился,
Открылся взор усталый мой, —
Гляжу: стоим; ямщик крестился:
Зажглося небо надо мной,
Горит кровавою зарей;
Волнуясь, север пламенеет,
То весь багровый, то бледнеет,
И море зыбкого огня
Готово хлынуть на меня.

Холодным блеском рдяной ночи
Невольно ужаснулись очи;
Клубясь в сверкающих волнах,
Столбы багряные явились,
То расходились, то сходились,
Сливались, таяли в лучах
Иль, рассыпаяся, дымились;
И зарево с высот небес
Сиянье странное бросало
На снежный дол, на ближний лес;
Оно таинственно мерцало;
Пушистый иней вкруг ветвей
Берез высоких, сосн косматых
Трепещет в искрах красноватых;
И снежные ковры полей

Где пожелтели, где алеют;
Везде дрожащий, чудный свет,
Какого днем и ночью нет.
Светло и страшно — лишь темнеют,
Со всех сторон омрачены,
Лесных оврагов глубины.
И в поле только раздается
Звон колокольчика порой,
И тихо из лесу несется
Волков голодных дальный вой.

3

Природа-мать! как ты прекрасна!
О, как всегда, везде, во всем
Мила, прелестна иль ужасна!
Ты явно дышишь божеством!
В красе ли солнце засияет
И светлый мир животворит;
Из туч ли молния сверкает,
Гроза ревет и гром гремит;
Иль ночь нетленными звездами
Усеет небо, как цветами,
И томно нежится луна;
Морская ли кипит волна;
Журчит ли тихо ток сребристый;
Иль Этна бросит сноп огнистый
И вихрит пламень к облакам —
Всё тайну знаменует нам:
Что лишь одно всему душою,
Что правит мира красотою,
Равно как ужасом тревог,
Морями, небом и землею —
Любовь, премудрость, сила — бог!

4

И кони борзые пугливо
Храпят, как будто чуя диво.
Ямщик молчал, смотрел кругом,
И молвил мне: «Не пред добром!

Верна примета, не обманет:
Нам черный год, беда нагрянет;
Столбы — к войне, а пламя — мор;
Того гляди, опять набор!»
Напрасно, гнав его сомненье,
Я толковал ему явленье;
Не понял он — *как мерзлый пар*
Среди снегов родит пожар.
Едва везти меня решился,
Он вожжи взял, перекрестился,
Лениво сел, махнул кнутом
И повторил: «Не пред добром!»

5

И молча он большой дорогой
Меня везет. — Невдалеке
Лежит усадьба на реке.
Вкруг деревянной и убогой
Столетней церкви, меж кустов,
Ряды являются гробов.
Из кольев с ельником ограда
Уж их теснит. Ветха, бедна,
Часовня при пути видна;
В ней тускло светится лампада.
Вблизи костер, дымяся, тлел;
Быть может, путников он грел.

6

Но кто, как тень, как привиденье,
Как полуночное явленье,
Могил таинственный жилец,
На срок отпущенный мертвец, —
Кто там мелькает предо мною?
Освещена ночной зарею,
Зачем, свою покинув сень,
Идет ко мне младая тень?..

Не тень была то гробовая —
Была страдалица младая.

Она догнать меня спешит;
Она рукой к себе манит;
За нами вопль ее несется;
Мой дух смущен, и сердце бьется.
Я удержал моих коней;
Я сам бегу навстречу к ней.
Но, к нам она летя стрелою,
Вдруг неподвижною, немою
Остановилась; тяжкий стон
Возник — и смолк: «Опять не он!»

7

И вне себя она стояла,
Бледна — как майская луна;
И беглый взор кругом бросала,
Тревожной думе предана;
Какой-то грустью безнадежной
Она дышала; сарафан
И мех, накинутый небрежно,
Скрывали грубо легкий стан;
По белому челу бежали
Струи разметанных кудрей
И тмили чудный блеск очей,
И взору дикость придавали;
Слова немели на устах,
И грудь вздымалась, трепетала;
Но вдруг прошел мятежный страх —
И, как в бреду, она сказала:
«Зачем ты, путник, здесь со мной?
Скачи к нему! Когда ж он будет
Опять ко мне? иль мне живой
В могилу лечь? иль он забудет
И темный лес, и час ночной,
И этот перстень золотой?»

8

Я понял всё. У исступленной
Я руку взял, и вместе с ней
К часовне, тускло озаренной,

Пошел, не находя речей.
Мы сели на могильный камень;
Теплей я бедную одел;
Костра оставленного пламень,
Сверкая, нас обоих грел.
И всё, что взоры ни встречали,
Вливало в душу мрак печали:
Она, крушимая тоской,
В безумии любви земной,
И сельский храм, с его гробами,
И блеск, мерцающий над нами,
И тайной дышащая ночь,
Примет народных впечатленья —
Смущало всё; и дум волненья
Был я не в силах превозмочь;
А между тем она сидела
Печально-сумрачна, бледна;
Невнятно, тихо что-то пела;
И, смутных призраков полна,
То робко бросит взор унылый
На снежные вкруг нас могилы,
Начнет молиться и вздохнет;
То взглянет на небо, вздрогнет,
Ко мне от ужаса прижмется, —
И вдруг сквозь слезы улыбнется.
Был дик огонь ее очей;
Но, сердце кровью обливая,
Ее улыбка роковая
Огня их дикого страшней:
Веселый знак дум ясных, чистых,
Улыбка на ее лице;
Она — как из цветов душистых
Венок на бледном мертвеце.

9

Она молчала — томный ропот
Ума броженье намекал;
Но странный, непонятный шепот
В устах дрожащих замирал.
Она, казалось, устремляла

Всю память сердца к прежним дням,
И вдруг мне руку крепко сжала,
И молвила: «Ты любишь сам:
Ты тронут был тоской моею!
Радушен, добр ты, вижу я;
А добрым не любить нельзя!
Будь счастлив с милою твоею!
Но, путник, ей не измени;
Иль черные настанут дни,
И сердце ум ее встревожит,
И совесть страхи наведет —
И с горя, как моя, быть может,
Ее родимая умрет!»

Тогда кладбище указала
Она мне трепетной рукой
И, запинаясь, продолжала
Рассказ печальный и простой:
«Да! как моя! — Ее убила,
Убила дочь; но мне простила
Моя родная: обо мне
Теперь, в безвестной стороне,
Она всё молится... Ужасно
Мне без нее на свете жить! —
Как без приюта, в день ненастный,
Себя фиалке сохранить?

10

И что? и как? Сама не знаю;
А с той поры, как нет родной,
Творится чудное со мной:
Я небывалое видаю,
И, может быть, одна мечта!
Но и природа уж не та:
Хотелось мне убрать цветами
Родной могилу: что ж? в полях
Ни травки — снег! И я, в слезах,
Бегу к реке, и над волнами
Я вижу лед, — и тайный страх

Кругом меня, как призрак, бродит.
Вот полночь — а не месяц всходит!
Взгляни — пожар на небесах!

11

И всё не так, как было прежде!
Но, путник, ты моей надежде
Не изменишь... Страшней всего
С ним розно жить — пришли его!
Спроси, зачем он любовался
Моей девичьей красотой?
Зачем, жестокий, издевался
Над бесталанной сиротой?
Когда ж настанет день отрадный!
Когда же друг мой ненаглядный
Приедет к нам — и с женихом
Я стану под святым венцом!
По нем, с утра до поздней ночи,
Тоскует сердце; плачут очи.
Он дал мне слово; для чего
Так долго, долго нет его?
Я не хочу тоски умерить:
Беда — мне сердце разуверить!

12

Но быть за ним мне суждено.
На прошлых святках я гадала;
Кольцо под песни вынимала,
И — как по бархату зерно,
Зерно бурмицкое катилось;
Как с алым яхонтом оно,
Катяся, вместе очутилось, —
Мне вышла песня. Также я
На месяц в зеркало смотрела:
Но тмился он, и я робела;
В нем будто черная змея,
Клубясь, к себе меня манила;

Бежать я бросилась домой,
От страха зеркало разбила, —
И кто-то всё гнался́ за мной!

13

Нет, не венчаться мне! Могила,
Могила ранний мой удел!
Мой светлый призрак улетел,
И смерть меня бы не страшила,
И сладко б я в земле сырой
Уснула, здесь, с моей родной!
Но, путник, как не ужаснуться?
Придет пора нам всем проснуться;
Священник говорит: пойдут
Все из гробов на божий суд!
Как там без друга я предстану?
Меня сожжет моя вина!
Но боле за него страшна
Мне грешных доля. Ни обману,
Ни лести хитрой места нет
В стране святой, где вечный свет.
О, если можно, пусть за друга
Его забытая подруга
Горит одна!..»

14

И дикий взор
Стремился к небу. Страх, укор,
Любовь, молитва в нем пылали;
Но мрак таинственной печали
Исчез, — и с новою мечтой
Она как будто бы очнулась,
Откинув кудри, улыбнулась
И, с торопливостью живой,
Краснея, шепотом сказала:
«Ты не поверишь, я слыхала
Здесь от одной ворожеи,
Что мертвые гроба свои

В глухую полночь покидают
И всюду бродят и летают.
О! к белокаменной Москве
Тогда б и я, в полночной мгле,
С кладбища к милому носилась,
Не с тем чтоб мне ему пенять,
Не с тем чтоб друга испугать:
Я б в невидимку обратилась,
Дышала б в тишине ночной,
Как ландыш на полях весной;
Я б томным ропотом сказала:
«Не бойся, милый, это я,
Всё неразлучная твоя!» —
И тихо бы являться стала,
Не бледным, страшным мертвецом,
Холодной тенью гробовою,
Но в виде радостном моем,
Собой, румяной, молодою
И с темно-русою косою —
Как перед ним я вечерком,
Бывало, пела и плясала
Или тайком к нему бежала
С клубникой, с свежим молоком.
Но если я и за могилой
Гонима тайною судьбой —
Когда забыл меня мой милый
И счастлив он теперь с другой, —
Я б мести ярой предалася,
Взыграло сердце бы мое,
Как острый пламень вкруг нее
Я б трижды, путник, обвилася!..»

15

И голос замер на устах.
Взбунтована мечтой ревнивой,
Она дрожит; в ее очах
Сверкает блеск любви строптивой.
Невольно разделял я с ней
Души угрюмое волненье.
Был страшен мрак ее речей;

Но быстрый призрак прежних дней
Вдруг озарил ее смятенье, —
Так ночью бурною волна
Кипит во мгле и с пеной хлещет;
Проглянет месяц — и она
Опять, мятежная, заблещет.

16

«Но ты жестокою меня
Не называй, о путник! я
Уловкой злою на разлуку
Осуждена, быть может, с ним, —
Пойми ж мой страх и сердца муку!
Он мой, он должен быть моим —
Порука бог! Я не рабою
На труд тяжелый рождена,
Хоть в низкой доле, хоть бедна...
Но то не горе, что судьбою
Родным полям возвращена:
На них цвела я без кручины,
Чиста, как ручеек долины;
Был светел день, отраден сон,
Не знала слез. Явился он:
Пропало всё! Родня, чужие,
Все мне пеняют, все бранят!
Когда б ты знал, что говорят!
Крестьянки грубые, простые
Со мной встречаться не хотят!

17

И правда их: не та я стала,
Какою прежде я была:
Печаль мне на сердце напала,
И тма все думы облегла!
Что вижу я — не замечаю!
Что скажут мне — я забываю!
Мой ум лукавым отравлен!
Мне жизнь мерещится как сон!

Но то, что мне, бывало, милый
Тихонько говорил, — ту речь
Умела я какой-то силой
В туманной памяти сберечь.
Его речам — хоть им не сбыться —
Как в душу мне не зарониться!..
Берет ли смех, томит ли грусть, —
Я всё твержу их наизусть,
И затвердила слово в слово;
И всё мне в них как будто ново...
Там, в роще темной, при луне,
Вот что сказал неверный мне:
«Зачем, в деревне расцветая,
Моя лилея полевая
Несешь ты нýжду и труды?
Мила ты, прелесть молодая,
Светлее утренней звезды!
Не знаю сам, но я тобою,
Прекрасный друг, обворожен!
С тобой не перстнем, а душою,
Моя невеста, обручен!
Люби меня!..» — И я любила!
Забыла я отца и мать;
Девичью совесть погубила,
В Москву хотела с ним бежать;
Но не Москвой с ее весельем
И не жемчужным ожерельем
Меня красавец обольстил.
Скажи: нет, он не изменил?

18

Бывало, только тень ночная
Оденет дальний небосклон,
Замолкнет песня плясовая
И все пойдут на тихий сон, —
А я, украдкой от родимой,
Бегу одна в лесок любимый.
Но в тот лесок ходила я
Не с тем чтоб слушать соловья,
Не с тем чтоб небом любоваться,

Когда в нем звезды загорятся:
В сени берез, во тме ночей,
Моя звезда, мой соловей —
Всё он один! — И как, бывало,
Как сердце билось, замирало,
Когда, в полночной тишине,
Я жду его, дохнуть не смею,
Дрожу, то вспыхну, то хладею —
И он идет! — И, как во сне,
Исчезло всё! — Стыдом, тоскою
Я с той поры сокрушена;
И все смеются надо мною;
И я — Безумной названа.
Но если б то, что миновалось,
Опять к нам, бедным, возвращалось, —
В груди стеснила б я тоску,
Мой стыд и горе утаила —
И, страх сказать духовнику,
Опять бы в рощу я ходила!»

И, покраснев, она лицо
Рукой стыдливо закрывала
И долго молча целовала
Ее сгубившее кольцо,

19

Но вдруг, окинув беглым взглядом
Дорогу, даль, кладбище, храм, —
Она вздрогнула; слезы градом
Катились по ее щекам,
И буря тайного страданья
Волнует грудь сильней, сильней —
Как будто ангел упованья,
Мелькнув, навек простился с ней.
И молвил я: «Ты убиваешь
Себя напрасною тоской.
Он жив, он будет здесь — с тобой!
О чем же слезы проливаешь?»

20

— «Нет, путник добрый, нет! поверь:
Когда б я знала, что разбойник...
Что прорубь темная... что зверь...
Что нет его... что он покойник...
Так что же? Золотым венцом
Нельзя венчаться с мертвецом, —
Но я бы с ним не разлучилась:
Я б в белый саван нарядилась,
Тихонько в гроб к нему легла —
Навек моим бы назвала!
У бога правда — не земная!
Его закон — любовь святая;
А я без слез не знаю дня.
Отрада сердцу за могилой!
Ты мне сказал, что жив мой милый?
Он жив, хорош — не для меня!
И может быть, давно с другою
Злодей смеется надо мною!
И страшно мне, что, может быть,
Его не стану я любить!

21

На белом свете мне скитаться
Зачем? томиться, горевать,
В укорах совести бояться
То позабыть, что вспоминать
Так мило мне. — Заря ль алеет
На радость всем, — а я проснусь
И жду его — и не дождусь,
И всё кругом меня темнеет;
Ночные ль звезды зажжены,
И томны очи я закрою, —
Но мне и сонной нет покою...
Какая ночь! какие сны!
То на коне его видаю;
Бегу за ним — не догоняю!
То между им и между мной
Овраг с тернистою травой.

Но, путник, ах! всех снов страшнее
Мой вещий, мой последний сон:
Под ивой темной, вижу, он
Со мной один — милей, нежнее,
Нет, никогда он не бывал,
И как божился, как ласкал!
Я в нем жила! я им дышала!
Но, лишь к груди его прижала —
В могилу он столкнул меня, —
И тма кругом! — но зрели очи
Все ужасы подземной ночи.
С тех пор на смерть проснулась я.
Молися, путник!» — и дрожала
Она, как лист, и мрачный яд
Опять затмил бродящий взгляд.
Она внезапно с камня встала
И быстро кинулась в сугроб.
«Я гибну! я горю! — вскричала. —
Он жжет меня, мой душный гроб!»
Я к ней стремлюсь; она трепещет,
Часовню кажет мне рукой,
Где образ девы пресвятой,
Лампадой озаренный, блещет.
«Идти не смею я одна —
Мне кто-то шепчет: ты грешна!»
И пред стеклянными дверями,
Как снег бела и холодна,
Она простерлась со слезами,
Молитва бродит на устах;
Но как ее ни мучил страх,
Как грудь тоскою ни теснилась —
Она, страдалица, молилась,
В тревоге сердца своего,
Не за себя — а за него!

22

Тогда дорожка перед нами
Вдруг осветилась огоньком,
И вот крестьянка с фонарем
Идет поспешными шагами

За поселянкой молодой.
Она страдалицу искала,
Ей погрозила и сказала:
«Поди, Безумная, домой;
Поди скорей!» — и та небрежно
Встает и, голову склоня,
К селу тропинкою прибрежной
Пошла и — скрылась от меня.

23

О, сколько черных дум теснилось
Невольно в грудь! как сердце билось!
«Один позор, — воскликнул я, —
Теперь награда здесь твоя!
И ту, которой дни светлели,
Кто, как младенец в колыбели,
Поверила земной любви, —
Страданью люди обрекли;
За чувство, на небе святое,
Она несет стыда ярмо,
И уж прожгло чело младое
Безумья страшное клеймо!»

24

Но между тем уж исчезало
Мерцанье северных огней,
И небо синее блистало
В полночной красоте своей.
Мелькают звезды, месяц всходит;
Он блеск серебряный наводит
На снег окружный, на леса;
Всё неизменны небеса,
Всё та ж нетленность, та ж краса.
О, если б вы, страстей волненья,
Как метеор, как сновиденья,
Могли следов не оставлять;
А сердце, позабыв мученья,
Для новой жизни расцветать!..

Но вы — ничем не отразимы,
Безжалостны, неукротимы!
Промчитесь вы, когда оно
Уже навек умерщвлено.

Простяся с пышною Москвою,
Чрез то село я проезжал,
Где с поселянкой молодою
Зимой минувшей горевал.
Кладбище было недалеко;
Уж летний вечер пламенел,
И сельский мальчик, черноокой,
В тени берез играл и пел;
Он незабудки с васильками
На свежий дерн, резвясь, бросал
И мне чуть внятными словами
На мой вопрос об ней сказал:
«Ее вот здесь похоронили;
Тужить не велено об ней;
Теперь бедняжке веселей!
Мы, дети, все ее любили.
Она кого-то всё ждала,
Не дождалась — и у́мерла».

<1830>

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНОЯЗЫЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И. И. КОЗЛОВА

STANCES

Dédiées à la princesse Golitzine, née Ismailoff

Lorsque ma nef aventureuse
Franchit les turbulentes mers,
A la clarté pâle et douteuse
D'astres, pour moi toujours couverts,

Que j'aime, au bruit du flot qui gronde
Unir mes douloureux accens,
Et dans la nuit triste et profonde
Faire entendre mes faibles chants!

Oui, j'ai gardé dans mes souffrances
Le prestige des sentiments,
Luth plaintif et songes riants...
Et mon coeur, et mes souvenances.

Je rêve à ceux que je chéris,
Et mon coeur bât plus fort encore,—
J'ose espérer dans mes ennuis
D'un jour sans fin la douce aurore.

Je sens alors fuir la terreur
Et trouve ainsi, bravant l'orage,
Certain attrait dans le nauffrage
Et du charme dans le malheur!

Перевод:

СТАНСЫ

Княгине А. И. Голицыной, рожденной Измайловой

Когда корабль мой, полон сил,
Меж волн морских скользит беспечно
При свете матовых светил,
Сокрытых для меня навечно, —

Люблю я с шумом грозных волн
Сливать души моей стенанья,
И, среди ночи, грусти полн,
Свою же слышать песнь страданья!

Да, сохранилося во мне
О лучших днях воспоминанье;
Меня ласкает в сладком сне
Сердечных чувств очарованье!

В мечтах с друзьями вечно я;
Порою сердце сильно бьется;
Я жду, когда и для меня
Заря предвечная зажжется!

И мне не страшны той порой
Крушенья, бури, непогоды;
Мирюся я с своей судьбой,
И милы мне мои невзгоды!

ALLA CONTESSA FIQUELMONT

Graziosa quanto bella
Tu sei la dolce stella,
Speranza del dolor.

E giacche sempre dura
In me la notte oscura
Ti veggio col mio cor.

Перевод:

ГРАФИНЕ ФИКЕЛЬМОН

Стройна настолько ж, как прекрасна,
Звездой приветной блещешь ясно,
В печали утешаешь ты!

Суровый рок закрыл мне очи;
Но сердцем, среди вечной ночи,
Тебя лишь зрят мои мечты.

TO COUNTESS FIEQUELMONT

In desert blush'd a rose, its bloom
So sweetly bright: to desert smiled;
Thus are by thee, my heavy gloom,
And broken heart from pain e'er wiled.

Let, oh let heaven smile on thee
Still more beloved, and still more charming,
Be ever bless'd, — but ever be
The angel all my woes beguiling.

Перевод:

ГРАФИНЕ ФИКЕЛЬМОН

Как средь пустыни розы цвет
Отрадно блещет и пленяет,
Так твой мне дружеский привет
В разбитом сердце мир вселяет.

Пусть всё даруется тебе:
Любовь, краса, благословенье, —
За то, что ты в моей судьбе
Прошла как ангел утешенья.

ПЕРЕВОДЫ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ И. И. КОЗЛОВУ

Шиллер

⟨ОТРЫВОК⟩

И я на свет быть счастливым родился!
И мне во пеленах
Век радостей природою сулился;
И я на свет быть счастливым родился,
Весна ж моя утрачена в слезах!

Ах! жизни Май однажды расцветает!
Увял мой ранний цвет!
Бог прелестей на слезы не взирает!
Бог прелестей мой факел погашает,
И призрака уж нет!

Чрез мрачный путь в безвестное селенье
Вступил, о вечность! я.
Возьми назад на счастье уверенье,
Не вышло мне обетов исполненье!
Не спрашивай о радости меня.

Глас скорбный мой вознесся пред тобою,
Незримая судья!
В звезде у нас шло радостной молвою,
Что царствуешь ты с мудрой правотою
И что зовешь возмездницей себя!

Нам сказано, что ты порок караешь,
Что добродетель чтишь.

Сердец людских ты все изгибы знаешь,
Ты промысла мне тайну разгадаешь,
Несчастного за слезы наградишь.

Терновый путь страдальцы здесь кончают,
Изгнанники на родине своей.
Тот сын богов, что правдой называют,
Что все бегут, немногие лишь знают,
Удерживал узду моих страстей.

«На свете том получишь мзду большую,
    Отдай мне юность лет!
Ты с лихвою всё примешь в жизнь другую».
И отдал я весну мою златую!
И взял с него условье на тот свет!

«Отдай мне то, что сердце так пленяло!
    Отдай Мальвину мне!
Награда там!» — Как горе ни терзало,
Из сердца рвал, чем сердце лишь дышало,
И слезы лил, и отдал всё тебе!

. . . .

Шесть тысяч лет молчанье смерть хранила.
    Какой мертвец восстал?
Кому и где что хищница открыла?
Как знаем мы, чтó нам таит могила,
И кто нам весть загробную сказал?

Де ла Буильери

ИВАНУ КОЗЛОВУ

Мой друг! Увы, не видишь ты;
За то, не правда ль, в утешенье
Святого полон ощущенья
Твой мир душевной красоты?

В восторг приходим мы порой,
Звездой любуясь иль цветами;

Неправда ль, — лучшими лучами
Мерцает свет незримый твой?

Мой друг, ходить не можешь ты;
Скажи же, в силу чьих велений
Витаешь в мире ты видений,
Земной не видя суеты?

Что в том, что шаг наш скор и смел,
Что мы не знаем утомленья?
Всю жизнь нам суждено стремленье, —
И где же наконец предел?

Мой друг, хотя не ходишь ты,
Но нам ты укажи дорогу,
Рассей сомнения тревогу,
Лиши душевной слепоты.

Герейро

ИВАНУ КОЗЛОВУ

Рукой безжалостной навек лишившись зренья,
Ведь птичка-пленница поет еще нежней;
Покровом ночи скрытые мученья
Уже теперь не страшны стали ей!

Тебе ж, певец, — другое утешенье:
В себе самом небесных песен рой
Пробудишь ты, и звуки умиленья
Тебя забыть заставят мир земной!

ПРИМЕЧАНИЯ

Начало литературной деятельности И. И. Козлова совпало с трагическим событием в его жизни: он был разбит параличом и окончательно ослеп. Этим обстоятельством обусловлено отсутствие автографов. Все произведения Козлова были записаны его близкими с голоса, но эти записи, за малыми исключениями, не сохранились.

Первый прижизненный сборник («Стихотворения Ивана Козлова». СПб., 1828) состоит из 48 стихотворений, подавляющее большинство которых было опубликовано в журналах и альманахах. Стремление Козлова подытожить и собрать воедино свое литературное наследие выразилось в издании сборника 1833 г.: «Собрание стихотворений Ивана Козлова. Чч. 1 и 2». СПб., 1833. Сюда вошло почти все, что было опубликовано и заново написано к середине 1832 г. (цензурное разрешение — 4 октября 1832). В 1834 г. вышло второе издание этого сборника, в которое автор не внес никаких изменений.

Первое посмертное издание было подготовлено В. А. Жуковским («Собрание стихотворений Ивана Козлова». Чч. 1 и 2. Третье издание. СПб., 1840). Извещая читателей о предстоящем выходе в свет сочинений Козлова, Жуковский писал, что поэт поручил ему осуществление этого издания. «Приступая к совершению воли его с твердою надеждою на помощь моих соотечественников, я собрал все стихотворения Козлова» («Современник», 1840, т. 18, стр. 87). Действительно, издание 1840 г., по сравнению с предыдущим, пополнилось 48 стихотворениями, часть которых была обнаружена в архиве Козлова и напечатана впервые. Публикуя тексты, извлеченные из журналов, Жуковский во многих случаях подвергал их стилистической правке. Так, он внес незначительные редакционные изменения в стихотворения «К печальной красавице», «Невеста», «Пловец», «Сельская элегия», «Отплытие витязя», «Витязь», «Русская певица», «Эрминия на берегах Иордана», «Первое свидание». В четырех стихотворениях Жуковский счел необходимым сделать большие купюры. Целиком изъята пятая строфа из стихотворения «Бренда», изменено заглавие и изъята вторая строфа из стихотворения «Байрон в Колизее», изъяты первые четыре строфы из стихотворения «Дуб», две строки из стихотворения «Другу весны моей после долгой, долгой разлуки». Издание 1840 г., вопреки предположению Жуковского, оказалось далеко не полным. Только в 1892 г. вышло «Полное собрание сочинений И. И. Козлова», под редакцией Арс. И. Введенского. СПб., издание А. Ф. Маркса. В его основу, по словам редактора, было положено «издание 1840 года, с любовью

и знанием дела исполненное под руководством В. А. Жуковского». Это означает, что А. И. Введенским были также приняты те редакционные изменения текстов, которые произвел Жуковский. Издание 1892 г. пополнилось 26 стихотворениями, обнаруженными «в старых журналах и альманахах», оно снабжено биографическим очерком и краткими примечаниями, в которых дана библиография произведений Козлова, не свободная от отдельных ошибок, но представляющая собой несомненную ценность.

В советское время избранные произведения Козлова трижды — в 1936, 1948 и 1956 гг. — издавались в Малой серии «Библиотеки поэта».

Настоящее издание является полным собранием оригинальных и переводных произведений Козлова. Источниками текста для него послужили: сборник 1833 г., прижизненные журнальные публикации, не вошедшие в указанный сборник, издание 1840 г., имеющее для некоторых стихотворений значение первоисточника, и другие публикации, не включенные ни в один из сборников Козлова. К таковым относятся три стихотворения: «К А. И. Тургеневу» («Моим стихам смеешься ты. . .»), «К Филону», «К господину Александру».

В 1820-х годах было опубликовано несколько стихотворений за подписью «И. Козлов», которые, однако, не принадлежат перу автора «Вечернего звона». Так, например, в № 3 журнала «Вестник Европы» за 1820 г. напечатаны стихотворения «В альбом N.N.» и «К дитяти», с пометой: «Тотьма», в № 9 журнала «Благонамеренный» за 1823 г. — стихотворение «В альбом Л. . . Н. . . Пожарской», помеченное городом Леденгском. В «Енисейском альманахе на 1828 год» напечатаны за той же подписью стихотворения «Кольцо» и «Могила», языковые и стилистические особенности которых резко отличаются от художественной манеры И. И. Козлова.

Книга делится на два основных раздела — стихотворения и поэмы (переводные произведения не выделяются). В каждом из разделов тексты располагаются в хронологическом порядке. В конце книги публикуются приложения, куда включены стихи, написанные Козловым на французском, итальянском и английском языках, вместе с русскими их переводами, а также переводы, приписываемые Козлову.

Подавляющее большинство произведений не датировалось самим поэтом, поэтому за основу датировки, как правило, взяты даты первых публикаций и цензурных разрешений. Когда представлялась возможность, хронология уточнялась по дневниковым записям Козлова, письмам его друзей и знакомых и другим документам. Небольшую группу стихотворений пришлось оставить без датировки, ввиду отсутствия каких бы то ни было сведений о времени их написания. Эти стихотворения помещены в конце первого раздела.

Дата в угловых скобках означает год, не позднее которого, по тем или иным сведениям, написано данное произведение, в том числе и год первой публикации. Предположительные даты сопровождаются вопросительным знаком.

Ссылка на первую публикацию стихотворения без дальнейших указаний на источник текста означает, что стихотворение в позднейших изданиях не подвергалось какой-либо авторской правке и печатается по тексту этой публикации.

Подпись или ее отсутствие в первой публикации указываются во всех случаях, кроме тех, когда стихотворение подписано полным именем Козлова.

Орфография и пунктуация приближены к современным нормам, однако сохранены особенности правописания, имеющие произносительное, стилистическое или смысловое значение.

Условные сокращения, принятые в примечаниях

БдЧ — журнал «Библиотека для чтения».
ГПБ — Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Изд. 1828 г. — Стихотворения Ивана Козлова. СПб., 1828.
Изд. 1833 г. — Собрание стихотворений Ивана Козлова. Чч. 1 и 2. СПб., 1833.
Изд. 1834 г. — Собрание стихотворений Ивана Козлова. Чч. 1 и 2. СПб., 1834.
Изд. 1840 г. — Собрание стихотворений Ивана Козлова. Чч. 1 и 2. СПб., 1840.
ЛП — «Литературные прибавления к Русскому инвалиду».
НА — «Невский альманах».
НЛ — журнал «Новости литературы».
ОА — Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899.
ПД — Пушкинский дом (Институт русской литературы) Академии наук СССР. Рукописный отдел.
СиН — Старина и новизна. Исторический сборник. Книга одиннадцатая. СПб., 1906.
СЦ — альманах «Северные цветы».

СТИХОТВОРЕНИЯ

К Светлане. Впервые — «Сын отечества», 1821, № 44, стр. 177—179. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 66—69. Посвящено любимой племяннице В. А. Жуковского — Александре Андреевне Воейковой (1795—1829), которая была известна в литературных кругах под именем Светланы (Жуковский посвятил ей балладу «Светлана»). А. А. Воейкова, славившаяся умом, образованностью, музыкальным и художественным дарованиями, познакомилась с Козловым в 1818—1819 гг. Это знакомство вскоре перешло в горячую дружбу. Стихотворение было напечатано без имени автора, но снабжено следующим примечанием издателей «Сына отечества»: «Это первый опыт страдальца, в цветущих летах лишившегося ног, а потом зрения, но сохранившего весь жар сердца и силу воображения». П. А. Вяземский, получив от А. И. Тургенева стихотворение «Светлана», писал ему 27 октября 1821 г.: «Стихи Козлова прелестны; много чувства и живости в выражении» (ОА, т. 2, стр. 221).

К стр. 57—59

К А. И. Тургеневу («Моим стихам смеешься ты...»). Впервые — ОА, т. 2, стр. 230. В изд. 1833 г. не вошло. Посвящение к стихотворению «Ночь на реке». Написано в духе посвящения А. А. Воейковой баллады Жуковского «Громобой» из «Двенадцати спящих дев». В письме к П. А. Вяземскому (ноябрь — декабрь 1821 г.) А. И. Тургенев писал: «Пришлю новые стихи Козлова <«Ночь на реке»>. Между тем, вот посвящение оных» (ОА, т. 2, стр. 230). *Тургенев* Александр Иванович (1784—1845) — историк, археограф и публицист, связанный узами приятельства и дружбы почти со всеми выдающимися писателями своего времени. Наряду с Жуковским, он был одним из ближайших друзей Козлова.

Ночь на реке. Перевод стихотворения Ламартина «Le lac». Впервые — «Сын отечества», 1821, № 49, стр. 127—130. В изд. 1833 г. не вошло. Стихотворение подписано: И. К—ъ и снабжено следующим примечанием издателей журнала: «Не надобно, кажется, сказывать почтенным читателям «С<ына> о<течества>», что сие прекрасное стихотворение есть подражание Ламартину и написано меланхолическим певцом элегии «К Светлане», напечатанной в № 44 нашего журнала. Сладость стихов и глубокое чувство горести сохранены в переводе страдальцем-поэтом». *Ламартин* — см. стр. 474.

К другу В<асилию> А<ндреевичу> Ж<уковскому>. Впервые — вместе с поэмой «Чернец», СПб., 1825, стр. 43—64. Печ. по изд. 1833 г., ч. 1, стр. 35—53. Стихотворение было, вероятно, написано в феврале 1822 г. и подверглось очень тщательной редактуре автора. Об этом свидетельствует авторитетный список стихотворения, хранящийся в архиве Жуковского (рукописный отдел ГПБ). Из окончательного текста изъята 81 строка, а 137 стихотворных строк претерпели те или иные изменения. В первоначальном тексте после строк:

Тех мест, где прежнею порой
Я часто ею любовался!

следовало:

Я знаю, что в краях далеких
Под небом ты чужим живал,
Что много славного видал.
Скитался ты в горах высоких —
Прекрасных ужасов предел;
Места очарованья зрел,
Зеркальный Леман где блистает,
Дивясь красивым берегам;
И где по бархатным лугам
Спесиво Реин протекает
И в быстром беге отражает
Развалины зубчатых стен

И башен, рыцарских времен
Почти забытые те зданья,
Лишь оставляющие нам
Их незабвенные преданья.
Уж к пошатнувшимся стенам
Рог звонкий нас не призывает;
Всё пусто в них, всё в тишине,
И витязь юный на коне
С мостов подъемных не съезжает
За милую красу лить кровь,
Но битвы славу и любовь
Невольно путник там мечтает.
Ты видел их, когда же ты
От невозвратного мечты
Их видом в думу погружался,
Твой взор иным развеселялся;
Ты зрел, как близ шумящих вод
Янтарный виноград сбирали,
Как после радостных работ,
Сплетясь в веселый хоровод,
Девицы сельские плясали
И утренней звезды восход,
Резвяся, красные встречали.
В том спору нет, красот полна
Чужая дальная страна,
Но трудно верить, чтоб с родною
Могла сравняться стороною.

Несомненный интерес представляет характеристика Байрона, перекликающаяся с дневниковой записью Козлова и во многом предвосхищающая стихотворение «Бейрон». В первоначальном тексте после строк:

И сердцу сладко напевать
Его утраченное счастье

следовало:

В ночной печали, в тяжкий час
К моей уединенной сени
Слетаются приветно тени
Волшебницы на звонкий глас
Эгмонта, Фауста, Гамлета,
И Валленштейна, и Макбета,
Танкред с Клориндой надо мной
Небесной носятся четой;
Эрмины грусть я разделяю,
На Лару с ужасом взираю;
И Яур с Лейлою своей...
О! признаюсь, певец страстей

Меня всех боле привлекает;
Он чувством душу восхищает,
Он силой поражает ум.
Ах! он — певец сердечных дум,
Таинственной своей тоскою
Им прелесть странную дает
И под туманной пеленою
Нам песнь чудесную поет.
Поет — и чье ж воспоминанье
С его тоскою не слилось,
В какой душе не отдалось
Страдальца рьяное стенанье?
И кто страдать с ним не готов?
Так в ночь из грозных облаков
Ярчее молния сверкает,
Стрелою пламенной летит,
И лес дремучий уж горит;
Уже окрестность вся пылает,
Так огнь его, как огнь небес,
В сердцах пожары зажигает.

По возвращении его из путешествия. Жуковский выехал в свое первое заграничное путешествие 3 октября 1820 г. и вернулся в Россию 29 января 1822 г. *И сей разлуки год унылый, Мой друг, был черным годом мне!* В 1821 г. Козлов окончательно ослеп. *В стране, где посреди снегов* — Швейцария, по которой путешествовал Жуковский. *Светлана* — А. А. Воейкова (см. стр. 443). *И новый ангел-утешитель* — Голицына Мария Аркадьевна (1802—1870), внучка А. В. Суворова, любительница музыки и певица, близкая знакомая Козлова. Пушкин посвятил ей стихотворение «Кн. М. А. Голицыной» («Давно об ней воспоминанье...»). *Когда Карамзина читаем.* Имеется в виду «История государства Российского» Н. М. Карамзина. *Когда над Ниною твоей.* Имеются в виду два стихотворения Жуковского «К Нине».

В альбом***. Вольный перевод стихотворения Байрона «Lines written in an album, at Malta». Впервые — НЛ, 1822, № 12, стр. 191—192, с заглавием: «К С—е». В исправленном виде — НЛ, 1823, № 12, стр. 188—189. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 132. Стихотворение посвящено А. А. Воейковой, что нашло отражение в заглавии первой публикации («К С<ветлан>е»). 21 февраля 1822 г. А. И. Тургенев писал Вяземскому: «Вот газета и стихи слепого Козлова в album ангела Воейковой» (ОА, т. 2, стр. 246). Стихотворение Байрона было также переведено в 1836 г. Лермонтовым с заглавием «В альбом» («Как одинокая гробница...»).

К Эмме. Перевод стихотворения Шиллера «An Emma». Впервые — БдЧ, 1834, т. 4, стр. 109. В изд. 1833 г. не вошло. Написано, вероятно, в мае 1822 г. А. И. Тургенев сообщает Вяземскому 28 мая 1822 г.: «Посылаю перевод Шиллера «An Emma» слепого Козлова»

(ОА, т. 2, стр. 256). Стихотворение Шиллера было переведено Жуковским (1828) и дважды переводилось Лермонтовым: в 1829 и 1836 гг. с заглавием «К Нине».

Пленный грек в темнице. Впервые — НЛ, 1822, № 7, стр. 111—112, с заглавием: «Пленный воин в темнице» и подписью: И. К—в. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 164—166. Стихотворение снабжено примечанием издателей, в котором оно сравнивается с «Шильонским узником» Жуковского. «Сочинитель... выводит на сцену пленника, заключенного в тесных пределах мрачной темницы, в отдалении от всего человечества; пленника, не имеющего никакой вести о любезной родине, ни об успехах оружия храбрых своих единоземцев». 21 апреля 1822 г. стихотворение было послано А. И. Тургеневым Вяземскому в еще не законченном виде, без пятой строфы: «Посылаю тебе Козлова стихи. Последний куплет еще не приделан» (ОА, т. 2, стр. 250). Стихотворение посвящено Александру Ипсиланти (см. вступ. статью, стр. 21).

На рождение Андрюши В<оейкова>. Впервые — «Славянин», 1830, № 2, стр. 140—141. В изд. 1833 г. не вошло. *Воейков* Андрей Александрович (1822—1866) — сын А. Ф. и А. А. Воейковых.

Фея Моргана к Оливьеру. Перевод песни Морганы «C'était un soir. Au fond de sa tourelle» из поэмы французского поэта-элегика и драматурга Шарля-Юбера Мильвуа (1782—1816) «Карл Великий в Павии» (песнь 1). Впервые — НЛ, 1823, № 2, стр. 29—30, с подзаголовком: «Из поэмы Мильвуа „Карл Великий"». Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 144—146. Козлов, вероятно, закончил свой перевод в самом конце 1822 г. А. И. Тургенев в письме к Вяземскому от 9 января 1823 г. сообщает: «Между тем, вот «Моргана» слепца Козлова» (ОА, т. 2, стр. 296).

Романс. Вольный перевод отрывка из поэмы Томаса Мура «Лалла-Рук»: «The veiled prophet of Khorassan. There's a bower of roses by Bendemeer's streem». Впервые — НЛ, 1823, № 5, стр. 79—80, с подзаголовком: «Из поэмы „Лалла-Рук"». Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 150—151. Мур Томас (1779—1852) — английский поэт романтического направления. См. о нем также во вступ. статье, стр. 22.

Сельская сиротка. Перевод стихотворения Суме «La pauvre fille». Впервые — НЛ, 1823, № 8, стр. 126—128, с подзаголовком: «Элегия. Подражание Суме», без шести строк (40—45). Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 147—149. Суме Александр (1788—1845) — французский поэт, примкнувший в начале 1820-х годов к кружку реакционных романтиков.

Молодой певец. Перевод стихотворения Томаса Мура «The Minstrel boy» из цикла «Ирландские мелодии». Впервые —

НЛ, 1823, № 43, стр. 61, с подзаголовком: «Ирландская песня Томаса Мура» и примечанием к последней строке: «Во время нашествия норманнов на Ирландию». Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 172. *Меч-кладенец* — в русской народной поэзии меч, обладающий чудесными свойствами.

Прости. Вольный перевод стихотворений Байрона «Fare thee well! And if for ever. . .». Впервые — «Сын отечества», 1823, № 18, стр. 182—184. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 230—234. Первоначальный текст перевода подвергся значительной переработке и сокращению. 7-я строфа в журнале читается так:

Твое — то ж чувство сохраняет,
Мое — тобой же рвется жить,
И мысль всё вечное терзает,
Что нам нельзя уж вместе быть.

Строфы 8—11 имеют иную и более расширенную редакцию:

О! Сколь ни горестны стенанья
Над гробом друга в страшный час,
Навек с утраченным прощанья,
Но вздумать горестней для нас,

Что нам с душой осиротелой
Жизнь нашу розно доживать
И на постеле овдовелой
В тоске обоим день встречать.

Когда ж ты в час отрадный станешь
Младенца нашего ласкать,
Как имя ей отца помянешь?
А ей отцовских ласк не знать!

И в те минуты, как играет
Дитя невинное с тобой,
Тебя ручонкой обнимает
За поцелуй прелестный твой,

Ах! вспомни ты об том, кто благость
Небес лишь об тебе молил
И кто небесную же радость
В любви твоей бы находил.

И если сходство в ней найдется
С тем, взор кого не узрит твой,
Твое вдруг сердце встрепенется,
И трепет сердца — будет мой.

Стихотворение Байрона, написанное в марте 1816 г., адресовано покинувшей его жене Анабелле Мильбэнк. Семейный конфликт, приобретший скандальную огласку, послужил поводом для травли

великого поэта со стороны господствующих классов Англии. 25 апреля 1816 г. Байрон навсегда покинул свою родину. *Коллеридж* — Кольридж Сэмюэл-Тэйлор (1772—1834), английский поэт-романтик реакционного направления. Сюжет его поэмы «Кристабель» заимствован из эпохи средневековья. Байрон, бывший идейным противником Кольриджа, высоко оценивал эту поэму.

К радости. Впервые — «Полярная звезда» на 1824 год, стр. 95—96. (Цензурное разрешение — 20 декабря 1823 г.) Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 103—104.

Добрая ночь. Перевод 13-й строфы 1-й песни поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». Впервые — СЦ на 1825 год, стр. 269—273, с заголовком: «Good night. Добрая ночь». (Цензурное разрешение — 9 августа 1824 г.) Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 120—124.

Сон невесты. Впервые — там же, стр. 302—304. В 1829 г. в «Листках граций, или Собрании стихотворений для альбомов» было напечатано стихотворение Козлова «Утешение», являющееся парафразой на первое четверостишие 6-й строфы баллады «Сон невесты»:

Миг страданья пронесется:
Грозный час не навсегда!
И над бездною зажжется
Лучезарная звезда! ..

Киев. Впервые — там же, стр. 314—316, без подписи. *Владимир* — Владимир Святославич (ум. 1015), великий князь Киевский, принявший (ок. 988) христианство, которое было объявлено им государственной религией. *Баян* — легендарный древнерусский поэт, упоминаемый в «Слове о полку Игореве».

Ирландская мелодия («Луч ясный играет на светлых водах. . .»). Перевод стихотворения Томаса Мура «As a beem o'er the face of the waters may glow. . .» из цикла «Ирландские мелодии». Впервые — там же, стр. 318, с заглавием: «Ирландская песня. Из Мура». Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 171.

К княгине М. А. Голицыной. Впервые — там же, стр. 329—331, с заглавием: «К кн. М. А. Г., урожденной к<няжне> С<уворовой>». Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 127—128. *Голицына* — см. стр. 446.

Бейрон. Впервые — НЛ, 1824, кн. 10, декабрь, стр. 85—90. В изд. 1833 г. не вошло. Написано на смерть Байрона, последовавшую 19 апреля 1824 г. в Миссолунгах, в Западной Греции. Известие о смерти великого английского поэта дошло до Петербурга и Москвы в мае. Оно произвело огромное впечатление в передовых кругах русского общества. 26 мая 1824 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу:

К стр. 88

«Какая поэтическая смерть — смерть Байрона! Он предчувствовал, что прах его примет земля, возрождающаяся к свободе, и убежал от темницы европейской. Завидую певцам, которые достойно воспоют его кончину. Вот случай Жуковскому! Если он им не воспользуется, то дело кончено: знать, пламенник его погас. Греция древняя, Греция наших дней и Байрон мертвый — это океан поэзии! Надеюсь и на Пушкина» (ОА, т. 3, стр. 48—49). Козлов, потрясенный смертью Байрона, вероятно, написал свое стихотворение в период между маем и июлем 1824 г. Вяземский в письме к А. И. Тургеневу от 13 августа уже цитировал это стихотворение, которое ему было известно в рукописи, ибо оно было напечатано лишь в декабрьской книжке НЛ. Стихотворение, видимо, подвергалось серьезной правке. В письме к Козлову, которое датируется июлем—августом 1824 г., Жуковский писал: «Милый друг, твой «Бейрон» мне очень понравился. Я очень доволен формою, но желал бы некоторые излишки убавить. Об них скажу тебе при свидании. Пиесы самой к тебе не посылаю, ибо она у Тургенева, и он обещал ее сам к тебе доставить» («Русский архив», 1886, № 2, стр. 182). Можно с уверенностью утверждать, что Жуковского насторожили вольнолюбивые мотивы стихотворения и именно их он имел в виду, говоря о необходимости «убавить» «некоторые излишки». Не случайно «Бейрон» не вошел в посмертное издание 1840 г., которое редактировалось Жуковским. Несомненно, что по его совету стихотворение не было включено и в прижизненные сборники Козлова, вышедшие после переломного 1825 года. Само собой разумеется, что это было сделано не по художественным соображениям. «Не понимаем, — писал Белинский, — почему Козлов никогда не включал в собрания своих сочинений своей поэмы «Байрон», посвященной Пушкину... Эта поэма есть апофеоза всей жизни Байрона; в целом она не выдержана, но отличается поэтическими частностями» (В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 5. М., 1954, стр. 77). Эпиграф взят из 137-й строфы 4-й песни поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». *Альбион* — Англия. *Скитался он долго в восточных краях.* В 1809—1811 гг. Байрон путешествовал по Европе и Ближнему Востоку. *Мальвина.* Под этим условно-поэтическим именем подразумевается Анабелла Мильбэнк, невеста Байрона, на которой он женился в январе 1815 г. *И дочь не играла на сердце родном!* Развод Байрона в 1816 г. разлучил его с любимой дочерью Адой (1815—1852). В 9-й строфе стихотворения Козлова звучат отдельные мотивы, заимствованные из обращения Байрона к дочери в 115—118-й строфах 3-й песни «Паломничества Чайльд-Гарольда». *Мальвина в раздумье сидела.* Козлов идеализирует жену Байрона («Мальвину»), имея в виду лирико-патетическое байроновское стихотворение «Прости», но перу Байрона принадлежат также другие стихотворения («Очерк», эпиграмма, озаглавленная «Надпись на обороте разводного акта в апреле 1816 г.»), в которых дается резко отрицательная, уничтожающая характеристика Анабеллы Мильбэнк. *Он первый на звуки свободных мечей.* В июне 1823 г. Байрон отправился в Грецию для непосредственного участия в национально-освободительной войне против турецкого владычества.

Венецианская ночь. Впервые — «Полярная звезда» на 1825 год, стр. 312—315. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 83—88. Вскоре после появления в печати стихотворение приобрело широкую популярность. Оно прочно вошло в музыкальный быт. Так, например, А. П. Керн, жившая летом 1825 г. в Тригорском, пела «Венецианскую ночь» «на голос гондольерского речитатива», как об этом сообщал Пушкин в письме к Плетневу (ок. 19 июля 1825 г.). Характерно, что М. И. Глинка, будучи в начале тридцатых годов в Венеции, вспомнил о стихотворении Козлова и положил на музыку его первые три строфы. *Плетнев* Петр Александрович (1792—1865) — поэт и критик, близкий друг Козлова. *...напев Торквата Гармонических октав.* Венецианские гондольеры пели мелодии на стихи из поэмы Торквато Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим», написанной октавами (строфа, состоящая из восьми строк). *Баркарола* — песня лодочника, рыбака; название вокальных и инструментальных пьес певучего характера. Строфы 4—12 стихотворения, вероятно, навеяны эпизодами из жизни Байрона в Венеции, куда он переехал из Англии в 1816 г. Байрон назван «исступленным певцом», певцом «свободы и любви». В образе «красавицы младой», по-видимому, отразились романтические представления Козлова о графине Терезе Гвиччиоли, возлюбленной Байрона, с которой он расстался, отправившись в свое последнее путешествие в Грецию.

Два отрывка из «Освобожденного Иерусалима». *Муравьев-Апостол* Иван Матвеевич (1765—1851) — дипломат и писатель, отец декабристов Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов.

1. Смерть Клоринды. Вольный перевод 66—69-й строф 12-й песни поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». Впервые — изд. 1833 г., ч. 2, стр. 243—244. *Клоринда* — сарацинская дева-воительница, сражающаяся против крестоносцев, осаждающих Иерусалим. Христианский рыцарь Танкред, любящий Клоринду, вступает с ней в бой, не узнав ее под воинскими доспехами. Он наносит ей смертельную рану. Умирающая Клоринда просит Танкреда окрестить ее перед смертью. Первые строки стихотворения — обращение раненой Клоринды к Танкреду.

2. Видение Танкреда. Вольный перевод 90—93-й строф 12-й песни поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». Впервые — СЦ на 1826 год, стр. 30—31, с заглавием: «Явление Клоринды Танкреду. Из „Освобожденного Иерусалима"». (Цензурное разрешение — 25 февраля 1826 г.) Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 245—246. *Об ней зарей и вечером об ней.* Имеется в виду Клоринда (см. примеч. к первому отрывку). *Ты дал мне всё.* Имеется в виду обряд крещения, совершенный Танкредом над умирающей Клориндой.

Княжне С. Д. Радзивил. Впервые — там же, стр. 95—96, с заглавием: «Княжне С. Р—л». Печ. по изд. 1833 г., ч. 2,

стр. 129—130. Стихотворение в СЦ снабжено стихотворным пост-скриптумом П. А. Плетнева:

Так в привиденьи идеала
Ему представилася ты,
И кисть поэта срисовала
Твои воздушные черты.

Его потухнувшие очи
Печальною покрыты мглой;
Но и во мраке тяжкой ночи
Он видел ясно образ твой.

Еще он видит, что прекрасно,
Как мы на темных небесах
Осенней ночью месяц ясный
Видаем в тонких облаках.

Радзивил кн. Стефания Доминиковна (1809—1832) — впоследствии жена графа Л. П. Витгенштейна (сына фельдмаршала П. Х. Витгенштейна). Козлов в стихотворении «Жалоба», относящемся к 1832 г., оплакивает раннюю смерть Радзивил-Виттенштейн.

К Н. И. Гнедичу. Впервые — там же, стр. 84—87, с заглавием: «Стансы к Николаю Ивановичу Гнедичу (На Кавказ и Крым)». Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 99—102. *Н. И. Гнедич* (1784—1833) — поэт и переводчик, один из близких друзей Козлова. Лето 1825 г. Гнедич провел на Кавказе. Это обстоятельство послужило поводом для написания «Стансов». *Хиосского слепца внимал ли песнопенья Восторженный Кавказ?* Имеется в виду «Илиада» Гомера («Хиосского слепца»), переведенная Гнедичем. *Похититель небесного огня* — Прометей. Согласно греческому мифу, титан-богоборец Прометей похитил огонь с Олимпа и принес его людям, за что был по приказу разгневанного Зевса прикован к кавказской скале. *Громовержец* — Зевс. *Салгир* — река в Крыму. *Северный певец* — А. С. Пушкин. *Далекие берега* — Турция. *Геллеспонт* — древнегреческое название Дарданелл. *Свободы меч.* Речь идет о национально-освободительной войне в Греции, начавшейся в 1821 г. *Вещий певец* — Байрон.

Еврейская мелодия («Бессонного солнце, в тумане луна! ..»). Перевод стихотворения Байрона «Sun of the sleepless! ..» из цикла «Еврейские мелодии». Впервые — там же, стр. 115. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 161. Первоначальным вариантом этого перевода является опубликованное в 1823 г. в НЛ, № 12 стихотворение «К звезде в бессонную ночь», не включенное Козловым в изд. 1833 г.:

Звезда, приветный свет тоски моей!
Уныло ты горишь во тме ночей;
И трепетно в такой дали мерцаешь!

Ты мрак один лишь только умножаешь, —
Всё призраков ночь страшная полна!
С бывалою ты радостью сходна;
Так прежних дней и благ воспоминанье,
Как томное твое, звезда, сиянье,
Обманчивой отрадою манит,
Волнует дух, а сердце не живит.
Так и звезда во тме чуть пламенеет,
Горит вдали, блистает, — но не греет.

На погребение английского генерала сира Джона Мура. Перевод стихотворения ирландского поэта Чарльза Вольфа (1791—1823) «The burial of sir J. Moore». Впервые — там же, стр. 120—121. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2., стр. 81—82. *Джон Мур* (1761—1809) — генерал, командовавший английскими войсками в Португалии во время войны с Наполеоном. *Перун вестовой* — пушечный выстрел.

На отъезд. Впервые — НЛ, 1825, кн. 11, март, стр. 150—151, с заглавием: «Стихи, написанные лордом Бейроном в альбом одной молодой итальянской графини за несколько недель до отъезда своего в Мессолунги». Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 133. Какие именно стихи Байрона имеет в виду Козлов, установить не удалось. «Молодая итальянская графиня» — это, по-видимому, Тереза Гвиччиоли, возлюбленная Байрона. Н. Н. Бахтин высказал предположение, что это стихотворение не является переводом, а принадлежит самому Козлову (см. картотеку Н. Н. Бахтина в ПД).

К Италии. Впервые — НЛ, 1825, кн. 11, апрель, стр. 51—53, с заглавием: «Италия». Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 94—97. Стихотворение навеяно отдельными образами и мотивами из 4-й песни поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда», посвященной Италии, которую Байрон страстно любил и вдохновенно воспел. Так, например, 6-я строфа стихотворения Козлова является некоей вариацией 42-й строфы 4-й песни «Чайльд-Гарольда». *Торкватова земля* — Италия, где жил и творил Торквато Тассо. *Развенчанная царица волн морских* — Венеция, которую называли «царицей Адриатики». *Хищный притеснитель.* Козлов имеет в виду Наполеона, а Байрон заклеймил австрийских правителей, которым с 1815 г. принадлежала Венеция. *Орфей полуночной страны* — В. А. Жуковский. *Прах незабвенной.* Имеется в виду скончавшаяся в 1823 г. любимая племянница Жуковского Мария Андреевна Протасова (род. 1793), в замужестве — Мойер. *Певец Ерусалима* — Торквато Тассо, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим».

Княгине З. А. Волконской. Впервые — НЛ, 1826, январь, стр. 38—39, с заглавием: «Ее сиятельству княгине Зенеиде Александровне Волконской» и итальянским эпиграфом: «Il tuo cantar che nol' anima si sente» <Твое пение отдается в душе>. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 106—107. Написано не позднее апреля 1825 г. Об этом свидетельствует дневниковая запись Козлова от

16 апреля 1825 г.: «Я отправился к княгине Белосельской на свидание с кн. Зинаидой Волконской. Эта прелестная Зинаида выказала мне трогательную нежность. Я ей сказал стихи, ей посвященные» (СиН, стр. 46). *Волконская* Зинаида Александровна (1792—1862)— поэтесса, композитор и певица. Ее московский салон посещали выдающиеся писатели, музыканты и художники. Пушкин в 1827 г. посвятил ей стихотворение «Княгине З. А. Волконской» («Среди рассеянной Москвы...»). *Пери* — в персидской мифологии дух добра, воплощенный в образе крылатой женщины. Козлов сравнивает Волконскую с пери, воспетой Томасом Муром в поэме «Лалла-Рук».

Разбойник. Перевод строф 16—18 поэмы Вальтера Скотта «Рокби». Впервые — «Московский телеграф», 1825, № 8, стр. 276—279, с подзаголовком: «Из Вальтера Скотта», без подписи. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 112—116. Перевод закончен 6 января 1825 г. Об этом сказано в дневниковой записи Козлова от этого числа: «Я перевел прелестную балладу Вальтера Скотта» (СиН, стр. 45). Стихотворение было послано в «Московский телеграф» и, по-видимому, затерялось. Только 17 марта 1825 г. Вяземский написал А. И. Тургеневу: «Сейчас нашел балладу «Разбойник» и отдал в „Телеграф"» (ОА, т. 3, стр. 106).

Плач Ярославны. Впервые — «Дамский журнал», 1825, № 23, стр. 180—182, с подзаголовком: «Вольное подражание». Датировано 11 октября <1825>. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 89—92. Мысль о переложении на современный русский язык отрывка из «Слова о полку Игореве» была, вероятно, подсказана Козлову Жуковским, который в 1819 г. закончил перевод всей поэмы, не опубликовав его в печати. *З. А. Волконская* — см. выше.

Молодая узница. Перевод стихотворения Андре Шенье «La jeune captive». Об Андре Шенье см. стр. 469. Впервые — НА на 1827 год, стр. 46—49. (Цензурное разрешение — 27 октября 1826 г.) Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 157—160.

Разорение Рима и распространение христианства. Впервые — СЦ на 1827 год, стр. 227—229, с заглавием: «Подражание Шатобриану о разорении Рима и о восстановлении христианства. Отрывок, посвященный Александру Ивановичу Тургеневу». (Цензурное разрешение — 18 января 1827 г.) Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 63—65. Источником стихотворения послужили «Исторические этюды, или Рассуждения о падении Римской империи» Шатобриана (см. о нем стр. 469). Начиная с 19-й строки Козлов довольно близко воспроизвел последний абзац второй части шестого этюда. *А. И. Тургенев* — см. стр. 444.

Новые стансы («Прости! уж полночь; над луною...»). Впервые — «Московский телеграф», 1827, ч. 13, стр. 95, с заглавием: «Стансы». (Цензурное разрешение — 3 января 1827 г.) Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 264—265, с исправлением опечаток по НА.

Венгерский лес. Впервые — НА на 1827 год, стр. 89—97 (ч. 1) и НА на 1828 год, стр. 4—14 (ч. 2). Печ. по изд. 1833 г., ч. 1, стр. 149—175. В. Г. Белинский дал следующую оценку «Венгерскому лесу»: «Что до баллады, — кроме хороших стихов, она не имеет никакого значения, ибо принадлежит к тому ложному роду поэзии, который изобретает небывалую действительность, выдумывает Велед, Изведов, Останов, Свежанов, никогда не существовавших, и из славянского мира создает немецкую фантастическую балладу» (В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 5. М., 1954, стр. 72).

К Филону. Впервые — в книге: Н. В. Соловьев. «История одной жизни. А. А. Воейкова — „Светлана"». П., 1916, стр. 155—156. Написано по мотивам стихотворения Байрона «If that high world. . .» из цикла «Еврейские мелодии». Как сообщает Н. В. Соловьев, стихотворение было послано Козловым А. А. Воейковой, жившей в это время в Петербурге, вместе с запиской без года и числа. Это могло быть не позже 1827 г., так как в августе этого года Воейкова выехала за границу, где и скончалась. Впоследствии Козлов вновь обратился к этому стихотворению Байрона, переведя его под названием «Еврейская мелодия» («Когда в нетленном мире том. . .»). См. примеч., стр. 474.

Вечерний звон. Перевод стихотворения Томаса Мура «Those evening bells. . .». Впервые — СЦ на 1828 год, стр. 29—30. (Цензурное разрешение — 3 декабря 1827 г.) Положено на музыку А. Т. Гречаниновым и Станиславом Монюшко. *Т. С. Вдмрв-ой.* Посвящено Татьяне Семеновне Вейдемейер (ум. 1863), близкому другу семьи Козловых. В письмах П. А. Вяземского, А. И. Тургенева она обычно фигурирует под именем Темиры.

«Над темным заливом, вдоль звучных зыбей. . .». Вольный перевод стихотворения Андре Шенье «Pres des bords où Venise est reine de la mer. . .». Впервые — НА на 1828 год, стр. 54—55, с заглавием: «Вольное подражание Андрею Шенье». (Цензурное разрешение — 9 декабря 1827 г.) Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 155—156. Это стихотворение Шенье было также переведено в 1827 г. Пушкиным («Близ мест, где царствует Венеция златая. . .») и напечатано вместе с переводом Козлова в НА. *Лепцельтерн* гр. Зинаида Ивановна (урожд. Лаваль) — жена австрийского посланника в Петербурге. *Ринальд, Танкред, Эрминия* — герои «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо.

Обворожение. Перевод песни духа из драматической поэмы Байрона «Манфред» (акт 1, сцена 1). Впервые — там же, стр. 347—350, с подзаголовком: «Из лорда Бейрона». Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 134—137. *Вяземский* кн. Петр Андреевич (1792—1878) — поэт и критик.

Бессонница. Вольный перевод стихотворения Томаса Мура «Oft, in the stilly night. . .». Впервые — «Славянин», 1827, № 5,

стр. 79—80, с подзаголовком: «Из Мура. Вольное подражание» и с авторской датой: «Января 22 дня» <1827>. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 167—168. О Томасе Муре см. на стр. 447.

Ночь в замке Лары. Перевод 10—15-й строф 1-й песни поэмы Байрона «Лара». Впервые — «Славянин», 1827, № 14, стр. 26—30, с авторской датой: «Февраля 7 дня 1827». Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 72—77. Вяземский писал Козлову 9 июля 1827 г.: «С большим удовольствием читал я ваши опыты перевода «Лары» и просил бы вас очень — продолжать» («Русский архив», 1886, № 2, стр. 186). Н. Полевой также откликнулся на перевод из «Лары»: «Козлов скоро, может быть, обогатит русскую словесность переводом байроновской поэмы «Лара». Мы читали отрывок сего перевода в «Славянине» и отдаем полную справедливость способностям переводчика» («Московский телеграф», 1827, ч. 15, стр. 57). Однако Козлов ограничился сценой галлюцинации графа Лары; по-видимому, его отпугнула картина антифеодального народного восстания, изображенная во второй песне поэмы. *Могла б в венке Диана их носить; Могла б любви невинность подарить.* Богиня охоты Диана рисуется в римской мифологии как целомудренная богиня-девственница. *Полустолбцы* — старинные свитки.

«Давно, прелестная графиня...». Впервые — «Листки граций, или Собрание стихотворений для альбомов», М., 1829, стр. 7—9. (Цензурное разрешение — 25 ноября 1828 г.) В изд. 1833 г. не вошло. Кому адресовано стихотворение, установить не удалось. *Киприды сын* — Эрот, бог любви в греческой мифологии. Киприда — одно из имен Афродиты, богини любви и красоты. *Терпсихора* (греч. миф.) — одна из девяти муз, покровительница танца.

Подражание сонету Мицкевича. Вольный перевод сонета Адама Мицкевича «Rezygnacja» из цикла «Любовные сонеты». Впервые — СЦ на 1829 год, стр. 57—58, с заглавием: «Стансы. Вольное подражание Адаму Мицкевичу». (Цензурное разрешение — 27 декабря 1828 г.) Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 287—288.

Заря погасла. Впервые — там же, стр. 126.

Безумная («Меня жестокие бранят...»). Впервые — НА на 1829 год, стр. 9—10. (Цензурное разрешение — 27 декабря 1828 г.) Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 162—163.

К морю. Перевод 178—183-й строф 4-й песни поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». Впервые — изд. 1828 г., стр. 5—8. Стихотворение К. Н. Батюшкова «Есть наслаждение и в дикости лесов...» (1819—1820), высоко оцененное Пушкиным, также является вольным переводом 178-й строфы 4-й песни «Чайльд-Гарольда»; оно было опубликовано в СЦ на 1828 год и, возможно, натолкнуло Козлова на мысль написать стихотворение «К морю». *Армаду гордую и Трафальгарский флот.* «Непобедимая армада» — флот испан-

ского короля Филиппа II, снаряженный в 1588 г. против Англии и почти уничтоженный бурей. В морском сражении у мыса Трафальгар 21 октября 1805 г. английский флот нанес решительное поражение франко-испанскому флоту.

Ирландская мелодия («Когда пробьет печальный час...»). Вольный перевод стихотворения Томаса Мура «At the mid hour of night». Впервые — там же, стр. 134—136.

Португальская песня. Перевод стихотворения Байрона «From the portuguese». Впервые — там же, стр. 46. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 98. Положено на музыку А. С. Даргомыжским. Посылая своему дальнему родственнику П. С. Шишкину «Португальскую песню», Козлов писал ему 7 сентября <1828>: «Вот вам португальская песня... Я буду очень рад, если этот мой перевод из Байрона доставит вам удовольствие. Я полагаю, что месяца через два мои мелкие стихотворения будут напечатаны» («Звенья», т. 9. М., 1951, стр. 484; оригинал по-французски). Не подлежит сомнению, что письмо следует датировать 1828 г., так как первый сборник, состоявший из «мелких стихотворений», вышел в 1828 г.

К А. А. Олениной. Впервые — там же, стр. 100—101. *Оленина* Анна Алексеевна (1808—1888) — дочь президента Академии художеств А. Н. Оленина. В 1828—1829 гг. за ней ухаживал Пушкин, посвятивший ей ряд стихотворений («Ты и вы», «Ее глаза», «Предчувствие», «Город пышный, город бедный...»). Список стихотворения Козлова находится в альбоме Олениной и датирован ею 8 июля 1828 г. П. М. Устимович ошибочно приводит его как неизданное («Русская старина», 1890, № 8). *Приютинские леса.* Имеется в виду имение Олениных Приютино под Петербургом.

К Тирзе («К чему вам, струны, радость петь?..»). Вольный перевод стихотворения Байрона «Away, away, ye notes of woe!..» Впервые — там же, стр. 102—103.

К Тирзе («Решусь — пора освободиться...»). Вольный перевод стихотворения Байрона «One struggle more, and I am free...» Впервые — там же, стр. 104—107.

При гробнице Цецилии М. Перевод 104—105-й строф 4-й песни поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». Впервые — там же, стр. 40—41. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 93. *Цецилия М.* — Цецилия Метелла, жена римского богача Красса, воздвигнувшего ей великолепную гробницу.

«Не на земле ты обитаешь...» Вольный перевод 121-й строфы 4-й песни поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». Впервые — там же, стр. 57, с заглавием: «Подражание Байрону». Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 105.

Песнь попугая. Вольный перевод 14—15-й строф 16-й песни «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо. Впервые — там же, стр. 90—91. В 1824 г. в № 4 «Соревнователя просвещения и благотворения» был опубликован первоначальный вариант перевода этих же строф (песнь попугая в волшебных садах Армиды) под названием «Подражание Тассу» (в изд. 1833 г. этот перевод Козлов не включил):

Deh mira, egli cantò, spuntar la rosa [1]

(Из «Освобожденного Иерусалима»)

Смотрите, на полях как роза расцветает
И девой робкою таится и цветет!
Полраспущённая, едва свой блеск являет, —
Чем меньше на виду, тем больше в ней красот;
Вот, обнаженная, красуяся, блистает, —
Вот стала увядать, и уж цветок не тот:
Не тот уже цветок, очей и сердца радость,
Который так пленял и красоту, и младость!

Ах, с быстротою дня навек, навек умчится
И нашей юности минутный блеск и цвет!
На сонные поля май светлый возвратится,
Но радостной весны для нас — другой уж нет.
Срывайте же цветы, доколе день не тмится
И солнце раннее нам льет блестящий свет!
Спешите же любить порою той прекрасной,
Когда взаимный жар рождает пламень страстный.

Утро и вечер. Перевод стихотворения Адама Мицкевича «Ranek i wieczór». Впервые — там же, стр. 116—117.

К Альпам. Вольный перевод стихотворения французского поэта и драматурга Жана-Франсуа Дюси (1733—1816) «Formidables remparts d'inégale structure...» Впервые — там же, стр. 118.

Ночной ездок. Впервые — там же, стр. 71—72.

Сонет святой Терезы. Вольный перевод сонета, приписываемого испанской католической писательнице Тересе де Хесус (настоящее имя — Тереса де Сенеда-и-Аумада, 1515—1582) «No me mueve, mi Dios, para quererte...» Впервые — там же, стр. 73—74.

П. Ф. Балк-Полеву («Друг, ты прав: хотя порой...»). Впервые — там же, стр. 16—17. *Балк-Полев* Петр Федорович (ум. 1849) — дипломат, был близок к литературным кругам Петербурга.

---

[1] Взгляни, он пел, как расцветает роза (итал.). — *Ред.*

Крымские сонеты Адама Мицкевича

Цикл «Крымских сонетов», вошедший в книгу Адама Мицкевича (1798—1855) «Сонеты», был напечатан на польском языке в Москве, в конце 1826 г. «Крымские сонеты» быстро приобрели широкую известность в литературных, а затем и в читательских кругах. Одним из горячих пропагандистов поэзии Мицкевича был П. А. Вяземский. В начале 1827 г. он сделал прозаический перевод «Крымских сонетов», сопроводив его статьей, в которой дана очень высокая оценка художественным достоинствам сонетов. Не без влияния Вяземского Козлов начал в 1827 г. переводить «Крымские сонеты», причем некоторые из них он опубликовал до отдельного издания. Наряду с переводами Козлова, в альманахах и журналах 1827—1828 гг. начали появляться переводы А. Илличевского, Ю. Познанского, В. Щастного. Козлов завершил работу над переводом всего цикла «Крымских сонетов» в 1828 г. Об этом свидетельствует сообщение, напечатанное в № 24 «Московского телеграфа» за 1828 г.: «Можем порадовать читателей наших известием, что творец «Чернеца» и стольких прекрасных стихотворений вскоре подарит их новым трудом своим: он перевел все «Крымские сонеты» Мицкевича и печатает их особою книжкою». Эта «особая книжка» вышла в свет в 1829 г. («Крымские сонеты Адама Мицкевича. Переводы и подражания Ивана Козлова». Издал книгопродавец Непейцын. Санкт-Петербург, 1829). Но до этого «Крымские сонеты» Козлова были известны в списках. Этому, в частности, способствовал Вяземский, сообщивший 2 января 1828 г. Козлову следующее: «До сей поры не написал я предисловной статьи к вашему переводу сонетов Мицкевича... Между тем, чтобы доказать вам, что ваши сонеты у меня на сердце, скажу, что читал их недавно на академическом обеде у княгини Зенеиды <Волконской>, которая слушала их с большим удовольствием, и сама вам то повторит скоро, потому что собирается ехать в Петербург» («Русский архив», 1886, № 2, стр. 183). Вяземский сдержал свое обещание и написал «предисловную статью» к отдельному изданию «Крымских сонетов» 1829 г. В ней, помимо разбора сонетов, с большой похвалой говорится о Пушкине, который перевел отрывок из вступления к поэме Мицкевича «Конрад Валленрод» и тем самым «освятил своим именем начало сего желаемого союза между польскою и русскою музою». А затем Вяземский переходит к переводу Козлова: «Ныне другой поэт, коего дарование уже ознаменовалось во многих произведениях, увлеченный также вдохновениями польского поэта, хотел нам передать их в переводе, близком по возможности, или в подражании, сохраняющем главные мысли и господствующий колорит подлинника. Здесь не место ни похвалам исполнению в общем, ни критическим замечаниям частным, к коим могут подать повод опыты, здесь предлагаемые. Можно только надеяться, что любители русской поэзии примут с новым удовольствием и с новою признательностию дар любезного им поэта, а знатоки искусства оценят с должною справедливостью побеждение трудностей, которые предстояли русскому переводчику в состязании с поэтом смелым, сжатым и своенравным, каков г-н Мицкевич,

а особливо в своих «Крымских сонетах» («Введение», стр. 11—12). Отдельное издание «Крымских сонетов» осуществлялось при участии издателя «Московского телеграфа» Н. А. Полевого, к которому Козлов обратился 16 декабря 1828 г. с просьбой «...неотменно сказать на первом листу, что сии подражания посвящены мною Адаму Мицкевичу, что прошу вас сделать, если даже они уже и печатаются; очень легко будет лист безнумерный вклеить после заглавия» («Русское обозрение», 1893, № 6, стр. 821).

Аккерманские степи. Перевод сонета «Stepi Akermańskie». Впервые — «Московский телеграф», 1828, № 3, стр. 323. *Лампа Аккермана* — маяк, расположенный вблизи Аккермана. *Литва* — родина Адама Мицкевича, откуда он был в конце 1824 г. выслан за участие в тайной патриотической организации «филаретов».

Морская тишь на высоте Тарканкута. Перевод сонета «Cisza morska». Впервые — изд. 1829 г., стр. 3—4. *Тарканкут* — возвышенность на Тарханкутском полуострове западной части Крыма. *Рамена* — плечи.

Плавание. Перевод сонета «Żegluga». Впервые — там же, стр. 5—6.

Буря. Перевод сонета «Burza». Впервые — там же, стр. 7—8. *Верьви* — веревки.

Вид гор из степей Козловских. Перевод сонета «Widok gór ze stepów Kozłowa». Впервые — «Альбом северных муз. Альманах на 1828 год», стр. 344—345. Этот сонет Мицкевича был в 1834 г. переведен М. Ю. Лермонтовым. *Козлов* — искаженное название турецкой крепости Гёзлев, находившейся в Крыму на месте нынешней Евпатории. *Мирза* — почетный титут высокопоставленных персидских чиновников.

Бахчисарайский дворец. Перевод сонета «Bakczysaraj». Впервые — изд. 1829 г., стр. 11—12. *Развалина начерчено.* Имеется в виду библейское сказание о таинственной надписи на стене пиршественного зала вавилонского царя Валтасара, предвещавшей ему гибель.

Бахчисарай ночью. Перевод сонета «Bakczysaraj w nocy». Впервые — там же, стр. 13—14. *Диван* — совет; в Османской империи — совет при султане или при великом визире.

Гробница Потоцкой. Перевод сонета «Grób Potockiej». Впервые — там же, стр. 15—16. «Недалеко от дворца ханов возвышается могила, устроенная в восточном вкусе, с круглым куполом. Есть в Крыму народное предание, что памятник этот был поставлен Керим-Гиреем невольнице, которую он страстно любил. Говорят, что

эта невольница была полька из рода Потоцких. Автор прекрасно и с эрудицией написанной книги «Путешествие по Тавриде» Муравьев-Апостол полагает, что предание неосновательно и что могила хранит останки какой-то грузинки. Не знаем, на чем он основывает свое мнение, ибо утверждение его, что татарам в половине XVIII столетия нелегко было бы захватить невольницу из рода Потоцких, неубедительно. Известны последние волнения казаков на Украине, когда немалое число народа было уведено и продано соседним татарам. В Польше много шляхетских семейств, носящих фамилию Потоцких, и невольница могла и не принадлежать к знаменитому роду властителей Умани, который был менее доступен для татар и казаков. На основе народного предания о Бахчисарайской могиле русский поэт Александр Пушкин с присущим ему талантом написал поэму „Бахчисарайский фонтан"» (примечание А. Мицкевича. Перевод М. Живова. Здесь и далее примечания Мицкевича даются по книге: Адам Мицкевич. Собрание сочинений в 5 томах. Т. 1. М., 1948).

Могилы гарема. Перевод сонета «Mogiły haremu». Впервые — там же, стр. 17—18. *Мирза* — см. стр. 460. *Перлы драгоценные.* Имеются в виду юные девушки Востока. *Бунчук* — конский хвост на древке, служивший полковым знаменем в турецкой коннице. *Белеет столп с чалмою грустною.* Имеется в виду надгробие в виде каменной чалмы. *Гяур* — мусульманское наименование иноверца.

Байдары. Перевод сонета «Bajdary». Впервые — там же, стр. 19—20. *Байдары* — Байдарская долина в юго-западной части Крыма, вблизи Севастополя.

Алушта днем. Перевод сонета «Ałuszta w dzień». Впервые — там же, стр. 21—22. *Намаз* — «молитва мусульман, которую они совершают, сидя и кладя поклоны» (примечание А. Мицкевича). *Калиф* или халиф — титул духовного главы мусульман; позднее — титул турецких султанов. *Алмазный намет* — узор.

Алушта ночью. Перевод сонета «Ałuszta w nocy». Впервые — там же, стр. 23—24. *Одалиска* — обитательница гарема.

Чатырдаг. Перевод сонета «Czatyrdah». Впервые — «Славянин», 1828, № 4, стр. 147. *Днесь* — ныне, сегодня. *Гиаур* (гяур) — см. выше. *Драгоман* — переводчик на Востоке.

Пилигрим. Перевод сонета «Pielgrzym». Впервые — там же, стр. 27—28. *Денница* — рассвет, утренняя заря.

Дорога над пропастью в Чуфут-Кале. Перевод сонета «Droga nad przepaścią w Czufut-Kale». Впервые — там же, стр. 29—30. *Чуфут-Кале* — «городок на высокой скале; дома, стоящие на краю, подобны гнездам ласточек; тропинка, ведущая на гору, весьма трудна и висит над бездною. В самом городе стены домов почти сливаются с краем скалы; взор, брошенный из

окон, теряется в неизмеримой глубине» (примечание А. Мицкевича). *Мирза* — см. стр. 460. *Ал-Каир* — Каир. *Перуном он с ладьи стремится* — т. е. с быстротой молнии (от имени Перуна, бога грома и молнии у древних славян).

Гора Кикинеис. Перевод сонета «Góra Kikineis». Впервые — там же, стр. 31—32.

Развалины замка в Балаклаве. Перевод сонета «Ruiny zamku w Bałakławie». Впервые — там же, стр. 33—34. *Грек... генуэзец.* «Над заливом этого же названия стоят руины замка, построенного некогда греками, выходцами из Милета. Позднее генуэзцы возвели на этом месте крепость Цембало» (примечание А. Мицкевича). *Мекки набожный пришелец.* Мекка — город в Саудовской Аравии, родина Магомета, место паломничества мусульман. *Намаз* — см. стр. 461.

Аю-Даг. Перевод сонета «Ajudah». Впервые — там же, стр. 35.

Сон ратника. Переложение стихотворения английского поэта Томаса Кэмпбелла (1777—1844) «The soldier's dream» (сообщено Ю. Д. Левиным). Впервые — изд. 1828 г., стр. 80—82. Стихотворение посвящено событиям русско-турецкой войны, начавшейся в апреле 1828 г. *...башни вековые С их дерзкою луной погибель облегла.* Имеются в виду турецкие крепости, осажденные русскими войсками. Луна (полумесяц) — символ магометанства. *И к Варне понеслась дружина удалая.* Турецкая крепость Варна была взята русскими войсками в конце сентября 1828 г.

Сельский субботний вечер в Шотландии. Впервые — отдельное издание: «Сельский субботний вечер в Шотландии. Вольное подражание Р. Борнсу И. Козлова». СПб., 1829. Стихотворение Роберта Бернса называется «The cotter's saturday night». Эпиграф взят из «Элегии, написанной на сельском кладбище» английского поэта Томаса Грея (1716—1771). *Ал. Ан. В... к.вой* — Александре Андреевне Воейковой (см. о ней на стр. 443). *Она была уж не земною.* А. А. Воейкова скончалась 14(26) февраля 1829 г. в Пизе. *Далекая могила.* А. А. Воейкова похоронена в Ливорно. *Авраам* — по библейскому преданию, прародитель и патриарх еврейского народа. *Моисей гнал племя Амалека.* Имеются в виду библейские сказания о борьбе, которую вели древние евреи во главе с Моисеем против кочевого племени амалекитян, наименование которого якобы происходит от его родоначальника Амалека. *Державный певец* — Давид, царь израильский, которому приписывается создание религиозных песен — псалмов. *Иова и жалобы, и муки.* Иов — праведник, подвергнутый для испытания веры страшным бедствиям и мучениям. *Исай* — библейский пророк, безбоязненно говоривший правду царям. *Патмос* — скалистый остров, куда, по еван-

гельскому рассказу, был сослан апостол Иоанн, имевший там «откровение», которое составило содержание Апокалипсиса. *Сион* — гора, на которой была расположена крепость древнего Иерусалима. *Гибель Вавилона*. По библейскому преданию, древний город Вавилон был разрушен в наказание за грехи его жителей. *Валлиса кровь*. Имеется в виду Вильям Уоллес (1270—1305) — национальный шотландский герой, боровшийся за независимость родины.

К полевой маргаритке, которую Роберт Борнс, обработывая свое поле, нечаянно срезал железом сохи в апреле 1786 г. Перевод стихотворения Роберта Бернса «To a mountain daisy». Впервые — вместе с «Сельским субботним вечером в Шотландии», СПб., 1829, стр. 33—37.

К тени Десдемоны. Впервые — СЦ на 1830 год, стр. 104—105, с заглавием: «К тени ее». (Цензурное разрешение — 20 декабря 1829 г.) Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 200—201. Эпиграф взят из трагедии Шекспира «Отелло» (акт 5, сцена 2).

Из Байронова «Дон-Жуана». Вольный перевод 122—123-й строф 1-й песни поэмы Байрона «Дон-Жуан». Впервые — там же, стр. 106—107.

Явление Франчески. Вольный перевод строф 19—21 поэмы Байрона «Осада Коринфа». Впервые — НА на 1830 год, стр. 157—165. (Цензурное разрешение — 17 сентября 1829 г.) Печ. по изд. 1833 г. ч. 2, стр. 209—217, с исправлением опечаток по НА. *Полетика* Петр Иванович (1778—1849)) — дипломат и сенатор; в молодости состоял в «Арзамасе», был близок к литераторам-карамзинистам. *Он святыне изменил*. Герой поэмы — венецианец Альп — ренегат, изменивший родине, христианской вере и перешедший на сторону Турции, воевавшей с Венецией.

К М. Шимановской. Впервые — «Радуга — литературный и музыкальный альманах на 1830 год», стр. 167, с заглавием: «К...». (Цензурное разрешение — 10 декабря 1829 г.) Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 274. *Шимановская* Мария-Агата (1789—1831) — польская пианистка и композитор, гастролировавшая в 1822 г. в России; в 1828 г. поселилась в Петербурге, где сблизилась с М. И. Глинкой, Адамом Мицкевичем, Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Козловым. Пушкин вписал в ее альбом стихи из 2-й сцены «Каменного гостя». Шимановская часто навещала Козлова — страстного любителя музыки и играла для него. Жуковский сообщает Козлову: «Если можно будет, привезу Вяземского и Шимановскую, чтобы попотчевать тебя музыкою. Вели приготовить фортепьяно, если только хочешь, чтоб они у тебя были» («Русский архив», 1886, № 2, стр. 181). Вяземский в письме Козлову от 2 января 1828 г. сообщает: «Шимановская пишет мне, что бывает у вас довольно часто и всегда с новым удовольствием» («Русский архив», 1886, № 2, стр. 183).

Романс Десдемоны. Вольный перевод песни Дездемоны из трагедии Шекспира «Отелло» (акт 4, сцена 3). Впервые — СЦ на 1831 год, стр. 23, с заглавием: «Песня Десдемоны». (Цензурное разрешение — 18 декабря 1830 г.) Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 275.

Из Ариостова «Orlando furioso». Вольный перевод 108—109-й строф 23-й песни эпической поэмы итальянского поэта Лодовико Ариосто (1474—1533) «Orlando furioso» <«Неистовый Роланд»>. Впервые — «Литературная газета», 1830, № 18, 27 марта. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 258—259. Отрывок поэмы представляет собой надпись, сделанную сарацинским воином Медором о своей любви к Анджелике; эту надпись читает Роланд. Строфы 100—112 из 23-й песни поэмы Ариосто были также переведены Пушкиным («Пред рыцарем блестит водами...»). *Галафрона дочь.* Имеется в виду Анджелика, дочь царя Катая (Северного Китая) — Галафрона.

Фиорина. Вольный перевод 22—24-й строф 2-й части поэмы итальянского поэта и романиста Томазо Гросси (1790—1853) «Ildegonda». Впервые — альм. «Сиротка» на 1831 год, стр. 83—84, с подзаголовком: «Баллада из итальянской поэмы „Ильдегонда"». (Цензурное разрешение — 11 января 1831 г.) Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 252—253. В поэме Гросси изображаются эпизоды из эпохи крестовых походов.

Элегия («Вчера в лесу я, грустью увлечен...»). Впервые — там же, стр. 112—116. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 177—179. *Св. Григорий Назианзин* (328—390) — архиепископ константинопольский, богослов, публицист и поэт. Его стихотворение, в подражание которому написана «Элегия» Козлова, называется «Perites antropinès physêos». *Голицын* Александр Николаевич (1773—1844) — реакционный государственный деятель, министр духовных дел и народного просвещения при Александре I.

Высокопреосвященному Филарету. Впервые — «Литературная газета», 1830, № 65, 17 ноября. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 180. *Филарет* (Дроздов) — митрополит московский. *Долг страшный.* Вероятно, имеется в виду подавление Николаем I декабрьского восстания. *С крестом в руках его встречал.* Имеется в виду встреча Николая I, прибывшего в Москву для коронации 26 июля 1826 г. *Полумертвые восстанут.* Вероятно, имеются в виду сосланные в Сибирь декабристы.

К певице Зонтаг. Впервые — «Северная пчела», 1830, № 111, 16 сентября. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 227—228. *Зонтаг* Генриетта (1806—1854) — немецкая певица, гастролировавшая летом и осенью 1830 г. в России. Ее концерты прошли с огромным успехом и вызвали восторженные отклики в прессе. 15 августа Козлов посетил концерт Зонтаг и записал в своем дневнике: «Мы с женой и детьми были в концерте m-lle Зонтаг в Малом театре... Какое наслаждение мне доставило ее прекрасное пение: свежесть, грация,

законченность, невыразимая прелесть! Я всю жизнь буду помнить это наслаждение» (СиН, стр. 49). На следующий день Козлов написал стихотворение «К певице Зонтаг».

Умирающая Эрменгарда. Перевод хора из трагедии «Adelchi» (акт 4, сцена 1) итальянского поэта, драматурга и романиста Алессандро Мандзони (1785—1873). Впервые — «Литературная газета», 1831, № 11, 25 февраля. Написано, по-видимому, не позже января 1831 г. А. Г. Лаваль писала Козлову 10 февраля 1831 г.: «Очень желала бы послушать ваш перевод «Эрменгарды» Манцони» («Русский архив», 1886, № 3, стр. 317). Актуальная для передовой итальянской литературы двадцатых годов тема борьбы с чужеземным игом легла в основу исторической трагедии Мандзони о покорении в 774 г. независимого Лангобардского королевства Карлом Великим. Тирану и деспоту, каким изображен завоеватель Карл, противопоставлены Адельгиз — сын последнего лангобардского короля, которому приданы черты романтического героя, и его сестра — кроткая и покорная Эрменгарда. Козлов глубоко почитал Мандзони как писателя и человека. Он послал ему книгу своих стихотворений. Об этом напоминает Жуковский в письме к Козлову из Венеции от 16 ноября 1838 г.: «Я... рассказал Манцони о тебе; а он мне сказал, что знает тебя и подал мне экземпляр твоих стихов с твоей подписью, поручив при свидании нашем сказать от него тебе поклон» («Русский архив», 1867, № 5—6, стр. 841). Перевод Козлова снабжен следующим примечанием редакции «Литературной газеты»: «Эрменгарда, или Дезидерата, была дочерью Дезидерия, князя ломбардов, и первою супругою Карла Великого. Быв отверженною по неизвестным причинам (иные утверждают, будто бы за бесплодие), она скончалась в монастыре. Вот обстоятельство, к коему относится помещаемый здесь хор. Трагедия «Адельгиз» (Adelchi), блистающая необыкновенными красотами, переводится вполне почтенным нашим поэтом И. И. Козловым, которого живое воображение ясно видит светлый мир поэзии. Превосходный перевод сего хора служит верным ручательством, что и целая трагедия будет переведена в совершенстве. В хоре сем прелагатель должен был бороться с трудностями стихотворной меры, никем еще не испытанной на нашем языке, и расположения строфы итальянской, также доныне у нас не употреблявшейся. В ней все стихи (кроме последнего) с женскими окончаниями; первый, третий и пятый стихи не имеют рифм; второй рифмует с четвертым, а последний (мужской) служит всегда рифмою последнему же стиху следующей строфы. Это правило постоянно было соблюдаемо и переводчиком, который счастливо избежал помянутые трудности; и при всем том перевод его весьма близок (иногда почти слово в слово с подлинником), и в стихах его удержаны приятность и благозвучие итальянского поэта. В доказательство сего выписываем третью строфу хора из трагедии Манцони». Дальше следует итальянский текст третьей строфы. *Графиня З. И. Лепцельтерн* — см. стр. 455. *Франков области.* Имеется в виду Франция; муж Эрменгарды (Дезидераты) Карл Великий был франкским королем. *Жены салические* — женщины франкского государ-

ства. *Власистый царь.* «Так называли Карла» (примеч. «Литературной газеты»). *Моза* — «древнее название реки Маас» (примеч. «Литературной газеты»). *И матери проколотых младенцев.* Имеется в виду жестокая расправа воинов Карла Великого с населением покоренного Лангобардского королевства.

Воспоминание 14-го февраля. Впервые — «Литературная газета», 1831, № 17, 22 марта, с заглавием: «Воспоминание». Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 262—263. Стихотворение посвящено памяти А. А. Воейковой (см. о ней на стр. 443), скончавшейся в Италии 14(26) февраля 1829 г. Датируется февралем 1830 или 1831 г., поскольку слово «год» здесь можно рассматривать и как синоним «годовщины». *Уголин* — см. примеч. к следующему стихотворению.

Сон. Впервые — «С.-Петербургский вестник», 1831, № 16, стр. 50—53, с подзаголовком: «Отрывок из большого стихотворения», без 20 заключительных строк. Печ. по изд. 1833 г., ч. 2, стр. 202—206. Эпиграф взят из стихотворения Байрона «Сон». Помимо отсутствия 20 заключительных строк, в журнальной редакции имеются и другие отличия: первые четыре строки 3-й строфы читаются:

Бушует ветр, и в бурной тме кружится,
Шумит, свистит, и воет, и клубится;
Ни холод мглы, ни пламень гробовой
Не так страшат, как вихорь роковой.

В строфе 5 отсутствуют строки 7 и 8. В строфе 6 строки 13 и 14 читаются:

Как снег бело, из дымки покрывало
К ней за плеча небрежное упало!..

На этом журнальный текст заканчивается. В стихотворении воспроизводятся отдельные эпизоды из «Божественной комедии» Данте. *Фикельмон* Дарья Федоровна (1804—1863) — жена австрийского посланника в Петербурге, внучка М. И. Кутузова. В ее салоне собирались писатели, поэты, художники и музыканты. *Фаринат.* Имеется в виду Фарината дельи Уберти (ум. 1264) — глава флорентийской партии гибеллинов (сторонников империи), с которым Данте встречается в шестом круге ада (песнь 10). Фарината изображен Данте надменным, гордым и властным бойцом, вспоминающим свои подвиги в борьбе за Флоренцию. *Вот Уголин злодея череп гложет; Но смерть детей отец забыть не может.* В девятом круге ада (песни 32 и 33) Данте встречает Уголино делла Герардеска, вождя гвельфов (сторонников папы) Пизы. Потерпев поражение от гибеллинов, во главе которых стоял архиепископ Руджиери дельи Убальдини, Уголино был заточен вместе с детьми и внуками в башню Гваланди. В аду Уголино оказался соседом своего врага Руджиери дельи Убальдини, череп которого он гложет. *Чета прекрасная, младая.* Имеются в виду Франческа да Римини и ее возлюбленный Паоло,

убитые мужем Франчески. *Как Ланцелот томился страстью нежной.* Имеется в виду роман французского поэта XII в. Кретьена де Труа о рыцаре Ланселоте и о его любви к королеве Дженевре — жене короля Артура.

К Валтеру Скотту. Впервые — изд. 1833 г., ч. 2, стр. 181—188. Написано не позже января 1832 г. Об этом свидетельствует дневниковая запись от 29 января 1832 г.: «Я прочел мое послание к Вальтеру Скотту Виельгорскому. Графиня Лепцельтерн по какому-то необыкновенному совпадению сообщила мне, что Вальтер Скотт желает иметь мою поэзию» (СиН, стр. 51). По-видимому, Вальтер Скотт заинтересовался судьбой поэта-слепца через посредство А. И. Тургенева, который был знаком с шотландским романистом. Эпиграф взят из 97-й строфы 3-й песни поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». *Певец природы, И волн шумящих, и свободы* — Байрон. *Елена.* Возможно, имеется в виду Элен Мак Грегор, жена Роб Роя, героя одноименного романа В. Скотта. *Дуглас* — старинный шотландский род, к которому принадлежат многие герои романов В. Скотта. *Мармион* — герой одноименной поэмы В. Скотта. *Паж несчастный* — персонаж из баллады «Иванова ночь». *Матильда* — героиня поэмы «Мармион». *За Джемсов возникала брань.* Имеются в виду короли Шотландии Яков I (Джемс I, 1406—1437) и Яков V (1513—1542), в царствование которых возникали феодальные смуты, изображенные в романах В. Скотта. *Сердце Львиное — Ричард* — Ричард I Львиное Сердце, английский король (1189—1199)), изображенный в романе «Айвенго». *Лилея гор, звезда любви, Которой блеск потух в крови.* Вероятно, речь идет о шотландской королеве Марии Стюарт (см. примеч. к стихотворению «К А. И. Тургеневу», стр. 468). Идеализированный образ Марии Стюарт нарисован в романе «Аббат». *Аббодс-форд* (Аббoтс-форд) — поместье В. Скотта. *Мельросская обитель, Где часто бродит по ночам Убитый рыцарь Кольдингам.* Имеется в виду эпизод из баллады «Иванова ночь». *Мост Боцвеля* — Босуэлский мост, место битвы во время пуританского восстания 1679 г., описанной в романе «Пуритане».

Ревность. Впервые — «Русский альманах на 1832 и 1833 годы», стр. 221—222, с заглавием: «Ревнивый». (Цензурное разрешение — 20 августа 1832 г.) Печ. по журналу БдЧ, 1836, т. 19, стр. 11—12, где стихотворение опубликовано вторично с незначительными исправлениями.

Обетованная земля. Впервые — изд. 1833 г., ч. 2, стр. 247—251. *Обетованная земля* — библейское наименование Палестины, «страны Ханаанской». В переносном смысле — свободная, счастливая страна. *Лаваль* Александра Григорьевна (1772—1850) — теща декабриста князя С. П. Трубецкого. *Моисей* — по библейскому преданию, вождь и законодатель еврейского народа. *Израильская рать за огненным столпом.* По библейскому сказанию, бог под видом огненного столпа вел евреев по пустыне Синайской.

К стр. 199—207

К А. И. Тургеневу («Когда же, скоро ль, друг далекой...»). Впервые — там же, стр. 193—195. *А. И. Тургенев* — см. стр. 444. *Из края в край судьбой носимый.* После поражения декабрьского восстания, когда Николай Иванович Тургенев был заочно присужден к смертной казни, Александр Иванович отправился к брату, жившему в качестве политического изгнанника в Англии и затем во Франции. *Тень святая.* Вероятно, имеется в виду покойный Н. М. Карамзин, который был одним из близких друзей А. И. Тургенева. *И как ты жил среди народа* и т. д. Имеется в виду Англия. *Дуглас* — прославленный герой средневековых шотландских баллад. *Мария* — Мария Стюарт (1542—1587) — шотландская королева, казненная по приказу королевы Англии Елизаветы. *Священный жар твоей печали.* А. И. Тургенев с горячей любовью относился к брату Николаю и тяжело переживал изгнание его из России.

К И. А. Беку. Впервые — там же, стр. 266—268. *Бек* Иван Александрович (1807—1842) — поэт-элегик и переводчик; состоял на дипломатической службе. Козлов познакомился с ним в конце двадцатых годов через посредство А. И. Тургенева, который отнесся с большой симпатией к первым опытам молодого поэта. Эпиграф взят из стихотворения Ф. Шиллера «Тэкла».

Графу М. Виельгорскому. Впервые — там же, стр. 189—192. *Виельгорский* Матвей Юрьевич (1794—1866) — виолончелист и музыкальный деятель.

Графине Потоцкой. Впервые — там же, стр. 256—257. *Потоцкая* Мария Александровна (1806—1845) — жена церемониймейстера гр. Б. С. Потоцкого, певица-дилетантка. Личное знакомство с ней Козлова относится к 1837 г. См. примеч. к стихотворению «Первое свидание», стр. 475.

Княжне Абамелек. Впервые — там же, стр. 273. *Абамелек* Анна Давыдовна (1816—1889) — фрейлина, поэтесса-переводчица, впоследствии жена И. А. Баратынского (брата поэта). В пятнадцатилетнем возрасте перевела на французский язык «Чернеца» Козлова. В 1832 г. Пушкин посвятил ей стихотворение «Когда-то (помню с умиленьем)...». *Пери* — см. стр. 454.

Графине Завадовской, урожденной Влодек. Впервые — там же, стр. 218—220. *Завадовская* Елена Михайловна (ум. 1874) — петербургская красавица, знакомая Козлова.

Не наяву и не во сне. Впервые — там же, стр. 291—292. *Гагарин* Павел Гаврилович (1777—1850) — генерал-адъютант и дипломат. В молодости печатал стихи в «Вестнике Европы», издававшемся Жуковским. Эпиграф взят из 10-й строфы поэмы Байрона «Шильонский узник».

Из трагедии Николини «Giovanni di Procida». Вольный перевод 4-го явления 5-го акта пьесы итальянского поэта и драматурга Джованни-Батиста Никколини (1782—1861) «Giovanni da Procida». Впервые — там же, стр. 221—223. Трагедия Никколини, посвященная героическому восстанию сицилийцев против французского владычества, известному под названием «Сицилийская вечерня» (1282), была поставлена во Флоренции в 1830 г. и прошла с огромным успехом. В период нарастания национально-освободительного движения старинный сюжет приобрел злободневную остроту. Итальянская публика услышала в романтической трагедии Никколини призыв к борьбе против чужеземного австрийского гнета. *Франк* — француз.

Из Данте. Перевод первых двух терцин из 8-й песни «Чистилища» («Божественная комедия») Данте. Впервые — там же, стр. 290. *Пальмник* — паломник, странник.

Беверлей. Вольный перевод 12-й строфы 5-й песни поэмы Вальтера Скотта «Мармион». Впервые — там же, стр. 276—278. Строфа 12, носящая у Вальтера Скотта заглавие «Лохинвар», выдержана в форме баллады.

Нас семеро. Перевод стихотворения Вордсворта «We are seven». Впервые — там же, стр. 283—286. *Вордсворт* Вильям (1770—1850) — английский поэт-романтик реакционного направления. Первый период его творчества, относящийся к концу восьмидесятых — началу девяностых годов XVIII в., отмечен мотивами вольнолюбия, сочувствием к обездоленному народу Англии. Кому посвящен перевод Козлова, установить не удалось.

Тоска по родине. Вольный перевод романса Лотрека из повести Франсуа-Рене де Шатобриана «История последнего из Абенсераджей». Впервые — там же, стр. 224—226. *Шатобриан* Франсуа-Рене (1768—1848)—французский писатель-романтик, реакционный политический деятель.

Разбитый корабль. Впервые — там же, стр. 254—255. *Лаваль* Софья Ивановна (1809—1871), в замужестве графиня Борх — приятельница Жуковского и Козлова.

Озеро мертвой невесты. Впервые —там же, стр. 280—282.

Вольное подражание Андрею Шенье («Ко мне, стрелок младой, спеши! любим ты мною...»). Вольный перевод фрагментов двух идиллий Андре Шенье: «Accours, jeune chromis, je t'aime, et je suis belle...» и «Neère, ne va plus te confier aux flots...». Впервые —альм. «Комета Белы» на 1833 год, стр. 153. (Цензурное разрешение — 30 октября 1832 г.) *Шенье* Андре (1762—1794) — французский поэт; примкнув во время революции 1789 г.

к лагерю умеренных, выступал против якобинцев; был казнен по обвинению в контрреволюционном заговоре. Лирика Шенье, созданная в основном до революции 1789 г., проникнута антифеодальными освободительными идеями, языческим культом красоты. Она оказала большое влияние на поэзию французских романтиков.

К Жуковскому. Впервые — изд. 1833 г., ч. 2, стр. 260—261.

Жалоба. Впервые — там же, стр. 269—272. *Графиня Витгенштейн* — см. стр. 452.

К печальной красавице. Впервые — БдЧ, 1834, т. 3, стр. 239—240, с эпиграфом: «The poor soul sat sighing» <Бедняжка сидела, вздыхая>. Печ. по БдЧ, 1836, т. 15, стр. 229, где стихотворение вторично опубликовано с незначительными изменениями.

Мечтание. Впервые — изд. 1833 г., ч. 2, стр. 279. Написано в 1832 г., так как в стихотворении упоминается о смерти сына Наполеона I *(Бедный сын)* — Франсуа-Шарля-Жозефа Бонапарта (герцога Рейхштадтского), последовавшей в 1832 г. (род. 1811).

Два челнока. Впервые — сб. «Новоселье», 1833, стр. 437—442. *А. Н. М.* — Андрей Николаевич Муравьев (1806—1874), поэт и религиозный писатель, автор трагедии из времен крестовых походов «Битва при Тивериаде», отрывки из которой были напечатаны Пушкиным в «Современнике». А. Н. Муравьев, по свидетельству Козлова, часто рассказывал ему церковные легенды и притчи.

Моя молитва. Впервые — БдЧ, 1834, т. 1, стр. 1—3. (Цензурное разрешение — 31 декабря 1833 г.) *И, как над Лазарем, спаситель, О, прослезися надо мной!* По евангельской легенде, Христос любил больного Лазаря из селения Вифания. Когда Лазарь умер, Христос пролил над его могилой слезы и воскресил его из мертвых.

Свежана и Руслан. Впервые — там же, стр. 18—22.

Бренда. Впервые — сб. «Новоселье», 1834, ч. 2, стр. 237—243.

Возвращение крестоносца. Впервые — там же, стр. 363—368. Стихотворение было переведено Козловым на французский язык и послано в Париж Франсуа-Рене Шатобриану (см. о нем стр. 469), которого поэт считал далеким потомком героя стихотворения — крестоносца Жоффруа (Готфрида) Шатобриана. 17 декабря 1835 г. Шатобриан обратился к Козлову с благодарственным письмом, в котором писал: «Приношу вам тысячу извинений в том, что не мог ранее поблагодарить вас за письмо, которым вы меня почтили, и за прекрасные стихи, которые вам угодно было мне прислать. . .» («Русский архив», 1886, № 2, стр. 194). Шатобриан без тени сомнений подтверждает, что жена крестоносца Жоффруа якобы действительно умерла от радости при встрече с мужем, возвратив-

шимся из крестового похода. *Святой Людовик* — французский король Людовик IX (1215—1270), возглавивший крестовый поход 1248—1254 гг., окончившийся неудачей.

Ночь. Впервые — БдЧ, 1834, т. 2, стр. 101.

Обманутое сердце. Впервые — БдЧ, 1834, т. 3, стр. 19—20. По мнению Ц. Вольпе, «Обманутое сердце» является подражанием стихотворению немецкого поэта Иоганна Георга Якоби (1740—1814) «Nach einem alten Liede», переведенному Жуковским под названием «Песня» («Где фиалка, мой цветок...»), причем Козлов, вероятно, подражал не Якоби, а Жуковскому («И. Козлов, А. Подолинский». Л., 1936, стр. 241—242).

Стансы («Меж дев волшебными красами...»). Вольный перевод «Стансов для музыки» «There be none of Beauty's daughters...» Байрона. Впервые — там же, стр. 25.

Умирающий гейдук. Впервые — БдЧ, 1834, т. 4, стр. 123—124. Сюжет стихотворения заимствован из книги французского писателя Проспера Мериме (1803—1870) «Гусли, или Сборник иллирийских песен, записанных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине». Пушкин, как известно, поверивший в подлинность этих песен, создал на их основе «Песни западных славян». Козлов обработал песню Мериме «Умирающий гайдук». *Гайдуки* — южнославянские партизаны, ведшие вооруженную борьбу против турецких завоевателей в XVII—XIX вв. *Иллирийская.* Иллирия — древняя область на северо-западе Балканского полуострова, получившая название по имени обитавших в ней иллирийских племен. *Пандуры* — вооруженные наемники. *Лядунка*— сумка для патронов.

Байрон в Колизее. Вольный перевод 130—137-й строф 4-й песни поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». Впервые — БдЧ, 1834, т. 7, стр. 120—123. Заглавие и ремарка сочинены Козловым по мотивам 128-й строфы байроновской поэмы. *Немезида* (греч. миф.) — богиня возмездия. *Фурии* (римск. миф.) — богини мщения; изображались в виде безобразных старух со змеями в волосах. *Ореста мукам предала.* Орест, сын предводителя греков в Троянской войне, Агамемнона, был, по древнегреческим мифам, наказан богинями мщения за убийство матери.

К И. П. Мятлеву. Впервые — «Сборник на 1838 год», стр. 21—24. Написано не позже июня 1834 г. Об этом свидетельствует дневниковая запись Козлова, датированная июнем (без числа) 1834 г.: «Иван Мятлев, довольный моим посланием» (СиН, стр. 53). *Мятлев* Иван Петрович (1796—1844) — поэт, автор шуточной поэмы «Сенсации и замечания г-жи Курдюковой за границею, дан л'Этранже». *Знаменское* — поместье И. П. Мятлева. *...зеленый крест, И вспомнил я твою балладу.* Имеется в виду стихотворение Мятлева «Артамоныч»; в нем говорится о покойнике, вышедшем из могилы и просящем починить разбитый бурею зеленый крест.

Стансы («Настала тень осенней длинной ночи...»). Впервые — ЛП на 1838 год, № 22, 28 мая. Написано не позже июня 1834 г. Об этом свидетельствует дневниковая запись Козлова, датированная июнем (без числа) 1834 г.: «Я ему <Мятлеву> сказал наизусть свои стансы „На несчастье"» (СиН, стр. 53). И. П. Мятлев, услышав эти «Стансы», вскоре обратился с письмом к Козлову (от 18 июня 1834 г.) с просьбой прислать ему это стихотворение: «Я опьянен и восхищен вашими великолепными стансами «О несчастье»; я влюбился в них. Ради бога, не заставляйте меня томиться в ожидании этих стихов» («Русский архив», 1886, № 2, стр. 191; оригинал по-французски).

К господину Александру. Впервые — «Северная пчела», 1834, № 171, 31 июля. Написано в июне или июле 1834 г. Обращено к Александру Ваттемару, французскому драматическому актеру, трансформатору и миму, гастролировавшему в Петербурге. Пушкин вписал в его альбом стихотворение «Подражание древним» («Чистый лоснится пол, стеклянные чаши блистают...»). В письме к М. Н. Загоскину — тогдашнему директору московских императорских театров — Пушкин 9 июля 1834 г. рекомендовал пригласить Ваттемара («очень замечательное лицо») в Москву для бенефисного спектакля. Весной и летом 1834 г. Александр Ваттемар посещал Козлова, показывая ему отдельные сценки из своего репертуара. «Северная пчела», публикуя стихотворение «К господину Александру», предварила его заметкой, в которой сказано: «Почтенный поэт наш Иван Иванович Козлов, лишенный удовольствия видеть знаменитого мимика, просил г. Александра, играющего вообще только на театрах, сделать для него исключение и представить у него в комнате несколько опытов своего голосоизменения, называемого ошибочно чревовещанием. Г-н Александр охотно исполнил желание слепца-поэта, и в награду был почтен следующими его стихами». *Как два охотника кричали.* Эту сценку Александр Ваттемар показывал Козлову в присутствии Жуковского 31 мая 1834 г. Об этом сказано в дневниковой записи: «Охотник ищет другого охотника, этот будит свою жену, плачет ребенок. Превосходно слышатся отчетливые голоса четырех человек и лай собак» (Известия отделения русского языка и словесности Академии наук, 1904, кн. 2, стр. 80—81).

Два сонета. Впервые — БдЧ, 1835, т. 8, стр. 159—160. (Цензурное разрешение — 28 декабря 1834 г.)

1. «Я к той был увлечен таинственной мечтою...» Перевод 34-го сонета из цикла «После смерти мадонны Лауры» итальянского поэта Франческо Петрарки (1304—1374).

2. «В какой стране небес, какими образцами...» Перевод 126-го сонета Петрарки из цикла «При жизни мадонны Лауры».

Государю наследнику Александру Николаевичу в день его тезоименитства. Впервые — БдЧ, 1834,

т. 6, стр. 7—10. *Александр Николаевич* — будущий император Александр II (1818—1881). *Невский.* Имя «Александр» было дано по святцам в честь Александра Невского (1220—1263). *Двух Александров тени.* Имеются в виду Александр Невский и Александр I. *Вождь непобедимый* — Наполеон. *Он ожил в брате.* Имеется в виду Николай I. *Война вдруг праведно пылает.* Речь идет о русско-турецкой войне 1828—1829 гг.

Тревожное раздумье. Впервые — БдЧ, 1835, т. 9, стр. 120—122.

Невеста. Вольный перевод стихотворения Андре Шенье «La jeune tarentine». Впервые — там же, стр. 126. Это стихотворение Шенье послужило также источником стихотворения Н. И. Гнедича «Тарентинская дева», напечатанного в «Полярной звезде» на 1823 год.

Мальвина. Впервые — БдЧ, 1835, т. 10, стр. 172—173.

К неверной. Впервые — БдЧ, 1835, т. 11, стр. 15—16.

Тоска. Вольный перевод 2-го сонета из цикла «После смерти мадонны Лауры» Франческо Петрарки. Впервые — там же, стр. 94—95. Этот сонет Петрарки послужил источником стихотворения К. Н. Батюшкова «На смерть Лауры». Эпиграф взят из первой строки 2-го сонета Петрарки. *Прекрасная колонна пала, И лавр зеленый мой увял.* В подлиннике игра слов, обозначающая гибель двух человек, которые были близки и дороги Петрарке: *Колонна* — кардинал Стефано Колонна, друг и покровитель поэта, убитый в Риме в 1347 г.; *лавр* (lauro) — Лаура, возлюбленная поэта, скончавшаяся, по словам Петрарки, в 1348 г.

Сонет («Прелестный вечер тих, час тайны наступил...»). Вольный перевод 30-го сонета из цикла «Различные сонеты» (ч. 1) Вордсворта (см. о нем на стр. 469). Впервые — там же, стр. 96.

Элегия («О ты, звезда любви, еще на небесах...»). Перевод XIII элегии Андре Шенье «Bel astre de Vénus, de son front délicat...». Впервые — БдЧ, 1835, т. 12, стр. 19. *Диана* — здесь в значении: луна.

Пловец. Впервые — там же, стр. 89—90.

Сельская элегия. Вольный перевод романса Мильвуа (см. о нем на стр. 447) «Priez pour moi». Впервые — БдЧ, 1835, т. 13, стр. 6—7.

Ночь родительской субботы. Впервые — БдЧ, 1836, т. 14, стр. 12—14. В тексте озаглавлено: «Баллада», заглавие «Ночь родительской субботы», имеющееся в оглавлении, видимо, пропущено по ошибке. (Цензурное разрешение — 31 декабря 1835 г.)

Отплытие витязя. Впервые — там же, стр. 70—71.

Витязь («Скажи мне, витязь, что твой лик...»). Впервые — БдЧ, 1836, т. 16, стр. 12—14. Эпиграф взят из поэмы Байрона «Гяур».

Тайна. Впервые — там же, стр. 169—170.

Дуб. Впервые — БдЧ, 1836, т. 17, стр. 194—195. *Денница* — см. стр. 461.

Жнецы. Впервые — БдЧ, 1836, т. 18, стр. 156—157.

Выбор. Впервые — БдЧ, 1836, т. 19, стр. 10—11. *П. Г. Гагарин* — см. стр. 468.

Поэт и буря. Впервые — там же, стр. 13—14. *Ламартин* Альфонс (1791—1869) — французский поэт-романтик реакционного направления. Два тома его «Поэтических размышлений» (1820—1823) являются крупнейшим памятником раннего французского романтизма. Поэма «Жослен» (1836) пронизана идеей самоотречения и слияния с природой. *Оссиан* — легендарный кельтский поэт. Под его именем Макферсон издал в 1760-х годах свои шотландские песни. *Инисторовы курганы, Морвен* — местности в северо-западной Шотландии, где происходит действие поэм Оссиана.

Эрминия на берегах Иордана. Вольный перевод 1—7-й строф 7-й песни поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». Впервые — там же, стр. 14—15. *Эрминия* — сарацинская дева-воительница, влюбленная в христианского рыцаря Танкреда. В 7-й песне поэмы Тассо рисуется история бегства Эрминии, находящей приют у пастухов.

Еврейская мелодия («Когда в нетленном мире том...»). Перевод стихотворения Байрона «If that high world...» из цикла «Еврейские мелодии» (см. примеч. к стихотворению «К Филону», стр. 455). Впервые — там же, стр. 16.

Касатка. Перевод песни «Rondinella pellegrina» из романа Томазо Гросси «Марко Висконти». Впервые — там же, стр. 96—97. Роман Гросси (см. о Гросси стр. 464), опубликованный в Италии в 1834 г., привлек к себе внимание русских литераторов. В 1835 г. в журнале «Московский наблюдатель» были напечатаны отрывки из «Марко Висконти» в переводе С. П. Шевырева. *Висконти Марко* — один из вождей миланской партии гибеллинов (сторонников императорской власти), боровшейся в начале XIV в. с гвельфами (сторонниками папы Римского).

Сияна. Впервые — БдЧ, 1837, т. 20, стр. 34—35. (Цензурное разрешение — 29 декабря 1836 г.)

Русская певица. Впервые — БдЧ, 1836, т. 17, стр. 193—194. В посмертном издании 1840 г. Жуковский озаглавил это стихотворение «П. А. Бартеневой», которой оно посвящено. По свидетельству А. Сиверса, опубликовавшего в 9-м томе сб. «Звенья» несколько писем Козлова, оригинал стихотворения «Русская певица» находится в альбоме П. А. Бартеневой и датирован «16 февраля 1836». В сопроводительном письме, помеченном 16 февраля <1836>, Козлов писал Бартеневой: «Примите, сударыня, это слабое выражение высокого наслаждения, доставленного мне вашим восхитительным пением, сладкая мелодия которого звучит и будет всегда находить отзвук в моем сердце. Как был бы я счастлив услыхать еще раз ваш звучный и в то же время такой нежный голос, от которого душа ощущает невыразимое, но полное прелести волнение» («Звенья», т. 9. М., 1951, стр. 485. Оригинал по-французски). *Бартенева* Прасковья Арсеньевна (1811—1872) — фрейлина; певица-любительница, которую современники называли «московским соловьем». Ее высоко ценили М. И. Глинка и композитор А. Е. Варламов. В 1831 г. Лермонтов посвятил ей стихотворение «Скажи мне: где переняла. . .».

Песнь о Марко Висконти. Перевод стихотворения «In morte di Marco Visconti» из романа Томазо Гросси «Марко Висконти». Впервые — «Современник», 1837, т. 5, стр. 240—246. Стихотворение посвящено смерти героя и написано в форме сирвентес — лирико-драматическом жанре поэзии трубадуров. *Марко Висконти* — см. примеч. к стихотворению «Касатка», стр. 474. *Гвельфы* — партия в Италии, отстаивавшая светскую власть папы (XII—XIV вв.). *Эпанча* (епанча) —старинный плащ.

Первое свидание. Впервые — БдЧ, 1837, т. 21, стр. 47—48. В изд. 1840 г. Жуковским дан подзаголовок: «Графине М. А. Потоцкой» (см. о ней на стр. 468). Написано, вероятно, в январе 1837 г. О посещении М. А. Потоцкой Козлова говорится в его дневниковой записи от 12 января 1837 г.: «Была у меня графиня Потоцкая. Я был в восхищении от нее. Она будет также звездою для моего сердца. . . Она спела мне чудную арию Pignatelli и романс „Любила я твои глаза“» (СиН, стр. 56).

Элегия («Зачем весенний ветерок. . .»). Впервые — ЛП на 1837 год, № 44, 30 октября.

Сельская жизнь. Впервые — «Альманах на 1838 год, изданный В. Владиславлевым», стр. 181—183. (Цензурное разрешение — 17 декабря 1837 г.)

Стансы («Глубоко в тишине, предав навек безмолвью. . .»). Перевод 2—5-й строф из 14-й главы поэмы Байрона «Корсар». Впервые — там же, стр. 291.

К Леопольду Мейеру. Впервые — ЛП на 1837 год, № 31, 31 июля. *Мейер* Леопольд (1816—1883) — австрийский пианист и

композитор, гастролировавший в России. Познакомившись с Козловым, Мейер навещал его и специально играл для него.

Милой дочери графини Фикельмон. Впервые — ЛП на 1837 год, № 52, 25 декабря. *Фикельмон* — см. стр. 466.

Другу весны моей после долгой, долгой разлуки. Впервые — ЛП на 1838 год, № 5, 29 января. Посвящено двоюродной сестре Козлова Анне Григорьевне Хомутовой (1784—1856), в которую он был влюблен в годы юности. *Дербент* — см. примеч. Козлова на стр. 67.

К П. Ф. Балк-Полеву («Надолго увлечен неверною судьбой...»). Впервые — «Сборник на 1838 год», стр. 21—24. Написано, по-видимому, в начале 1838 г. (Цензурное разрешение — 8 марта 1838 г.) *Балк-Полев* — см. стр. 458. *Столица чувств живых, столица дум глубоких.* Подразумеваются Париж и Петербург. *Где та волшебница* и т. д. Имеется в виду французская писательница Анна-Луиза-Жермен де Сталь (1766—1817). *Монморанси* — герцог Монморанси Матье-Фелисите (1767—1826), французский государственный деятель. *И жизнь свою венчал кончиною святой.* Намек на внезапную смерть герцога Монморанси в церкви во время молитвы. *Но ту, с кем их сердца все думы разделяли.* Речь идет о Жюли Рекамье (1777—1849), чей салон был модным политическим и литературным центром Парижа. Герцог Монморанси был одним из верных поклонников Рекамье. *Saint-Pierre* — французский писатель Бернарден де Сен-Пьер Жак-Анри (1737—1814). *Грассини* Жозефина (1773—1850) — итальянская певица, гастролировавшая в Париже в царствование Наполеона I. *Benjamin* — французский политический деятель и писатель Бенжамен Констан (1767—1830). *Биготини* Эмилия (ум. 1858) — французская танцовщица. *Мерсье* Луи-Себастиан (1740—1814) — французский романист и драматург. *L'abbé Boulogne* — аббат Булонь Этьен-Антуан (1747—1825), французский церковник, капеллан Наполеона I. *Бешеный Гамлет, мятежник Манлий.* Имеется в виду французский трагический актер Франсуа-Жозеф Тальма (1763—1826), прославившийся в частности в ролях шекспировского Гамлета и Манлия из одноименной трагедии французского драматурга Антуана Лафосса (ок. 1653—1708). *Гаррик* Давид (1717—1779) — английский актер, прославившийся в ролях шекспировского репертуара. *Страна, где огненные горы* — Италия. *Пленялся ты красой Бразильи изумрудной.* Балк-Полев был русским посланником в Бразилии.

К*** («Что я во цвете юных дней...»). Впервые — ЛП на 1838 год, № 15, 9 апреля. Посвящено графине Дарье Федоровне Фикельмон (см. о ней стр. 466). В изд. 1840 г. Жуковским озаглавлено: «Графине Фикельмон».

Песня. Впервые — ЛП на 1838 год, № 20, 14 мая.

Из Джияура. Вольный перевод из поэмы Байрона «Гяур» (от стиха: «As rising on its purple wing...» до «Except an erring sister's shame...» включительно). Впервые — ЛП на 1838 год, № 24, 11 июня.

Встреча. Впервые — ЛП на 1838 год, № 27, 2 июля.

Идиллия («Стремятся не ко мне с любовью и хвалами...»). Перевод идиллии Андре Шенье «Ah! ce n'est point à moi qu'on s'occupe de plaire...». Впервые — альм. «Утренняя заря» на 1839 год, стр. 51. (Цензурное разрешение — 15 ноября 1838 г.) В изд. 1840 г. стихотворение озаглавлено: «Фанни». Белинский, говоря о переводческом мастерстве Козлова, выписывает три его стихотворения: «Новые стансы», «Вольное подражание сонету Мицкевича», «Фанни» «как доказательство, что он мог усвоивать русской литературе драгоценнейшие перлы иностранных литератур». О стихотворении «Фанни» он пишет следующее: «Последняя пьеса, отличающаяся в подлиннике пластическою художественностию в выражении, и переведена пластически художественно. Так переводить могут только истинные таланты, которых немного бывает во всякой литературе» (В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 5. М., 1954, стр. 77).

Стансы («Вчера я, мраком окруженный...»). Впервые — там же, стр. 70—71.

Княгине З. А. Волконской («Я арфа тревоги, ты — арфа любви...»). Впервые — там же, стр. 194. Написано в ответ на стихотворное послание З. А. Волконской, опубликованное в этом же альманахе, стр. 193:

И. И. КОЗЛОВУ

Ты арфа страданья,
Ты арфа терпенья —
Ты арфа с душой.

Твой дух, твои струны
Поют хор мученья;
Напев их — *аминь*.

Терпи, моя арфа!
Звучишь ты надеждой,
Пророчишь ты рай!

И ангел скорбящих
Твой голос узнает —
И встретит тебя.

З. А. Волконская — см. стр. 454.

Графине Лаваль. Впервые—«Отечественные записки», 1839, т. 6, стр. 145. *А. Г. Лаваль* — см. стр. 467.

Гимн Орфея. Впервые — БдЧ, 1839, т. 34, стр. 174. *Орфей* — легендарный древнегреческий певец, своими песнями приводивший в движение деревья и скалы, укрощавший диких зверей. В образе Орфея воплощена идея всемогущества музыки, поэзии, искусства.

Молитва («Прости мне, боже, прегрешенья...»). Впервые — «Современник», 1840, т. 18, стр. 86. Написано 3 декабря 1839 г., как об этом сообщает Козлов в дневниковой записи от 3 декабря: «Около 12 час. ночи нашло на меня вдохновение, и я сочинил молитву в виде сонета» (СиН, стр. 62). Жуковский, опубликовав это стихотворение в своей статье «О стихотворениях И. И. Козлова», замечает: «Следующая молитва написана им весьма незадолго до смерти; это последний звук его арфы». *Магдалина.* По евангельской легенде, Мария из Магдалы вела развратный образ жизни, но под влиянием Христа обратилась к его вере и стала восторженной ее проповедницей. *Иоанн* — апостол и евангелист, называемый Богословом.

Легенда. Впервые — изд. 1840 г., ч. 2, стр. 363—366. Написана в конце декабря 1839 г. — начале января 1840 г. В дневниковой записи от 28 декабря 1839 г. сказано: «Г-жа Вейдемейер. Я с ней занялся своей легендой» (СиН, стр. 64). 18 января 1840 г., за 12 дней до смерти, Козлов читал свою «Легенду» княгине А. И. Голицыной. «Моя легенда ее шокировала...» (СиН, стр. 66) — пишет с явным огорчением Козлов. По всей вероятности, любовный мотив, введенный в церковную легенду, «шокировал» святошу и ханжу А. И. Голицыну. *Фивы* — древнегреческое название древнеегипетского города Уасет, расположенного по обоим берегам Нила и в древности славившегося своей красотой и богатством. В I в. до н. э. город был разрушен. Впоследствии в его развалинах поселялись христианские отшельники. *Он Павел Фивейский в цвету молодом.* Герой стихотворения уподобляется первому по времени христианскому монаху Павлу Фивейскому (ум. 341), который жил в Фиваиде, питаясь плодами пальмы и одеваясь ее листьями.

СТИХИ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

Стансы («Тоскуя о подруге милой...»). Вольный перевод 43-го сонета Франческо Петрарки из цикла «После смерти мадонны Лауры». Впервые — изд. 1840 г., ч. 2, стр. 262—263. Эпиграф взят из первой строки 43-го сонета.

Стихи Андрея Шенье на пребывание его в Англии. Вольный перевод стихотворения Андре Шенье: «Sans

parents, sans amis et sans concitoyens...». Впервые — там же, стр. 333—334. Андре Шенье (см. о нем. стр. 469) с конца 1787 до начала 1790 г. проживал в Лондоне в качестве секретаря французского посольства.

Дружба. Впервые — там же, стр. 275.

Стихи для концерта. Впервые — там же, стр. 316—318.

ПОЭМЫ

Чернец. Впервые десятая глава поэмы с заглавием: «Возвращение на родину. Отрывок из поэмы, еще не напечатанной» — НЛ, 1823, № 47, стр. 126—128; полностью — отдельное издание: «Чернец, киевская повесть. Сочинение Ивана Козлова». СПб., 1825, с эпиграфом из поэмы Байрона «Гяур»:

The wither'd frame, the ruined mind,
The wrack by passion left behind,
A shrivelled scroll, a scatter'd leaf
Seared by the autumn blast of grief.

<Изможденное тело, разрушенный разум, обломок пережитой страсти, сморщенный пергамент, унесенный ветром листок, увядший от осеннего вихря грусти> и с предисловием «От издателей». Печ. по изд. 1833 г., ч. 1, стр. 5—31. В предислови к отдельному изданию, написанном, по-видимому, Жуковским, говорится:

«Мы не хотим предупреждать суда наших читателей о небольшой поэме, которую здесь им предлагаем: и без нас они найдут в ней красоты возвышенные, и без нас могут заметить, что воображение поэта согрето пламенем чувства, что язык его силен, прост и живописен. Мы скажем несколько слов о самом поэте. Судьба его должна возбудить нежнейшее участие в каждом благородном сердце. Несчастие, часто убийственное для души обыкновенной, было для него гением животворящим. «Несчастие, — сказал некто, — можно сравнить с великаном, имеющим голову светозарную и ноги свинцовые. Кто сам высок, или кто может возвыситься, чтоб посмотреть прямо в лицо сему ужасному посланнику провидения, — тот озарится его блеском, и собственное лицо его просветлеет; но тот, кто низок, или кто, ужаснувшись ослепительного света, наклонит голову, чтобы его не видать, — тот попадет под свинцовые ноги страшилища и будет ими раздавлен или затоптан в прах». Сей жребий миновал нашего страдальца: он имел довольно мужества, чтоб посмотреть прямо в лицо своему страшному посетителю. В молодых летах, проведенных в рассеянности большого света, он не знал того, что таилось в его душе, созданной понимать высокое и прекрасное, — несчастие открыло ему эту тайну: похитив у него

лучшие блага жизни, оно даровало ему поэзию. Вот уже пятый год, как он без ног и слеп; существенный мир исчез для него навсегда; но мир души, мир поэтических мыслей, высших надежд и веры открылся ему во всей красоте своей: он живет в нем и в нем забывает свои страдания, часто несносные. Мы не входим в подробности — пускай он сам будет своим историком: прилагаем здесь его послание к другу (написанное в 1822 году), в котором с величайшею верностию изобразил он настоящую судьбу свою; оно есть не произведение поэта, а искренняя, трогательная исповедь страдальца».

Среди первых откликов на поэму было письмо М. Н. Загоскина от 29 апреля 1825 г., сохранившееся в бумагах Козлова. «Я сейчас прочел поэму вашу «Чернец», — писал Загоскин, — и хотя не имею чести вас знать, но решился писать к вам и благодарить за неизъяснимое удовольствие, которое доставило мне сие стихотворение, исполненное истинной поэзии и глубокого чувства. Вы сделали чудо: заставили плакать комического писателя. Да, почтеннейший Иван Иванович, я плакал, читая поэму вашу, и никогда не забуду этих слез. Поверьте, это не сентиментальная фраза, я всегда их ненавидел...» («Русский архив», 1886, № 2, стр. 190—191). Вскоре после выхода в свет «Чернеца» в № 8 «Московского телеграфа» за 1825 г. (апрель) появилась очень сочувственная и довольно пространная рецензия П. А. Вяземского, который, в частности, писал следующее: «Содержание «Чернеца» занимательно: главное лицо есть характер отменно поэтический, оживляющий в памяти некоторые воспоминания о «Гяуре» Бейрона; сцена действия, самое действие, довольно простое, но быстрое и полное, отдельные подробности, язык стихотворный — все озарено, все одушевлено поэтическим пламенем» (стр. 313—314). Анализируя поэму, Вяземский отдает предпочтение ее второй половине: «В особенности же, кажется, отличается красотами вторая половина повести. Описание возвращения чернеца на родину, посещения кладбища, встречи с коварным злодеем, убиение его, повесть о том, что чувствовал страдалец по совершении мести, — глубоко отзываются в душе читателя. Нравственный поэт с отменным познанием сердца человеческого означил следствие преступления на душе страдальца» (стр. 317). Вяземский рекомендует при втором издании «Чернеца» подробнее описать обряд погребения иноков и переработать рассказ чернеца о причинах смерти жены и ребенка: «Причина их смерти может остаться сомнительною для читателя:

Но злоба алчная не спит:
В опасный час к нам весть несется,
Что вся надежда отнята,
Что дочь отцом уж проклята...
Обман ужасный удается:
Злодей несчастную убил...

Можно догадаться, но можно и не знать, о каком обмане и о каком злодее идет дело. Это место тем более, кажется, требует поправки,

что и самые стихи довольно слабы и как будто изменяют поэту в решительную минуту действия» (стр. 319). Наряду с рецензией Вяземского, несомненный интерес представляет также обширная статья о послании к В. А. Жуковскому и о «Чернеце», принадлежащая перу А. Д. Улыбышева, напечатанная в двух номерах «Санктпетербургской газеты», издававшейся на французском языке (№№ 61 и 66 за 1825 г.). Вторая половина статьи, помещенная в № 66 от 2 июня, была перепечатана в переводе В. Соколова журналом НЛ (1825, кн. 13, август, стр. 101—109). В ней мы читаем: «Содержание сей поэмы, заключающей в себе 38 печатных страниц, представляет нам последние минуты отшельника, который приведен в безмолвную обитель несчастием и раскаянием и у подножия олтаря оплакивает заблуждения несчастной жизни своей. Английский эпиграф, взятый г. Козловым из Бейронова «Гяура», показывает нам, какому образцу следовал наш поэт при сочинении своей поэмы. Не думайте, однако ж, найти в русском авторе рабского подражателя лорду Бейрону. Если он заимствовал от него смелые и таинственные формы повествования, столь близкие к романтической поэзии, то честь изобретения собственно ему принадлежит. Герой его поэмы имеет свой особенный отпечаток и нимало не походит на героев Бейрона. Последние отличаются каким-то фатализмом: это существа, выходящие из круга человечества; это потомки древних титанов, которые носят на челе своем как бы наследственное клеймо, печать отвержения, постигшего гордых и мятежных их предков. Вместо сей исполинской, но униженной природы, русский поэт представляет нам в характере своего чернеца человека со всеми его отличительными признаками и в судьбе его дает урок высокой нравственности. Мы видим здесь в одно время и картину счастия, обещаемого страстною любовию, и все мучения, ее сопровождающие, когда она становится единственною потребностию жизни; видим, как религия облегчает страдания, которых ничто усладить не может; как преступление, всегда караемое божескими законами, даже тогда, когда природа громко вопиет в пользу преступника, в одно мгновение истребляет плоды утешения, почерпаемого в обетованиях веры, и как, наконец, смерть христианина примиряет грешника с самим собою и с небом. Чертеж сей поэмы есть следующий» (стр. 101—102). Дальше идет пересказ содержания поэмы. Рецензент с большой похвалой отзывается о 10-й главе: «Мы не знаем, изображал ли кто лучше г. Козлова минуты, столько раз описанные, чувства путешественника, который после долгого отсутствия и продолжительных несчастий увидел опять родную землю. Нельзя лучше похвалить сие место, как выписав его для читателей» (стр. 105). Об исключительном успехе, которым пользовался «Чернец» в широких читательских кругах, писал «Московский телеграф» в 1827 г.: «Это явление маловиданное в русской книжной торговле; поэма, в два года трижды напечатанная, доказывает... что поэма «Чернец» сделалась, так сказать, народною поэмою» («Московский телеграф», 1827, ч. 17, стр. 224). В связи с выходом в 1840 г. собрания стихотворений Козлова В. Г. Белинский изложил в развернутой форме свой взгляд на его творчество. О «Чернеце» он, в част-

ности, писал следующее: «Слава Козлова была создана его «Чернецом». Несколько лет эта поэма ходила в рукописи по всей России прежде, чем была напечатана. Она взяла обильную и полную дань слез с прекрасных глаз; ее знали наизусть и мужчины. «Чернец» возбуждал в публике не меньший интерес, как и первые поэмы Пушкина, с тою только разницею, что его совершенно понимали: он был в уровень со всеми натурами, всеми чувствами и понятиями, был по плечу всякому образованию. Это второй пример в нашей литературе после «Бедной Лизы» Карамзина. «Чернец» был для двадцатых годов настоящего столетия тем же самым, чем была «Бедная Лиза» для девятидесятых годов прошедшего и первых нынешнего века. Каждое из этих произведений прибавило много единиц к сумме читающей публики и пробудило не одну душу, дремавшую в прозе положительной жизни. Блестящий успех при самом появлении их и скорый конец — совершенно одинаковы, ибо, повторяем, оба эти произведения совершенно одного рода и одинакового достоинства, вся разница во времени их явления и, в этом отношении, «Чернец», разумеется, гораздо выше. Содержание «Чернеца» напоминает собою содержание Байронова «Джяура»; есть общее между ими и в самом изложении. Но это сходство чисто внешнее: «Джяур» не отражается в «Чернеце» даже и как солнце в малой капле вод, хотя «Чернец» и есть явное подражание «Джяуру». Причина этого заключается сколько в степени талантов обоих певцов, столько и в разности их духовных натур. «Чернец» полон чувства, насквозь проникнут чувством — и вот причина его огромного, хотя и мгновенного успеха. Но это чувство только тепло, не глубоко, не сильно, не всеобъемлюще. Страдания чернеца возбуждают в нас сострадание к нему, а его терпение привлекает к нему наше расположение, но не больше» (В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 5. М., 1954, стр. 69—70).

«Чернец» неоднократно переводился на иностранные языки. В 1835 г. поэма вышла в Италии в переводе маркиза Чезаре Бочелла (это издание имелось в библиотеке Пушкина. См.: Б. Л. Модзалевский. «Библиотека А. С. Пушкина». СПб., 1910, стр. 263). 7 мая 1835 г. Бочелла послал Козлову несколько экземпляров своего перевода, сопроводив их письмом, ныне хранящимся в рукописном отделе ПД. Переводчик, по собственному признанию, пользовался подстрочником, составленным при помощи его друзей и знакомых, среди которых назван Муравьев-Апостол. Граф М. Д. Бутурлин рассказывает в своих воспоминаниях, что Бочелла был увлечен княгиней Марией Аркадьевной Голицыной, приятельницей Козлова, что он был человеком крайне экзальтированным («Русский архив», 1897, № 9). Это свойство характера обнаруживается в преувеличенно восторженном тоне его письма к Козлову. Вот что пишет Бочелла: «Ваша слава — всеевропейская, и ей мудрено польстить скромным даром в виде иностранного перевода, но мне кажется, Вам будет приятно услышать, что бедный переводчик мог совершить свой труд, лишь проходя сквозь самые сладкие и вместе ужасные волнения и разнообразные восторги. Сдается мне, что великое имя Ваше оказывает покровительство моему, еще столь новому на литературном

поприще; я восхищен этим, но прямодушие мое заставляет меня принести Вам в дар все слезы, которые исторгает Ваш «Чернец» в Италии» (Известия отделения русского языка и словесности Академии наук, 1904, кн. 2, стр. 94. Оригинал по-французски). *Прекрасный друг* — жена Козлова, Софья Андреевна, урожденная Давыдова.

Невеста абидосская. Перевод поэмы Байрона «The Bride of Abydos». Впервые — отрывки поэмы — НЛ, 1823, № 24, стр. 175—176; «Соревнователь просвещения и благотворения», 1825, № 3, стр. 290—294; «Московский телеграф», 1825, № 19, стр. 250—252; полностью — отдельное издание: «Невеста абидосская. Турецкая повесть лорда Байрона. Перевел с английского Иван Козлов». СПб., 1826, с эпиграфом, взятым Байроном из стихотворения Роберта Бернса «Ae fond kiss»:

Had we never loved so kindly,
Had we never loved so blindly,
Never met or never parted
We had ne'er been broken-hearted.

<Если бы мы не любили столь нежно, если бы мы не любили столь слепо, не встретились и не разлучились, наши сердца не были бы разбиты>. Печ. по изд. 1833 г., ч. 1, стр. 177—268, с исправлением опечаток по изд. 1826 г. Работа над переводом была начата в 1822 г. Отрывки, опубликованные в журналах, подверглись серьезной переработке для изд. 1826 г. Однако Козлов не был удовлетворен и этим переводом. Об этом свидетельствует заметка в «Московском телеграфе», в которой сообщалось, что Козлов «хочет... заняться новым изданием перевода «Абидосской невесты», в котором исправит он некоторые отступления от подлинника» («Московский телеграф», 1827, ч. 16, стр. 88). И действительно, для изд. 1833 г. перевод был снова существенно переработан. Весьма вероятно, что поэма была посвящена императрице по совету Жуковского, который, возможно, рассчитывал на то, что Александра Федоровна, обучавшаяся у него русскому языку, возьмет под свое покровительство слепого поэта, испытывавшего большие материальные затруднения. *Александра Феодоровна* (Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина; 1798 — 1860) — жена Николая I, дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма III. *Порфирородный сын* — наследник престола, Александр Николаевич (1818—1881). *Первый царства день был днем бессмертной славы.* Имеется в виду подавление декабрьского восстания Николаем I. *Кто с братом доблестным* и т. д. Речь идет о великом князе Константине Павловиче.

Часть 1. Гл. 1. *Кто знает край далекий и прекрасный* и т. д. Эти строки навеяны песней Миньоны из романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» («Kennst du das Land, Wo die Zitronen blühen...»). Гл. 2. *Диван* — в Османской империи совет при

султане или при великом визире. Гл. 5. *Длань* — рука, ладонь. Гл. 7. *Пасван-Оглу* (1758—1807) — турецкий паша, поднявший в 1797 г. янычарский мятеж против правительства Османской империи. *Фирман* — султанский указ в Османской империи. Гл. 8. *Джирид* (джеррид) — бой на турецких копьях. *Мамелюки* — личная гвардия султана. Гл. 11. *Мекка* — город в Саудовской Аравии, место паломничества мусульман. Гл. 12. *Истакар* — древний город в Иране. Гл. 14. *Визирь* — высший сановник в некоторых странах мусульманского Востока. *Яур* (гяур) — мусульманское название иноверца.

Часть 2. Гл. 1. *Когда погиб в ночи ужасной* и т. д. Имеется в виду герой древнегреческой легенды — юноша из города Абидоса — Леандр, погибший в волнах *Геллеспонта* (Дарданелльского пролива) во время бури, когда он ночью плыл к своей возлюбленной Геро, жившей на другом берегу пролива в городе *Сестосе*. Гл. 2. *Степь, где царствовал Приам.* Имеется в виду Троада — древнее название северо-западной области побережья Малой Азии, в которой царствовал легендарный царь Приам, герой «Илиады». *Песни нищего слепца* и т. д. Имеется в виду Гомер, якобы родившийся в городе Хиосе. Гл. 3. *Певец* — Гомер. *Рассказ чудесный твой.* Имеются в виду «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Гл. 4. *Ида* — гора на острове Крите. *Славный и младой Сражен дарданскою стрелой.* Имеется в виду Ахилл, который, согласно греческому эпосу, погиб в цветущем возрасте от стрелы троянского царевича Париса, сына Приама, потомка Дардана. *Сын Аммона* — Александр Македонский, провозглашенный сыном бога. Аммон — древнеегипетское божество, отождествлявшееся в Греции и Риме с Зевсом и Юпитером. Гл. 14. *Виддин* — город в Турции, которым в 1797 г. завладел Пасван-Оглу (см. выше). *Бунчук* — конский хвост на древке, служивший полковым знаменем в турецкой коннице. Гл. 16. *Румельские страны.* Румелия — турецкое название стран Балканского полуострова, насильственно присоединенных в XIV—XVI вв. к владениям османских султанов. Гл. 20. *Раяс* — христиане, платившие поголовный налог Османской империи. *Муйцин* — муэдзин, служитель религиозного культа у мусульман, сзывающий с минарета верующих на молитву. Гл. 22. *Резец изобразил* и т. д. Имеется в виду античная скульптурная группа «Ниобея с детьми». Гл. 26. *Скала Сигейская.* Сигей — мыс при входе в Дарданеллы.

Примечания. Написаны Байроном и переведены Козловым с некоторыми сокращениями. *Межнун и Лейла.* Меджнун — полулегендарный арабский поэт, по преданию, погибший от трагической любви к прекрасной Лейли. Легенда о Меджнуне послужила основой для поэтических произведений народов Востока: «Лейли и Меджнун» Низами, «Лейли и Меджнун» Алишера Навои. *Сади* (правильно: Саади, 1184—1291) — иранский поэт, являющийся также классиком таджикской литературы. *«Кто не имеет музыки в душе»* — слова Лоренцо из пьесы Шекспира «Венецианский купец» (акт 5, сцена 1). *«О Германии»* — книга французской писательницы мадам де Сталь, вышедшая в 1813 г. *Спаги* — нерегулярные части турецкой конницы. *Фокс* Чарльз (1749—1809) —

английский художник, писатель и путешественник, знаток Востока. *D'Herbelot* — французский ученый-ориенталист Бартелеми Эрбело (1625—1695), автор популярного труда «Восточная библиотека, или Всеобщий словарь, содержащий все сведения о народах Востока». *Негропонт* — один из островов Греции в Эгейском море. *Каракалла* Марк-Аврелий-Антоний — римский император (186—217), известный своей жестокостью и вероломством. *Патрокл* — друг Ахилла, один из героев «Илиады». *Гробница Есиетеса.* Эзиет — троянский старец, упоминающийся в «Илиаде». Его гробница имела форму башни. *Антилох* — участник Троянской войны, друг Ахилла и Патрокла, герой «Илиады». *Морея* — средневековое название полуострова Пелопоннес. *Некромантия* — вызывание «духов умерших» для предсказания будущего. *Ламбро Канцани* — Лаброс Канцони (1752—1804); состоял на русской военной службе при Екатерине II, участник русско-турецкой войны 1787—1791 гг., боролся за национальную независимость Греции. *Рига* — Ригас Константин-Велистинлис-Фереос (настоящее имя — Антониос Кириазис, ок. 1757—1798), греческий революционный поэт, участник борьбы за освобождение Греции от турецкого владычества. *История привидения лорда Литтльтона* и далее. Неточный перевод, сделанный Козловым, затемняет смысл этого примечания Байрона. Оно гласит: «Рассказы лорда Литтльтона о привидениях, уверенность герцогини Кендаль, что Георг I влетел к ней в окно в виде ворона...». *Орфорд.* Имеется в виду английский государственный деятель Роберт Уолпол (1676—1745), носивший титул графа Орфорда. Байрон ссылается на книгу его воспоминаний и писем.

Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая. Впервые (отрывок) — СЦ на 1827 год, стр. 263—264, под заглавием: «Лунная ночь в Кремле» и с примечанием, вероятно написанным А. А. Дельвигом, хорошо знавшим Козлова: «Эта маленькая поэма, начатая в 1824 году, чрез несколько месяцев будет окончена и напечатана». Впервые полностью — отд. издание: «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая. Сочинение Ивана Козлова». СПб., 1828. Печ. по изд. 1833 г., ч. 1, стр. 55—114, с исправлением опечаток по изд. 1828 г. Работа над поэмой была завершена не позже сентября 1827 г. Об этом свидетельствует заметка в «Московском телеграфе», по-видимому написанная Н. А. Полевым: «Наш русский поэт И. И. Козлов кончил новую поэму свою «Наталья Долгорукая». Мы слышали ее из уст самого поэта и не могли не плениться этим превосходным произведением» («Московский телеграф», 1827, ч. 17, стр. 113. Ценз. разрешение — 28 сентября 1827 г.). Жуковский в письме к А. И. Тургеневу от 27 ноября 1827 г. сообщает о своих хлопотах, связанных с изданием поэмы: «Козлова поэма все еще не вышла» (В. А. Жуковский. Собр. соч. в четырех томах, т. 4. М.—Л., 1960, стр. 502). Из этих слов можно заключить, что поэма уже была готова к печати летом или ранней осенью 1827 г. Н. А. Полевой в своей рецензии на поэму («Московский телеграф», 1828, № 4, стр. 537—554) видит заслугу Козлова в том, что он избрал для поэтического изображения «один из самых необыкно-

венных характеров женских...» Отмечая художественные достоинства отдельных мест поэмы: «Многие места превосходны; многие горят силою чувства и страсти», рецензент упрекает автора за недостаточную действенность, динамизм и конкретность повествования; вместе с тем он предостерегает против ненужных сравнений Козлова с Байроном: «Судя творца «Натальи Долгорукой» без сравнений, в его настоящем положении, и говоря не о том, что бы он или другой кто м о г с д е л а т ь, а только о том, что он с д е л а л, мы не можем не согласиться, что поэма Козлова есть творение с большими достоинствами, писана по вдохновению сердца, исполнена теплоты сердечной, и тем легко объясняется сильное действие ее на многих» (стр. 552). Полевой высказывает сожаление по поводу того, что поэма бедна «местными красками», «местным колоритом», что ее историко-бытовой фон недостаточно убедителен: «Труднее оправдать Козлова в изысканности некоторых положений и слов; в подновлении, так сказать, новыми современными чувствами действующих лиц, которые не могли иметь их. Здесь оправдаем Козлова тем, что положение его не позволяет ему войти в критические и археологические соображения. Для того чтобы переселиться в другой век, изучить образы, характер века, подробности, свойственные тому веку и для нас не существующие, потребно отдельное изучение. Можно быть уверену, что сцена Самозванца в келии монаха-летописателя стоила Пушкину больших соображений, чтения, критического обозрения истории и археологии XVII века: все в ней так хорошо соблюдено, малейшая черта, понятия, слова, все оттенки верны, очаровательны по своей исторической точности. Кажется, поэт в и д и т и легко о п и с ы в а е т, но эта легкость есть результат огромной приготовительной работы, а к такому труду Козлов не имел и не имеет средств приступить» (стр. 553). Эпиграф, взятый из 5-й песни «Ада» — первой части «Божественной комедии» Данте, — дается в переводе Козлова. *Подрясник объяринный* — шелковый подрясник. *Катаур* — широкий пояс на подряснике. *Звездою при дворе В семнадцать лет она явилась.* Имеется в виду двор Петра II (1715—1730), царствовавшего с 1727 по 1730 г. *Невесты царской брат родной.* Сестра Ивана Алексеевича Долгорукого — Екатерина была обручена с Петром II. *Неумолимая гробница Схватила юного царя От двух венцов.* Имеются в виду царский и свадебный венцы, так как Петр II умер от оспы во время приготовления к коронации и к свадьбе с Екатериной Долгорукой. *Долгорукого семья погибла с ним.* После смерти Петра II императрица Анна Иоанновна выслала семью Долгоруких в Сибирь. *Схима* — высшая монашеская степень, требующая выполнения суровых, аскетических правил.

Б е з у м н а я. Впервые — отдельное издание: «Безумная. Русская повесть в стихах. Сочинение Ивана Козлова». СПб., 1830, с эпиграфом из поэмы Байрона «Гяур»:

...thou wert, thou art
The cherish'd madness of my heart!

К стр. 409

<...Ты была, ты есть взлелеянное безумие моего сердца!>. Печ. по изд. 1833 г., ч. 1, стр. 115—148. Как в первой публикации, так и в последующих изданиях, поэме предпослано вступление, написанное от имени «издателя». Кто был его автором — не установлено. Приводим текст:

«Нет надобности издателю хвалить в предисловии своем предлагаемое им публике новое сочинение; само за себя говорит оно лучше его. Но, кажется, может он сказать несколько слов, чтоб удалить недоумение читателя — когда оно предположительно, судя по новости или странности предмета, избранного сочинителем. Вероятно, многие спросят: есть ли поэзия в несчастном состоянии человека, который лишился ума? — Поэзия или, справедливее сказать, поэтическая сторона есть в каждом почти предмете. Найти точно ее и осветить ее с надлежащей точки, закрывши все лишнее, бесполезное, прозаическое, — вот в чем тайна искусства. Тихая, беззаботная любовь простодушной поселянки меньше представляет красок для поэзии, нежели ужасные следствия измены, так дико омрачающие ум ее. Мы видим с удивлением, что эта бездейственная, едва ли не сонная прежде душа, вдруг восстает и с каким-то исступлением раскрывает таившуюся в ней силу. Поэтическое разнообразие дум, передаваемых нам то мятежною, то утихающею страдалицей; картины природы, в которых столько гармонии с ее сердцем; единство с главным предметом в самых отступлениях автора; все это вместе составляет целое, столь же поразительное, сколько и занимательное. В подобных сочинениях не может быть действия, или, по крайней мере, оно без приметного движения. Но тем не менее мы чувствуем влияние их на душу свою. Так созерцание живой картины, в которой актер отвергнул все мимические пособия, эти орудия волшебной власти его над нами, часто пленяет нас не менее представления трагедии».

В рецензии на «Безумную» А. А. Дельвиг, сочувственно относившийся к творчеству Козлова, отмечает искусственность и надуманность образа героини поэмы: «Певец «Чернеца» и «Натальи Долгорукой» не исчерпал еще до дна кладязя чувств своих. В поэме «Безумная» каждый стих звучит не фистулою, но чистыми, полными тонами, прямо возникающими из прекрасного сердца. Это пение соловья, успокаивающее душу, но не удовлетворяющее фантазии. Разделяешь печаль с милым певцом и невольно сердишься на него, что он заставил нас плакать от несчастий вымышленных и рассказанных оперною актрисой, а не настоящею поселянкой» («Литературная газета», 1830, № 69, 2 декабря). *Как мерзлый пар Среди снегов родит пожар* — неточная цитата из стихотворения М. В. Ломоносова «Вечернее размышление о божьем величестве при случае великого северного сияния». У Ломоносова «Как может быть, чтоб мерзлый пар Среди зимы рождал пожар?». *Зерно бурмицкое* — крупная жемчужина.

К стр. 431—435

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ИНОЯЗЫЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И. И. КОЗЛОВА

Стихотворения, помещаемые в этом разделе, были опубликованы дальним родственником Козлова А. Хомутовым в №№ 2 и 3 журнала «Русский архив» за 1886 г. Они хранились у сына поэта, Ивана Ивановича Козлова, скончавшегося в 1883 г. В предисловии к своей публикации А. Хомутов писал: «Имея возможность ознакомить публику с этими драгоценными для всех любителей русского слова материалами, я, с согласия дочери поэта Александры Ивановны Козловой... приступаю к этому делу» («Русский архив», 1886, № 2, стр. 178). «Стансы», посвященные княгине А. И. Голицыной, и два стихотворения, адресованные графине Фикельмон, несомненно написаны Козловым. Что касается русских переводов этих стихотворений, то они, вероятно, также сделаны им самим, ибо в них легко обнаруживается художественная манера Козлова, особенности его стиля.

Stances и перевод (с французского). Впервые — «Русский архив», 1886, № 2, стр. 201—202, с датой: 1830. *Голицына* Авдотья Ивановна (1780—1850) — приятельница Козлова, Вяземского, братьев Тургеневых. В 1817 г. Пушкин посвятил ей два стихотворения: «Краев неопытный любитель...» и «Кн. Голицыной, посылая ей оду "Вольность"».

Alla contessa Fiquelmont и перевод (с итальянского). Впервые — там же, стр. 202. *Фикельмон* — см. стр. 466.

To countess Fiequelmont и перевод (с английского). Впервые — «Русский архив», 1886, № 3, стр. 309.

2. ПЕРЕВОДЫ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ И. И. КОЗЛОВУ

Шиллер

<Отрывок>. Перевод строф 1—8 и 13 из стихотворения Шиллера «Resignation». Публикуемый перевод обнаружен Ю. Д. Левиным в альбоме Анны Петровны Зонтаг (1785—1864) — детской писательницы и переводчицы, племянницы и близкого друга В. А. Жуковского (ПД). Альбомная запись озаглавлена: «Отрывок из Шиллера. Козлова». Судя по почерку, стихотворения альбома, включая и публикуемое, были записаны двоюродной сестрой А. П. Зонтаг — А. А. Воейковой (о ней см. стр. 443). Перевод сделан не позже 1827 г., когда Воейкова в последний раз уехала из России.

Де ла Буильери

Ивану Козлову («Мой друг! Увы, не видишь ты...»). Перевод стихотворения виконта де ла Буильери (François de la Bouillerie) «A m-r Kosloff». Впервые — «Русский архив», 1886, № 2, стр. 200—201, вместе с текстом стихотворения де ла Буильери (публикация А. Хомутова, см. примеч. к приложению первому — «Иноязычные стихотворения Козлова», стр. 488). Перевод этого и следующего стихотворения принадлежит, по-видимому, Козлову, так как в противном случае это было бы специально оговорено А. Хомутовым. Французский текст имеет подзаголовок: «Французские стихи, написанные Козлову путешественником виконтом Ла Буильери, проживавшим долгое время в Петербурге. Стихи напечатаны в 1837 г. в „Journal des Jeunes Personnes"». Приводим французский текст:

A M-R KOSLOFF

Ami, vous qui ne voyez pas,
Dites moi, quelle clarté sainte
Illumine la sombre enceinte
De vos ténèbres d'ici bas?..

Et tandis que notre oeil regarde
Ou des étoiles, ou des fleurs,
Dites nous quels rayons meilleurs,
Quelles autres fleurs Dieu vous garde?..

Ami, vous qui ne marchez pas,
Dites nous, quel vol vous seconde
Et vous emporte vers un monde
Que n'atteignent jamais nos pas?...

Pourtant nous marchons d'un pas ferme,
Et nos pieds ne sont jamais las!
Nous courons vite... hélas! hélas!
Nous n'arrivons jamais au terme!

Ami, vous qui ne marchez pas,
Apprenez moi donc votre voie!
Et puis vous ferez que je vois,
Ami, vous qui ne voyez pas!

Герейро

Ивану Козлову («Рукой безжалостной навек лишившись зренья...»). Перевод стихотворения Герейро (I. Guereiro) «To John Kosloff». Впервые — там же, стр. 199, вместе с английским текстом

К стр. 437

стихотворения, имеющего подзаголовок: «Английские стихи, посвященные Козлову г-м Герейро, состоявшим при португальском посольстве в Петербурге». Приводим английский текст:

TO JOHN KOSLOFF

By ruthless hands deprived of light
The prisoned bird more sweetly sings,
The dreaded veil of endless night
To him at length no terror brings.

Within himself the songster finds
A little world of heavenly sound,
That earths corporeal ties unbinds
And holier rendess all around.

В дневнике Козлова имеется запись от 12 января 1832 г., относящаяся к Герейро: «Я шел уже спать, когда пришел молодой Герейро... Мы много говорили и читали наизусть стихи. Это молодой человек весьма умный, отлично знающий древние и новые языки, вообще богато одаренная натура. Я в восторге, что с ним познакомился» (СиН, стр. 51).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И. И. КОЗЛОВА[1]

[1] При расположении в алфавитном порядке заглавий, представляющих собой фамилии адресатов, имена и инициалы во внимание не принимаются. Источники переводных произведений указываются лишь в тех случаях, когда они приведены И. И. Козловым.

СОДЕРЖАНИЕ [1]

---

[1] Первая цифра указывает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

Крымские сонеты Адама Мицкевича

Стихи неизвестных лет

ПОЭМЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Иноязычные стихотворения И. И. Козлова

Переводы, приписываемые И. И. Козлову

Шиллер

Козлов Иван Иванович
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

Редактор *И. В. Исакович*

Художник *И. С. Серов.* Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *С. И. Брусиловская.* Корректор *Т. П. Калецкая*

Сдано в набор 23/VIII 1960 г. Подписано к печати 8/XII 1960 г.
Бумага 84×108 1/32 Печ. л. 15,94 (26,14). Уч.-изд. л. 26,27.
Тираж 8000 экз. Заказ № 1500.
Цена 9 р. 45 к.
С 1/I 1961 г. — 95 к.

Ленинградское отделение издательства
«Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., 28.

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул., 1/3

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
315	10 сн.	Бывало, он, то тме ночей,	Бывало, он, во тме ночей,
503	21 сн.	К Тизре	К Тирзе
504	4 св.	Пилиграм	Пилигрим
504	19 св.	Из Арностова	Из Ариостова

